



Домашняя

Annotation

Эта книга посвящена Софье Васильевне Ковалевской — первой русской женщине-ученой, человеку яркой судьбы и выдающегося таланта. Вся ее богатая событиями жизнь была самоотверженной борьбой за право служить науке. Рано обнаружилось у Ковалевской математическое дарование. Но получить высшее образование в России было для нее в условиях того времени неосуществимой мечтой. Заключив фиктивный брак с таким же, как она, человеком широких взглядов В. О. Ковалевским, Софья Васильевна получила возможность уехать учиться за границу. Много труда стоило ей и там пробить себе дорогу к науке, к полезной деятельности, преодолеть общее предубеждение против женщины-ученой. Но так ярок был ее талант, так велика тяга к науке, что величайшие ученые мира должны были признать ее своей достойной коллегой. Ковалевская получила кафедру в Стокгольмском университете. В России ей не нашлось места, но для всех русских женщин, ищущих знаний, живого дела, равного с мужчинами положения в обществе, она явилась той светлой точкой, к которой устремлялись их мысли. Ковалевская была человеком многогранным. Ее друзьями были и революционеры, и ученые, и писатели. Ей самой принадлежит ряд художественных произведений и среди них неоконченная повесть о Н. Г. Чернышевском «Нигилист».

Автор книги Любовь Андреевна Воронцова — журналистка. Книга, написанная ею, — результат долгого и увлеченного труда, попытка создать поэтическую и в то же время документированную биографию большой ученой.

-
- [Л. ВОРОНЦОВА](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ЗАРЯ ЖИЗНИ](#)
 -
 - [«САМА ПО СЕБЕ»](#)
 - [СИСТЕМА МИСС СМИТ](#)
 - [ЕСТЬ НАУКА ВЫСШАЯ](#)
 - [ПАЛИБИНСКИЕ БАРЫШНИ](#)
 - [ОТЗВУКИ ПОЛЬСКИХ СОБЫТИЙ](#)
 - [«КАК ПОСТРАДАТЬ ЗА ЛЮДЕЙ?»](#)
 - [СЕСТРА](#)

- [ДОСТОЕВСКИЙ](#)
- [ФИКТИВНЫЙ БРАК](#)
 - [ЗРЕЕТ РЕШЕНИЕ](#)
 - [ВЛАДИМИР ОНУФРИЕВИЧ](#)
 - [«НО НЕ ЖАЛКО ГЕРОИНЕ»](#)
- [ГОДЫ УЧЕНИЯ](#)
 - [НАЧАЛО ПУТИ](#)
 - [КНИГИ И ЛЮДИ](#)
 - [ВЕЛИКИЙ АНАЛИТИК С БЕРЕГОВ ШПРЕ](#)
 - [В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПАРИЖЕ](#)
 - [ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ КОВАЛЕВСКОГО](#)
 - [ДИПЛОМ ДОКТОРА](#)
- [В ПОИСКАХ МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ](#)
 - [ТЩЕТНЫЕ ПОПЫТКИ](#)
 - [ОТСТУПЛЕНИЕ](#)
 - [«РОЖДЕНА МАТЕМАТИКОМ...»](#)
 - [РАЗРЫВ](#)
- [ДОРОГА К КАФЕДРЕ](#)
 - [ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ](#)
 - [ГИБЕЛЬ КОВАЛЕВСКОГО](#)
 - [СТОКГОЛЬМ](#)
 - [ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ](#)
 - [СЕВЕРЯНЕ](#)
 - [АННА-ШАРЛОТТА](#)
- [ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА](#)
 - [ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА](#)
 - [ЛАВРЫ И ТЕРНИИ](#)
 - [НО ГЛАВНОЕ — ТВОРЧЕСТВО](#)
 - [ДЫМ ОТЕЧЕСТВА](#)
- [БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ](#)
 - [ТАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЧАСТЬЕ](#)
 - [ОДИНОЧЕСТВО](#)
 - [ЭЛЕН КЕЙ](#)
 - [СООТЕЧЕСТВЕННИК](#)
 - [ЛЮБОВЬ ЛИ ЭТО, ИЛИ ДРУЖБА ЭТО?](#)
- [ТРИУМФ УЧЕНОГО](#)
 - [ЧЕТВЕРТЫЙ ИНТЕГРАЛ](#)
 - [ПУСТЬ БУДЕТ ТАК](#)
 - [ПЕРО ПУБЛИЦИСТА](#)

- [ОБРАЗЫ РОДИНЫ](#)
 - [«КРЕСТЬЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»](#)
 - [ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ](#)
 - [ТАНЯ РАЕВСКАЯ](#)
 - [КРУШЕНИЕ НАДЕЖД](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. В. КОВАЛЕВСКОЙ](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [Иллюстрации](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
-

Л. ВОРОНЦОВА
СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ



Софья Васильевна Ковалевская говорила, что она знает многих высокоодаренных специалистов, которые как люди малоинтересны. Их мозг представляет превосходный рабочий инструмент, но у них совершенно отсутствует фантазия в обычном смысле слова.

Сама Ковалевская относилась к числу талантливых специалистов и вместе с тем интересных людей — недаром шведы называли ее «Микеланджело разговора». Она была поэтом и публицистом, обладала даром проникновения в человеческую психологию и имела богатую во всех отношениях фантазию. Необыкновенно разносторонняя, с широкими общественными интересами, Ковалевская была активной участницей мощного движения шестидесятых годов прошлого столетия, движения за просвещение народа и развитие всех его творческих сил. Она была горячей сторонницей идей Н. Г. Чернышевского, почитательницей Н. А. Добролюбова и В. А. Слепцова.

Жизнь Софьи Васильевны сложилась трудно. С самых юных лет ей, с ее горячей и порывистой натурой, пришлось много страдать. Нелегко было пробивать дорогу к науке себе и женщинам вообще, преодолевая и сложные условия того времени и свои тяжелые настроения, которые ее иногда охватывали под влиянием житейских неудач, борьбы между личным и общественным, между чувством и долгом. Прославленной ученой ничто человеческое не было чуждо: были в ее жизни ошибки и заблуждения, последствия которых она очень тяжело и глубоко переживала, были у нее и мелкие слабости. Но тем ближе для нас ее образ!

Вскоре после смерти Ковалевской появились и до настоящего времени продолжают появляться статьи и романы зарубежных писательниц, посвященные описанию жизни знаменитой женщины. В них обычно основное внимание уделяется личным переживаниям Софьи Васильевны, в особенности ее последнему роману — с Максимом Ковалевским. Обсуждаются естественно возникающие вопросы о возможности для женщин творческой работы, одинаковой с мужчинами, о том, может ли женщина совместить занятия наукой с семейными обязанностями — матери, хозяйки дома. При этом каждая из писательниц дает свою трактовку образа Ковалевской, подчас совершенно далекую от действительности. Так, в книге Клары Хофер, изданной в 1927 году в Берлине и содержащей много неточностей, Ковалевская выведена как слабый, беспомощный ребенок. Не обладая достаточными сведениями, писательницы иногда дополняют их собственными вымыслами. Но уже самый факт такого длительного интереса к русской ученой свидетельствует о незаурядности ее личности.

В книгах советских авторов, начало которым положено С. Я. Штрайхом, биография Ковалевской излагается на основании достоверных материалов. Однако их было недостаточно для освещения последнего периода жизни Ковалевской, когда интенсивно развивалась ее научная деятельность. В последние годы такие материалы появились в Академии наук СССР.

Настоящая книга, написанная Л. А. Воронцовой, опирается на огромный фактический материал, внимательно изученный автором. Это прежде всего рукописи, хранящиеся в архиве Академии наук СССР. Они распадаются на две группы: старые и новые материалы. К старым относится переписка Ковалевской с родственниками и друзьями и отрывки из ее беллетристических произведений. Отметим, в частности, что среди этих отрывков имеется один, начинающийся словами: «Пять фунтов винограда...» Несколько человек держали его в руках — и откладывали в

сторону. Л. А. Воронцова внимательно вчиталась в него и обнаружила, что это считавшийся ранее утерянным отрывок повести о Чернышевском, которую Софья Васильевна успела написать лишь на одну треть. Часть этого отрывка была опубликована Л. А. Воронцовой в журнале «Огонек» за 1952 год.

Новые материалы архива Академии наук СССР представляют фотокопии переписки С. В. Ковалевской стокгольмского периода ее жизни, полученные из Стокгольма, где эта переписка хранится в Институте имени профессора Г. Миттаг-Леффлера. Она состоит из 410 писем и записок Ковалевской, посланных ею Миттаг-Леффлеру, а также писем к Ковалевской от математиков: около 90 писем от Миттаг-Леффлера, примерно столько же от Вейерштрасса, 16 писем от Эрмита и около 70 писем от других математиков.

В разборе, расшифровке и переводе этих писем участвовало много лиц: сотрудницы Института механики Академии наук СССР и привлеченные ими их знакомые, знающие тот или иной язык; в их числе была и Л. А. Воронцова. Почти все переводы с шведского языка выполнила дочь С. В. Ковалевской, Софья Владимировна Ковалевская, умершая в 1952 году. Переписка эта постепенно публикуется мною в различных математических журналах и сборниках.

В настоящей книге использованы также материалы других архивов: документ о рождении С. В. Ковалевской — из Московского областного архива и родословная Корвин-Круковских — из Ленинградского областного архива, а также некоторые сведения из Калужского архива.

Еще одним источником дополнительных сведений о С. В. Ковалевской, использованных в этой книге, является изучение шведских изданий литературных произведений Ковалевской и книг о ней, а также статей в шведских газетах, опубликованных в 1950 году в связи со столетием со дня рождения Ковалевской. Сопоставление шведских изданий (перевод их на русский язык был выполнен Т. И. Лебедкиной) с существовавшими русскими переводами их обнаружило, что в старых переводах было сделано много пропусков, главным образом по цензурным соображениям. Так, в переводе 1893 года воспоминаний о Ковалевской Анны-Шарлотты Леффлер, сестры Миттаг-Леффлера, оказалось выброшенным все, что относилось к Чернышевскому и к плану повести о нем, задуманной Ковалевской.

Наконец следует отметить, что Л. А. Воронцова дважды посетила Палибино (оно теперь относится к Великолукской области). Хотя старый помещичий дом генерала Корвин-Круковского, отца Софьи Васильевны,

почти полностью разрушен фашистами, но парк и прекрасные окрестности дают представление об обстановке, в которой протекали лучшие детские годы сестер Корвин-Круковских.

Все изложенное дало Л. А. Воронцовой богатый материал и позволило написать книгу, в которой наиболее полно представлены сведения о жизни и деятельности знаменитой русской женщины Софьи Васильевны Ковалевской, хотя книга в силу ее небольшого объема и не исчерпывает всех имевшихся в распоряжении автора материалов.

П. Полубаринова-Кочина, академик.

ЗАРЯ ЖИЗНИ

*Не легкий жребий, не отрадный
Был вынут для нее судьбой,
И рано с жизнью беспощадной
Вступила ты в неравный бой.*

Ф. Тютчев

Неизвестно, почему судьба свела и соединила таких разных по характеру и по возрасту людей, как Василий Васильевич Крюковский и Елизавета Федоровна Шуберт.

Высокий, сухощавый, с темными насмешливыми глазами под монгольской складкой век, крупным с горбинкой носом на смуглом, будто опаленном изнутри лице, полковник артиллерии Крюковский был человеком зрелым, сорока двух лет.

Он, видимо, недешево оплатил преходящие радости жизни, которым отдавался со всем неистовством своей натуры. Под высокомерной сдержанностью, как под кольчугой, прятал он мягкое сердце.

Сын провиантмейстера — офицера не весьма чиновного, но богатого помещика — Василий Васильевич прошел все ступени военного воспитания от кадетского корпуса до генерального штаба. В 1828–1829 годах проделал три похода на Балканы, брал Адрианополь. За боевую отвагу и штабное усердие был награжден орденами Георгия, Станислава, Владимира, Анны двух степеней и серебряной медалью в память русско-турецкой войны. В январе 1843 года к нему перешло отцовское имение Палибино, и сама собой возникла мысль о семье, о наследнике.

Среди многих знакомых девушек на выданье Василий Васильевич выбрал Лизочку Шуберт. Это была очень хорошенькая, приветливо-веселого нрава барышня.

Почетный член Петербургской академии наук, известный геодезист и топограф, генерал Федор Федорович Шуберт, сын знаменитого астронома и математика Ф. И. Шуберта, позаботился о тщательном воспитании и более широком, чем принято было в дворянских русских домах, образовании дочери, Лизочка знала четыре европейских языка, была знакома с классической и новой литературой, увлекалась театром, мило рисовала,

изящно танцевала, обладала недурным голосом и незаурядными музыкальными способностями. Но, кроме этих талантов, у нее был редкий дар — радовать окружающих. Она казалась тем идеальным «das Kind»^[1], что, как солнечный зайчик, вносит золотой свет в хмурые будни деловых людей. Лизочке же нестерпимо надоели ученые друзья отца и навязчивая опека полудюжины старых дев — тетушек, управлявших домом после смерти матери.

Чуточку погрузив, двадцатидвухлетняя девушка 17 января 1843 года отдала руку немолодому, но вполне элегантному и представительному полковнику.

В дневнике, который Елизавета Федоровна вела двадцать лет, она всегда называла Василия Васильевича очаровательным и милым мужем, отмечала его доброту, великодушие, внимание к людям и нежность к ней.

Опасения, не превратится ли ее супружество, подобно многим другим, в пресное, погружающее в апатию существование, не оправдались. Муж умело сообщал их не совсем равному союзу облик яркого праздника. После штабной службы в Петербурге он был назначен командиром Московского артиллерийского арсенала и гарнизона и по своему положению мог доставить ей много удовольствий.

Страницы дневника Елизаветы Федоровны заполнены записями фамилий московских и петербургских знакомых, которых она принимала или которым сама наносила визиты. В числе их были писатель-историк Е. П. Карнович и гремевший в ту пору романист О. И. Сенковский — «Барон Брамбеус», друг Гоголя художник Ф. А. Моллер и преподаватель артиллерийского училища, будущий идеолог народничества П. Л. Лавров, гениальный хирург Н. И. Пирогов и Ференц Лист, с которым встречалась она в Петербурге.

Описания балов и маскарадов с танцами, флиртом и рискованными приключениями сменяются заметками о концертах, спектаклях, прогулках верхом, в коляске, пешком, с компанией друзей или вдвоем с мужем.

Так пролетали дни, месяцы, годы... Муж был неизменно мил. Елизавета Федоровна научилась ценить те редкие, свободные от светских обязанностей дни, когда ей удавалось посидеть с ним вдвоем у освещенного луной окна или погулять в саду, окружавшем их дом. Она любила, когда муж читал ей вслух новые романы или играл с ней в четыре руки Бетховена, Листа, Шуберта, и пела для него с бóльшим наслаждением, чем в льстящих ее тщеславию концертах у знакомых.

А Василий Васильевич не мог отказать своей юной жене даже в ее суетном стремлении проникнуть в «высший свет». Потомок запорожца,

почетного войскового товарища Стародубского казачьего полка Ивана Михайловича Крюковского, сам дворянин лишь в третьем поколении, он с первых месяцев женитьбы стал упорно добиваться утверждения рода Крюковских в древнем дворянстве.

Восемь раз отказывал ему департамент герольдии; он не прекращал попыток. И лишь на девятый раз, в 1869 году, последовало долгожданное утверждение. Простая фамилия «Крюковские» волшебным образом превратилась в звучную, на польский лад — «Корвин-Круковские». Через шестнадцать лет, в 1885 году, был высочайше утвержден пышный родовой герб — «на церковной хоругви о трех полах крест, на нем черный ворон с перстнем в клюве. Голубое поле с золотом, шлем с тремя страусовыми перьями; ворон обращен в правую сторону».

Столь великолепному гербу соответствовала и созданная безымянным специалистом легенда о происхождении рода Корвин-Круковских от дочери... венгерского короля Матвея Корвина и польского витезя Круковского. Живописное, крупных размеров «генеалогическое древо» украсило стену домашней библиотеки.

Елизавета Федоровна считала себя счастливой. Самое большое «горе», которое пришлось ей испытать в первые годы брака, было желание мужа назвать ожидаемого первенца Василием.

«...Это имя, — негодовала она, — которое я так ненавижу, которое принесло мне так много слез, которое я принудила себя любить в моем муже, это имя должно служить снова моим мученьем...»

Но родилась дочь Аня, и счастье Елизаветы Федоровны долго ничем не омрачалось.

После вечера, проведенного у Карновичей по случаю их серебряной свадьбы, Елизавета Федоровна записала размышление о своей судьбе:

«...Смотря на эту чету, которая в течение двадцати пяти лет, окруженная красивыми и хорошими детьми, участвует в жизни, я поняла настоящее счастье и могла представить себе картину, которая совпадает со всеми моими желаниями. И если мне суждено еще прожить много лет с моим милым мужем, если наша Аня вырастет такой, как нам бы хотелось, то я могла бы себя считать самой счастливой женщиной на свете. А между тем сколько еще несчастий может нас ожидать! Чем больше я чувствую счастья, тем больше мне приходится опасаться его потерять и беречь его со страхом. Но бог так добр, что я не могу отказать себе в надежде на счастливое будущее».

После рождения Ани в семье Крюковских семь лет нетерпеливо ждали мальчика, продолжателя блистательного рода.

В ночь на третье (пятнадцатое) января 1850 года, во II квартале Сретенской части первопрестольной русской столицы Москвы, в доме Стрельцова, сохранившемся до наших дней в 1-м Колобовском переулке, 14, появился на свет младенец. Когда Елизавета Федоровна увидела крохотную, смуглую, как орех, девочку, она заплакала и отвернулась. Елизавета Федоровна так ждала сына, что даже все кружевные чепчики заранее собственноручно украсила голубыми лентами и уверяла няню: «Вот увидишь, будет мальчик». Ей очень не хотелось огорчать мужа, трогательно мечтавшего о наследнике. Она готова была даже уступить и примириться с несимпатичным ей именем — Василий.

Через две недели в сумеречном храме Знаменья, что и поныне стоит близ Петровских ворот как вершина угла, образуемого 1-м и 2-м Колобовскими переулками, церковная книга была начата записью № 1 о крещении 17 января Софии. «Родители ее, — гласит запись, — полковник артиллерии Василий Васильевич Крюковский и супруга его Елизавета Федоровна. Восприемниками были: подпоручик Семен Васильевич Крюковский и дочь провиантмейстера Василия Семеновича Крюковского девица Анна Васильевна».

Маленькую Соню, как прежде сестру ее Анюту, сдали на попечение няни Прасковьи. Лишенная своего гнезда, няня, на радость и на горе девочки, прильнула к ней одиноким сердцем больше, чем к другим детям. Сонечку почитала она «нелюбимой», запомнив, как мать отвернулась от ребенка на первом погляденье.

В семейных преданиях Крюковских почти ничего не сохранилось о раннем детстве Софьи. Даже в дневнике Елизаветы Федоровны нет ни слова о рождении второй дочери.

Первое сознательное представление о себе Софья Васильевна относит к двух-трехлетнему возрасту. Был воскресный или праздничный день. Гудели и перекликались большие и малые колокола всех сорока сороков московских церквей. Сладко пахло ладаном и нагретым воском. Принаряженные люди толпой выходили из церкви. Няня бережно сводила девочку с паперти и в тревоге взывала: «Не ушибите ребеночка!» К няне подошел какой-то человек в длинном подряснике и, подав ей просвиру, наклонился к ребенку:

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? Соня молчала, широко раскрыв глаза.

Возле ворот дома, где жили Крюковские, нянин знакомый сказал:

— Видите, маленькая барышня, на воротах висит крюк? Когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: висит крюк на

воротах Крюковского и сейчас и вспомните.

«...И вот, как ни совестно мне в этом признаться, — писала Софья Васильевна, — этот дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании. С него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете».

Когда она потом пыталась вызвать в памяти годы детства, перед мысленным взором ее всплывали отдельные картины. То широкая, без конца, без края, дорога с березами и черно-белыми верстовыми столбами по сторонам, а посредине, в куче пыли, огромная, с Ноев ковчег, карета, полная людей и вещей; то сама она на дороге собирает камешки; то, рассерженная, выбрасывает из окна кареты Анютину куклу; то лежит на жестком диване или сдвинутых стульях в избе почтовой станции. Отец-военный часто менял места службы, и семья всегда следовала за ним из города в город.

«САМА ПО СЕБЕ»

Девочке было не более трех лет, когда она впервые проявила «характер». Ее начитанные, образованные родители, хотя по обычаю тех времен и передали заботу о детях прислуге, интересовались вопросами воспитания и придавали большое значение гигиене и медицине. Как раз в ту пору медицинская наука объявила суп самой необходимой пищей ребенка. Отец стал неукоснительно следить за тем, чтобы дети исправно ели это непривлекательное для них блюдо, и даже установил норму — двенадцать ложек.

Соня супа не любила, подчиняться приказу отца не желала, капризничала и плакала за столом. Обычно мягкий и ласковый, отец однажды строго сказал, что если она и завтра откажется от супа, ее поставят в угол и она будет стоять там до конца обеда. На следующий день, когда все уже сидели за столом, обнаружилось, что Сони нигде нет. Василий Васильевич, по военной привычке не терпевший никакой расхлябанности, начал грозно хмуриться. Вдруг девочку обнаружили в дальнем углу столовой за высоким диваном.

— Что ты там делаешь? — спросил отец.

Прямо глядя на него, девочка ответила:

— Да я думала, что лучше, чем есть этот гадкий суп, я сама по себе стану в угол, пока вы будете все обедать...

Она и потом в своей жизни предпочитала лучше «сама по себе» стать лицом к лицу с любыми неприятностями, чем томиться ожиданием их.

Соня привлекала внимание подвижным, смуглым, румяным личиком и удивительным, проникающим в душу взглядом непомерно больших блестящих глаз. Легкая косинка сообщала им недетскую сосредоточенность.

Девочка была на редкость энергична и обладала обостренным чувством справедливости. Ей не передалась от матери способность всего касаться ласкающим жестом, обходить острые углы, извинять и вносить мир любой ценой, любыми компромиссами во что бы то ни стало.

Василия Васильевича перевели в Калугу. К этому времени появился, наконец, долгожданный сын. Его назвали в честь деда Шуберта Федором. Маленькая Соня известила свою штутгартскую кузину Софью Аделунг записочкой, нацарапанной карандашом по-русски, но готическими немецкими буквами: «Мой братик очень красивый и мало плачет».

Дети и в Калуге, как в Москве, находились полностью на попечении няни, только прибавилась гувернантка-француженка для Анюты. В большой, с низким потолком комнате душно пахло ладаном, лампадным маслом, майским бальзамом и горелой сальной свечкой. Вдоль стен вплотную стояли кровати, забранные решеткой. Дети могли кидать подушками друг в друга и перелезть из постели в постель, не спуская ног на пол.

Напротив детских кроватей возвышалось ложе няни Прасковьи, ее гордость — соблазнительный Монблан из одеял, пуховиков и подушек. В добрую минуту няня позволяла своим питомцам побарахтаться в перинах.

У Прасковьи были свои взгляды на воспитание. Она никогда не открывала форточку, чтобы не простудить господских детей. Они спали, пока спится; пробудившись, начинали баловаться. Няня, сама еще не одетая и нечесаная, приносила им в постели кофе со сливками и сдобными булочками. Подкрепив силы, дети опять засыпали и просыпались, лишь когда появлялась раздраженная француженка и, брезгливо зажимая нос платком, кричала:

— Как, вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов. Вы снова опоздали на урок. Так не можно долго спать, я будет жаловаться генералу, — грозила она няне.

— Ну и ступай жалуйся, змея, — бормотала няня. — Уж господскому дитяти и поспать вдоволь нельзя.

Все же после этой сцены церемониал вставания совершался: няня слегка вытирала детям руки и лица мокрым полотенцем, наскоро проводила по встрепанным волосам гребенкой, надевала платица, зачастую без пуговиц.

Анюта тут же бежала на урок, Соня с Федей усаживались играть на дырявом клеенчатом диване. Прасковья же, не стесняясь их присутствием, подметала пол, поднимая тучи пыли, прикрывала кое-как кровати одеяльцами и основательно взбивала свои пуховики.

Гулять детей водили редко, только в очень хорошую погоду; по большим праздникам няня брала их с собой в церковь.

После уроков Анюта возвращалась в детскую: с гувернанткой ей было скучно, а к няне приходили в гости женщины из бесчисленной дворни и перемывали косточки своим и соседним господам. И чего-чего не слышали дети за день!

Как-то в поздний час Соня лежала в постели. В детской тускло горела свечка; голубой язычок лампадки, колеблясь, отражался на золотой ризе иконы. Ровно дышал брат Федя, посвистывала носом Феклуша — девочка

на побегушках. Сидя за круглым столом и попивая кофе, няня с горничной Настасьей обсуждали дневные происшествия. В полудремоте Соня мало что разбирала но, услышав свое имя, насторожилась.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, — говорила няня, — ведь я ее, почитай, совсем одна вынянчила. Другим до нее дела не было. Когда Анюточка у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли. Она у нас первенькая была. Я ее, бывало, и нянчить-то как следует не успею. Поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет. Ну, а с Сонечкой не так было.

Понизив голос, няня продолжала:

— Не вовремя она родилась, моя голубушка. Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрался, да так, что все спустил. Барынины брильянты пришлось закладывать. Ну до того ли тут было, чтобы радоваться, — бог дочку послал. Барыня так огорчилась, что и глядеть на нее не хотели. Только уж Феденька их потом утешил...

Этот рассказ, повторявшийся часто, крепко запомнился ребенку, отравил ему душу, заставил уйти в себя. Убеждение, что она нелюбимая, легло черной тенью на всю жизнь, изломало характер, стало причиной многих бед.

Ничего опровергающего нянины слова Соня не видела. Тщеславие родителей тешила сестра ее Анюта. Большая уже девочка, хорошенькая и острая на язык, она пользовалась репутацией «прелестного ребенка», чуть ли не с семилетнего возраста привыкла быть царицей детских балов. Отец гордился ее успехами.

— Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези: она любого царевича с ума сведет, — говаривал он в шутку.

Дети принимали его слова всерьез.

Анюте разрешали бывать в обществе взрослых, и она развлекала гостей остроумными, подчас дерзкими выходками, которые ей спускали. А Соня и Федя даже завтракали и ужинали в детской. Если Соню и велили иной раз привести в гостиную, она цеплялась за нянину юбку, дико смотрела на всех и молчала так упорно, что мать, едва сдерживая раздражение, говорила:

— Ну, няня, уведите вы вашу дикарку. С ней только стыд один перед гостями.

Отец в детскую не заглядывал. Он считал, что воспитание — дело женское. Общение его с детьми ограничивалось встречами в столовой да в передней. Когда он собирался ехать с официальным визитом, няня созывала

своих питомцев «поглядеть на папеньку в параде». Василий Васильевич пощипывал им щечки, подбрасывал то одного, то другого к потолку и, поцеловав, отбывал.

Елизавета Федоровна приходила к детям перед отъездом в гости, чаще всего в бальном платье, в цветах, браслетах и кольцах. Анюта бросалась к ней, обнимала, целовала, перебирала драгоценности или надевала какую-нибудь из них на себя и бежала к зеркалу.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда вырасту.

Мать забавляли эти слова. Соне тоже мучительно хотелось приласкаться к ней, забраться на колени. Но, как многие нервные дети, она была порывиста и угловата. Ее попытки кончались всегда плачевно: она или делала матери больно, или нечаянно рвала платье, в смятении забивалась в угол и еще больше дичилась.

В самом раннем детстве, увидав на улице девочек и мальчиков, занятых шумной игрой, она, бывало, просилась к ним, но няня таким укоризненным голосом заявляла: «Что ты, маточка! Как можно барышне играть с простыми ребятишками?» — что Соне почему-то становилось стыдно. А потом она перестала выражать «недостойные» желания: у нее прошла охота играть с детьми. Если иногда появлялась гостя-сверстница, Соня стояла возле нее молча и ждала, скоро ли та уйдет.

С обучением ее не торопились. Девочка видела, с каким упоением читают книги старшая сестра и взрослые, ей очень хотелось узнать, что в них так привлекает Анюту, мать и отца. Она просила всех, чтобы ее тоже научили читать, ей отвечали, что еще рано, пусть подрастет немного.

В доме получали «Московские ведомости». Газета лежала всегда на виду, и в глаза бросался заголовок, напечатанный крупными буквами. Соня сперва только украдкой рассматривала их, а потом старалась захватить газету. Неся перед собой большой бумажный лист, почти скрывающий ее фигуру, девочка спрашивала у кого-нибудь:

— Какая это буква сначала?

Ей отвечали, что это «М». Соня усаживалась в укромном месте и разыскивала букву на всех полосах газеты, повторяя вслух: эм, эм, эм... Затем шла узнать:

— А как называется эта круглая штучка возле эм? Старшие, чтобы только отделаться от ребенка, на ходу говорили: «О». И Соня, сидя в уголке, заучивала новую букву.

Так, одна за другой, запомнились все буквы алфавита. Девочка пробовала сочетать их. Иногда получались такие неприятные звуки, что она с отвращением умолкала. Приходилось просить помощи у сестры или у

гувернантки, пока не далось умение составлять слоги, а из слогов целые слова, которые можно пропеть, произнести скороговоркой, заставить перезванивать.

Сначала она с испугом и изумлением смотрела на черные значки, которые сразу же, едва только назовешь их вслух, человеческим языком рассказывали о том, чего Соня подчас даже не понимала, но что уносило ее в какой-то необыкновенный мир. Потом она подчинила себе стихию звуков и была очень горда победой. Соня прибежала однажды к отцу, когда он читал газету, и, протянув пальчик к заголовку, сказала:

— А я, папа, знаю, что здесь написано. Мос-ков-ские ве-до-мос-ти!

Отец улыбнулся ей той чуть высокомерной небрежно-ласковой улыбкой, какой улыбался и малым детям и жене и в которой было столько влекущей прелести.

— Ну, это, Софа, тебе сказали. Сама-то ты ни слова не умеешь прочитать.

Девочка, расцветая от улыбки отца, от шутливой поддразнивания, подняла на него свои широко открытые, с косинкой глаза и повторила:

— Нет, папа, умею. Я и другое прочту.

— Ну, прочти вот это слово, — не глядя, провел отец ногтем по строчке.

Соня стала по слогам составлять слово. Отец указал на другую фразу. Девочка прочитывала все, что ни предлагал ей пораженный Василий Васильевич.

— Молодец, Соня, есть у тебя характер, — с удовлетворением похвалил он дочь, очень похожую на него настойчивостью и многими душевными качествами, нет-нет да и проявлявшимися.

Чаще всего она бывала одна. И безгранично привязалась к няне. Ничего другого не хотела, как сидеть вечерами на диване, тесно прижавшись к ее теплым мягким коленям, и слушать сказки.

Няня знала их великое множество, все больше страшные; рассказывала особенным, певучим голосом, пересыпая повествование занятными присказками и прибаутками. А ночью девочка кричала и дрожала от ужаса. В сумерки, когда никого не было рядом и темные тени, выползая из всех углов, заполняли комнату, ее охватывала такая безотчетная тоска, такое безысходное, смертное томление, что она опрометью кидалась к дверям и разыскивала няню — защиту и прибежище. Такую же тоску вызывали у нее недостроенные дома с черной пустотой вместо окон и небо, когда, лежа на земле, она смотрела на него и оно словно всасывало ее в свою синюю пустую высоту.

Кто знает, что случилось бы с нервной девочкой, воспитывавшейся без товарищей, без веселых детских игр на воздухе, в нечистой бестолочи людской, в том духе «спустя рукава», который царил в каждом богатом помещичьем доме, если бы не произошло событие, открывшее генералу Крюковскому глаза на истинное положение, в каком находились его дети.

СИСТЕМА МИСС СМИТ

Василий Васильевич Крюковский решил заняться хозяйством. Выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта артиллерии, он в 1858 году переехал с семьей в Палибино. Имение Крюковских находилось близ границы с Литвой, о которой Софья Васильевна потом писала: «И не является ли истинной королевой та, что произвела на свет и была воспета такими сынами, как Мицкевич, Красинский и Словацкий!»^[2].

На сотни километров вокруг Палибина простирались леса. Последние отроги Валдайской возвышенности разнообразили ландшафт небольшими холмами. Среди равнин и болотистых лугов встречались мощные глыбы гранита, занесенного ледниками.

К усадьбе Крюковских с одной стороны примыкал мачтовый бор с множеством зверей и птиц, с ягодами, орехами и грибами, с другой — дубовая роща.

Дом стоял на пригорке. Большой, с толстыми, аршина в два, каменными стенами, с двумя флигелями, трехъярусной башней, увенчанной шпилем, с балконами, фонарями, верандами. Он был построен, как писала Софья Васильевна, «в том определенном, но в архитектуре не отмеченном стиле, который стоило бы назвать крепостным стилем. Всего было много, материалом всюду сорили, но все было как-то грубо, топорно, по всему было видно, что дом этот строился в такое время, когда труд был недорогой и все обходилось домашними средствами. Кирпичи обжигались на своем заводе, паркетные доски готовились из своего леса и своими крепостными, даже архитектор, делавший планы, и тот был крепостным».

Сад с прямыми, посыпанными щебнем дорожками, с клумбами в виде ваз и сердец, с разбросанными всюду беседками из жасмина и сирени окружал дом. С севера зарастал травами большой пруд, вырытый руками крепостных. За домом пригорок спускался к ручью, который в половодье шумел и пенился, а в засуху едва сочился тонкой, как ниточка, струей. Весной обрыв густо зеленел черемухой, звенел птичьим щебетом; зимой заносило его снегом, из-под которого чернели одинокие прутья.

Правый флигель отвели для театра с настоящей сценой, декорациями, занавесом и давали спектакли.

В верхнем этаже дома — с его парадными комнатами — расположилась Елизавета Федоровна. Весь нижний этаж, кроме нескольких комнат для случайных гостей, был отдан Анюте и Соне с гувернанткой.

Василий Васильевич устроил кабинет у подножия башни, уединившись в своем «мужском мире». Даже Елизавета Федоровна не решалась заходить к мужу без стука. Ему надо было думать о благополучии семьи. Забот у Василия Васильевича оказалось много. Он открыл винокуренный завод, разводил породистый скот, продавал барышникам лес.

Но условия деревенской, не столь рассеянной, как в городе, жизни свели его теснее с семьей и, к его великому удивлению, дети оказались не такими воспитанными и примерными, как он думал. Анюта, «чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам», так невежественна, что даже правильно по-русски писать не умеет, и к тому же невыносимо избалована, а француженка-гувернантка по своим моральным качествам не может быть терпима ни в одной приличной семье. После того как однажды девочки убежали из дому и заблудились в лесу, где их нашли только к вечеру, уже успевших поесть волчьих ягод, он увидел, что, несмотря на многочисленную прислугу, дети — без присмотра.

Разгневался Василий Васильевич и, не любя полумер, немедленно удалил француженку, няню из детской отправил смотреть за бельем, а к детям взял поляка-учителя Иосифа Игнатьевича Малевича и англичанку Маргариту Францевну Смит.

Жизни «спустя рукава» наступил конец. Англичанка решила немедленно превратить двух «распущенных» помещичьих дочек в образцовых английских мисс. Анюта в руки новой гувернантки не далась. После упорной войны за свою независимость она перебралась в отдельную комнату наверх и стала считать себя взрослой барышней. Новый порядок коснулся только восьмилетней Сони.

Маргарита Францевна, некрасивая, одинокая, уже немолодая девушка, обрушила на Соню неизрасходованный запас чувств. Утвердившись в детских комнатах полновластной хозяйкой, мисс отгородила свою воспитанницу от всех домашних и особенно от Анюты. Размеры и устройство деревенского дома позволяли жить, не сталкиваясь, трем-четырем семьям одновременно. Крюковские собирались вместе лишь за обедом и вечерним чаем.

Мисс Смит совершенно завладела Соней и круто изменила весь уклад ее жизни. Многие пошло девочке на пользу, многое только усилило ее душевное одиночество.

В доме Крюковских телесного наказания детей не терпели. Гувернантка нашла новый способ воздействия: она прищипливала к плечу провинившейся Сони бумажку с крупно написанным наименованием проступка. Болезненно самолюбивая девочка должна была идти с таким

украшением к столу под насмешливыми взглядами прислуги и родных. Она до ужаса боялась этого наказания. Сначала страх заставлял Соню и вставить рано, как требовала мисс Смит, и бежать к умывальнику, где горничная быстро окатывала ее ледяной водой и крепко растирала мохнатым полотенцем. А потом нововведение англичанки понравилось девочке: на мгновение захватывало дух от холода, а затем кровь горячо бежала по жилам, и тело становилось необыкновенно легким и упругим.

В столовой к этому часу уже попыхивал самовар; в печке весело трещали дрова, и яркое пламя причудливо играло на замерзших стеклах. Соне хотелось пошуметь, повозиться. Увы, чопорная мисс Смит со своей больной печеню и постоянно дурным настроением обрывала порывы неуместной, по ее мнению, веселости Сони и поднималась, чтобы начать урок музыки.

— Теперь время для учения, а не для смеха!

Фортепианные уроки проходили в большом зале наверху. Зимой там всегда бывало холодно, пальцы стыли, но Соня должна была полтора часа играть гаммы и экзерсисы под сухой, однообразный стук деревянной палочки в руках угрюмой мисс Смит, как метроном, отбивавшей такт.

Мать Софьи Васильевны была прекрасной музыкантшей, и девочка любила слушать ее игру. На уроках мисс Смит извлеченные из чрева рояля звуки сжимались, уплотнялись в тусклые, тяжелые комочки и мертво падали в холодную пустоту зала. Куда же девались стремительные, брызжущие и лепечущие, как вешняя вода, всегда живые, увлекающие в свой головокружительный танец звуки и ритмы, возникавшие под пальцами матери? Мисс Смит убивала душу музыки.

После урока Соня шла в классную заниматься с Малевичем. В двенадцать часов ее ждал скучный завтрак в обществе Маргариты Францевны.

Проглотив последний, тщательно прожеванный кусок, мисс Смит отправлялась к окну посмотреть, какая погода. Если не было ветра и термометр показывал меньше десяти градусов мороза, Соня должна была идти на обязательную полторачасовую прогулку, которую англичанка совершала ежедневно, невзирая ни на что. Шел ли снег, ревел ли буран, гремели ль все громы небесные, мисс Смит, высокая, прямая, мерно вышагивала по длинной липовой аллее. Соня покорялась своей участи, но при гувернантке ее не радовал парк с мохнатыми от снега деревьями, с нежным попискиванием невидимых синиц. Прелесть яркого зимнего утра угасала под непреклонным взглядом Маргариты Францевны.

Если же мороз был крепче или дул ветер, мисс Смит шла вкушать

свежий воздух одна. Соня для моциона обязана была играть в зале с мячом. Полтора часа свободы!

Несколько раз обегала зал девочка, подгоняя мячик ритмичными ударами. Ритм приводил ее в возбуждение. Ударяя по мячику, она вслух складывала стихи. Самый размер стиха, его певучесть доставляли ей наслаждение. Она громко декламировала свои вирши, упиваясь музыкой рифм. Особенно гордилась она стихами «Обращение бедуина к коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». Прочитав впервые произведения Лермонтова и Жуковского, она задумала длинную поэму — нечто среднее между «Ундиной» и «Мцыри», сочинила первые десять строф, предполагалось же сто двадцать! Как у многих одиноко растущих детей, у нее был свой скрытый, богатый мир фантазии.

Но муза капризна. Вдохновение не всегда нисходит именно в тот час, когда приказано играть в мяч. Рядом с залом находилась большая библиотека. На всех столах и диванах, даже на доске серого мраморного камина были разбросаны томики иностранных романов и русские журналы. Крюковские выписывали множество книг; гувернантка запретила Соне их трогать. Она давала ей только те, «какие пропустит через фильтр своей неуязвимой добродетели и благонравия. Но как долго, как нестерпимо медленно читает их этот домашний цензор!» Соня, колебавшись между желанием и запретом, делала себе небольшую уступку. Она подходила к какой-нибудь книжке, заглядывала в нее и бежала с мячом дальше. Затем, перевернув несколько страничек, проглотив несколько фраз, опять постукивала мячом. Убедившись, что опасности нет, она стоя начинала пробегать страницу за страницей, все равно — с начала или с конца, в первом или последнем томе, и время от времени делала несколько ударов мячом на случай, если вернется гувернантка. Иной раз, увлеченная книгой, она не слыхала шагов грозной мисс. Наказание следовало немедленно: Соня должна была идти к отцу и сообщить о своем преступлении.

Отец, в сущности, был не очень строг. Когда дети болели, никто не говорил с ними так нежно, никто не умел так приласкать и пошутить, как он. Дети боготворили его и долго помнили ласку. Но в обычное время он не позволял себе никакой фамильярности — «мужчина должен быть суров».

Он ставил Соню в угол, и девочка иногда стояла очень долго, пока позабывший о ней Василий Васильевич, оглянувшись, не вспоминал о происшествии и не говорил, пряча улыбающиеся глаза:

— Ну, иди, да больше не шали.

Возвращалась Соня в классную тихая, присмирившая. Гувернантка

была довольна результатами своего педагогического воздействия, а в душе девочки оставалось чувство незаслуженной обиды.

Нередко причиняла душевную боль и мать, которой Соня очень гордилась, находя ее красивее и милее всех знакомых женщин. Девочке казалось, что мать любит ее меньше, чем Анюту и Федю.

Закончив уроки, сидит, бывало, Соня в классной. Гувернантка не отпускает ее наверх. А там, в зале, расположенном прямо над классной, слышны звуки музыки. Мать по вечерам играет часами. Музыка размягчает сердце девочки; ей хочется прижаться к кому-нибудь, приглубиться. Наконец гувернантка разрешает уйти. Быстро взбегают Соня наверх и видит: мать уже не играет. Она сидит на диване, обняв прижавшихся к ней Анюту и Федю. Им так весело, что они даже не замечают Сони. Она стоит молча, смотрит, ждет, не позовут ли ее. Но они продолжают болтать, не обращая на нее внимания. И Соня молча уходит, забивается в угол, с ревнивой, горькой завистью думает: «Им и без меня хорошо».

Чем горше она страдала, тем сильнее хотела, чтобы ее любили. Если кто-нибудь из родственников или знакомых проявлял к ней немножко больше нежности, чем к брату или сестре, она начинала боготворить этого человека, желала завладеть им только для себя одной.

Как-то приехал в Палибино брат Елизаветы Федоровны Федор Шуберт — молодой человек с каштановыми волосами бобриком, с румяными щеками и веселыми глазами. Соне понравилось все в этом дядюшке. За обедом она даже есть позабывала, разглядывая его.

Федор Федорович тоже с интересом смотрел на младшую племянницу. Когда к пирожному подали варенье из крыжовника, он положил себе на тарелку большую порцию ягод, плававших в густом сиропе. Взглянув на Соню, он перевел взгляд на крыжовник. Еще раз посмотрел на девочку и на ягоды и вдруг расхохотался:

— Знаешь, Лиза, — сказал он сестре, — все время за обедом я сидел и думал, на что похожи Сонины глаза. А теперь знаю: они похожи на крыжовник. Такие же большие, такие же зеленые и... сладкие.

Сравнение нашли очень удачным и дружно посмеялись, а Соня, покраснев до ушей, готова была уже обидеться, как дядя добавил:

— Но очень красивые и очень зеленые...

После обеда Федор Федорович, усевшись на маленьком угловом диванчике в гостиной, посадил девочку к себе на колени.

— Ну, давай знакомиться, мадемуазель моя племянница, — сказал он и стал расспрашивать ее, чему она учится, что читает.

С этого дня повелось: едва отец и мать отправятся соснуть после

обеда, Федор Федорович с Соней принимаются за свои «научные беседы». Дядя предпочел ее Аняте! Могла ли она не полюбить такого доброго человека! И с нетерпением ждала девочка часа, когда дядя принадлежал ей одной.

Но однажды приехали соседи-помещики к привезли свою дочь Олю — Сонину сверстницу. Раньше Соня радовалась гостье, ради которой отменяли даже уроки, а теперь взволновалась: как же будет после обеда? Но дядя, ее дядя, не только пригласил маленькую гостью на их диванчик: когда вознегодовавшая Соня отказалась сесть к нему на колени, он тут же усадил на ее место Олю. Не помня себя от ярости, Соня кинулась к коварной гостье, укусила ее обнаженную ручку, на секунду замерла от ужаса, а потом от невыносимого стыда бросилась вон из гостиной. До нее донесся дядин возглас: «Злая, гадкая девчонка...» Ну, вот и все. Больше ничего, ничего не будет... Опять одна, нелюбимая, презируемая.

Но, как часто бывает на свете, все ее муки оказались ни к чему. Ни дядя, ни Оля никому не сказали о происшествии. Все вокруг было как прежде. Лишь в детском сердце осталась безнадежная пустота. Соня больше не любила пренебрегшего ею дядю. Такою была она с детства до конца жизни.

ЕСТЬ НАУКА ВЫСШАЯ

Крепко привязалась Соня к другому дяде — брату отца, Петру Васильевичу Крюковскому. Красивый, величественный старик, с чеканным профилем, с седыми клочковатыми бровями и глубокой складкой на лбу, казался на первый взгляд суровым. Но глаза, кроткие «глаза ньюфаундлендской собаки», открывали его детское простодушие.

Дядя пользовался репутацией чудака и фантазера, человека «не от мира сего». Жену его крепостные задушили за жестокость; имение свое он отдал сыновьям, оставив себе гроши, которых не хватало даже на страстно любимые книги, и гостил в Палибине неделями.

С ним было весело и уютно. Петр Васильевич просиживал в библиотеке целыми днями, забравшись с ногами на большой кожаный диван, и читал, читал запоем. Его интересовало все; «Что-то нового затекает этот каналья Наполеошка?», «Что делает Бисмарк?» Всех английских чиновников в Индии за их произвол он «приговаривал» к повешению. Глядя на мисс Смит, свирепо кричал: «Да, всех, всех!» — и стучал кулаком по столу так, что бедная собачонка левретка Гризи нервно вздрагивала. За столом при нем всегда возникали жаркие политические споры.

Но больше всего занимали его описания научных открытий. Соня любила сидеть с дядюшкой вдвоем в библиотеке, играть с ним в шахматы и слушать его нескончаемые захватывающие рассказы.

Сам ребенок, Петр Васильевич не замечал разницы в годах и часто развивал перед племянницей свои идеи социальных преобразований, говорил о путях науки, открытиях. Артиллерист в прошлом, он увлекался математикой, особенно ее философской стороной. От него Соня впервые услышала о квадратуре круга, о бесконечности и асимптотах — прямых, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая. Эти рассказы горячили и без того возбужденную фантазию девочки, внушали благоговение к «науке высшей и таинственной, ведущей в чудесный мир, закрытый для простых смертных».

С математикой, еще не зная ее, Соня соприкоснулась рано. Когда Крюковские собрались переезжать в деревню, они заново обставляли и оклеивали обоями комнаты палибинского дома. На одну из детских не хватило обоев. Выписывать их из Петербурга было сложно. Решили до удобного случая покрыть стену простой бумагой. На чердаке нашли листы

литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные когда-то Василием Васильевичем.

Соня заинтересовалась странными знаками, испещрявшими листы. Она подолгу простаивала перед ними, пытаясь разобрать отдельные фразы, соединить страницы. От ежедневного разглядывания вид многих формул, хотя они и были непонятны, запечатлелся в памяти...

До появлений в Палибине Иосифа Игнатьевича Малевича Соню, кроме музыки и языков, ничему не учили. Изредка ее приводили на уроки не желавшей учиться Анюты, чтобы семилетняя девочка посрамила своими ответами четырнадцатилетнюю сестру.

Иосиф Игнатьевич Малевич принадлежал к тому типу домашних учителей-наставников, которые исчезли вместе с дворянскими гнездами. Сын мелкопоместного шляхтича из местечка Креславка Витебской губернии, Малевич, родившийся в 1813 году, окончил шестиклассное училище и по призванию посвятил себя педагогической деятельности, обучая детей помещиков. Долго жил он в доме И. Е. Семевского, готовил в учебные заведения шестерых его сыновей, один из которых, Василий Иванович, стал известным историком-славистом, а другой, Михаил Иванович, литератором, издателем журнала «Русская старина».

Аккуратный, внешне даже несколько педантичный, Малевич отдавался своему труду с увлечением; читал педагогические статьи и книги, любил детей и находил к каждому из них особый подход. Обязанностью домашнего учителя он считал воспитать трудолюбие, пробудить способности, какими природа наделила ребенка.

С первых же уроков Малевич признал, что Соня очень внимательна, редкостно понятлива, исполнительна и трудолюбива. У него был свой метод обучения. Важнейшим из предметов он считал русский язык, помогавший развивать и мышление и дар речи. Соня с удовольствием писала под диктовку учителя, письменно излагала содержание прочитанных рассказов и сама отыскивала свои ошибки. Малевич упражнял ее в декламации, преимущественно басен Крылова, находя, что язык Крылова совершенствует произношение, дает естественность интонаций, а ученица сама делала вывод о мысли басни и запоминала идиомы.

Так, не торопясь, занимались они русским языком три с половиной года, изо дня в день. Затем девочка перешла к изучению словесности по книге «Опыты обозрения русской словесности» Ореста Миллера, охватывающей период с древнейших времен до XV века.

По настоянию Иосифа Игнатьевича для его ученицы купили лучшую в те времена хрестоматию А. Филонова, в которой были собраны отрывки из классических произведений русской и мировой литературы. Изучая литературные жанры, Соня дополнительно читала много произведений русских авторов, полные собрания сочинений которых имелись в библиотеке отца, а для разбора и оценки их — статьи Белинского. Иногда Малевич предлагал ученице высказать свое мнение о каком-нибудь известном романе, и прежде чем она приступала к этой работе, просил устно изложить, что она собирается писать. Так, в глухом «генеральском медвежьем углу», оторванная от общения с внешним миром, девочка привыкала смотреть на жизнь глазами передовых людей.

«Основательность суждений, верность и сила приводимых доказательств, порядок размещения тех и других, глубокое понимание удивляли меня... — вспоминал Малевич. — Я думал не столько о необыкновенных успехах даровитой ученицы, сколько о дальнейшей судьбе девушки отличной фамилии и богатой: что, если бы судьба лишила ее избыточности в средствах к жизни и дала бы лишь средства к высшему образованию, увы, недоступному для женщины в наших университетах? Тогда, о, тогда, я даже был уверен в этом, даровитая ученица могла занять высокое место в литературном мире».

Историю Малевич проходил тоже не так, как принято было ее проходить в учебных заведениях. Он считал, что «преподавание отечественной истории должно служить довершением тех начал, которые порождают любовь к родине, готовую на жертвы во имя ее: подвиги сынов России, гражданские их доблести».

Он начал курс истории России с изучения древнейших памятников, отразивших гений народа, сопровождал уроки чтением отрывков из трудов Карамзина, С. Соловьева, журнальных статей.

Героическое прошлое родины возбуждало воображение девочки, заставляло ее сердце биться учащенней, а стихи Добролюбова, Некрасова, статьи Белинского, рассказы Тургенева вызвали неясное, но все более крепнущее чувство недовольства несправедливостью и злом, царившими в жизни.

По-своему преподавал Малевич и географию. Он знакомил ученицу со всем окружающим ее — от ручейка до большого озера, от земли в цветнике или в саду до разнообразной почвы на пахотных полях, от булыжника до драгоценных камней, от домашних животных до диких зверей, которых случалось ей иногда видеть, от сельца, в котором она жила, до больших селений, местечек и городов.

Черчение карты было обязательным. Девочка вычерчивала карту мест, начиная от палибинских владений до Невельского уезда, от Витебской и сопредельной Псковской губернии до Западной Европы, отмечала озера, реки, леса, болота, делала диаграммы о народонаселении — городском и сельском, о промышленности — фабричной и сельской, об образовании, доходах. Меньше всех, оказывалось, получали те, кто больше работал. И несоответствия в распределении благ земных, на которые указывала литература, в диаграммах выступали более отчетливо.

Малевич давал ученице статьи из журналов или читал ей сам отрывки из больших трудов по географии. Затем прибавилось и еще одно интересное занятие.

В свободное от уроков время, а это были только вечерние часы, Малевич, как ни противилась гувернантка, не упускал случая побыть с Соней, поиграть с ней, пустить при ветре огромного змея. Он заметил, что после чая в долгие осенние и зимние вечера Соня часами бегаёт по залу, постукивая мячом об пол. После многих попыток ему удалось добиться признания: Соня сказала, что хотя игра с мячом и отличный моцион, но ей нравится в этой игре другое. Когда она так бегаёт, мысли её уносятся далеко, она или складывает стихи, или путешествует по белу свету, вспоминая все, что узнала о материках и странах.

Малевич предложил ей играть в «путешествия». В воображении они уезжали из Палибина, разглядывая шаг за шагом все замечательное, что могло бы попасться на пути. Так «побывали» они во всех европейских столицах, осматривали музеи, знаменитые в мире здания, статуи, картины, библиотеки, посещали ученые общества и заседания, университетские лекции — все, о чем только мог рассказать Малевич.

А летом в Палибине предпринимались большие поездки в лес — за земляникой, за грибами. Прогулки в лес для Сони были самым интересным развлечением. Готовились к поездке с вечера. С первыми лучами солнца к крыльцу подкатывало несколько телег. Горничные укладывали на них посуду, самовар, провизию, корзины и кувшины для грибов и ягод.

Дети, мешая всем, бегали с пылающими щеками. Скулили, боясь быть оставленными, дворовые собаки. Наконец телеги трогались по проселочной дороге и въезжали в бор.

В три часа на лугу возле костра расстилали скатерть, ставили тарелки, стаканы, поднос с самоваром. Слуги усаживались на почтительном расстоянии от господ. Но эта привычная рознь длилась в лесу недолго. В такой чудесный день сословные различия как ветром сносило. Всех объединяла одна страсть, каждый хвастался своей добычей, каждому было

что рассказать: и про спугнутого зайца, и про логовище барсука, и про змею, и про многое другое. И Соне нравились это единение, эта дружба, которые невозможны дома.

Ее захватывала красота леса. Солнце клонится к закату. Яркие лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, будто поджигают стволы сосен, и они пылают алым пламенем. На тихой, сонной воде маленького озера блестят пурпурные пятна.

Дома в лихорадочном полусне она снова видела лес лучше, отчетливее, чем днем. Из темноты выступает большой муравейник. Снуют хлопотливые муравьи, перетаскивая белые яйца. А вот какой-то комок. Он похож на снежный шар. Соня различает тонкие нити, а в середине — маленькое темное пятнышко. Вдруг пятно начинает двигаться и рассыпается мелкими черными паучками. Утром Соня не обратила внимания на этот странный шарик, а теперь он предстал с поражающей отчетливостью.

Как любила девочка лес! Ей так вольно дышалось в нем, вдали от палибинской усадьбы с ее давящими массивными каменными стенами, с ее оранжереями и террасами, увитыми розами. Он был хорош и зимой, когда беззвучно, безостановочно падал снег и его белые кружащиеся хлопья, казалось, соединяли небо и землю. По ночам вдруг расходились снежные тучи, золотились их края, и выплывала луна, янтарная, круглая, как огромный совиный глаз. Небо отступало в невообразимую высоту, растворяясь в ней, и чудилось, не было в мире ничего, кроме вселенского пространства, залитого лунным светом.

Радовал Соню приход весны. Она видела такие ее признаки, которые ускользали от менее сосредоточенного взгляда. Особенно когда долго стояли холода и все вокруг развивалось медленно, вяло, когда каждую былинку будто упрашивать приходилось проснуться и показать из земли нежный, зябкий кончик. А потом соберется ночью теплый дождь, «и словно бродила какие-то посыплются» с мелкими каплями: все зашевелится, заторопится расти, будто опасаясь не попасть вовремя на званный праздник.

Наутро не узнать ни луга, ни сада, ни бора! Над белыми березками дрожит зеленый дымок; от еловых веток тянутся вверх светлые ростки; горьковато и сладостно пахнет тополевыми почками, теплым паром курится пробужденная земля.

Во время прогулок Соня собирала разные травы и цветы, составляла коллекции бабочек, жуков, ярко и точно описывала их.

К естественным наукам она пристрастилась из подражания Аняте. В ту пору демократически настроенная часть русского общества,

пробужденная революционной пропагандой к новой жизни, переоценивала все ценности, стремилась проникнуть в суть вещей. Естественные науки были единственно верным средством познания законов природы, источником материалистического представления о действительности, и повсюду возникали кружки, где изучали биологию, физику, химию. Передовые ученые читали публичные лекции, на которые стекалось множество слушателей; книжные издательства выпускали произведения материалистического направления. Аня тоже было ревностно предавалась наблюдениям и исследованиям, собрала у себя в комнате целый зверинец. Но когда «подопытные» существа однажды расползлись и разбежались по всему дому, вызвав переполох и запрещение тащить в комнату всякую нечисть, девушка охладела к естествознанию. Соне же этого увлечения хватило надолго.

Единственный предмет, к которому она на первых занятиях с Малевичем не проявила ни особого интереса, ни способностей, была арифметика. Под влиянием дяди Петра Васильевича ее больше занимали отвлеченные рассуждения, например о бесконечности. «Да и вообще, — объясняла она позднее свое отношение к арифметике, — в течение всей моей жизни математика привлекала меня больше философскою своею стороною и всегда представлялась мне наукой, открывающею совершенно новые горизонты».

Василий Васильевич как-то за обедом спросил:

— Ну что, Софа, полюбила ты арифметику?

— Нет, папочка, — простодушно ответила девочка, смутив учителя.

— Но вы полюбите ее, и полюбите больше, чем другие предметы, — взволнованно сказал Малевич.

И он добился своего: месяца через четыре на такой же вопрос отца Соня ответила:

— Да, папочка, я люблю заниматься арифметикой, она доставляет мне удовольствие...

В начале 1860 года возник спор между приверженцами классического и реального образования. Он закончился тем, что защитники реальных гимназий доказали: правильное преподавание математики имеет такую же образовательную силу, как и изучение древних языков. Математика, как наука положительная, развивает быстрое соображение, верность взгляда, приучает излагать понятия и суждения кратко, ясно и логично.

Придерживаясь этого мнения, Малевич стремился дать и своей ученице прочные знания математики. Не зная еще первых четырех правил, девочка решала задачи, пользуясь различными комбинациями чисел.

Малевич сдерживал нетерпение ученицы, не позволял брать в руки учебника арифметики до тех пор, пока она практически не постигнет всю первую часть этого раздела.

Изучение арифметики продолжалось до десяти с половиной лет. Впоследствии Софья Васильевна считала, что этот период учения как раз и дал ей основу математических знаний.

Девочка настолько хорошо знала всю арифметику, так быстро решала самые трудные задачи, что Малевич перед алгеброй позволил изучить двухтомный курс арифметики Бурдона, применявшийся в то время в Парижском университете.

Курс этот заключал в себе теорию арифметики, был подробно и четко изложен. Легкость, с какой ученица усваивала сложный материал, заставила Малевича по просьбе Сони пройти с ней даже такие разделы, которые могли служить лишь при изучении высшей математики. И девочка тогда уже стала пытаться находить свои решения.

Года через три, занимаясь геометрией, Малевич проходил с ученицей вопрос об отношении окружности круга к диаметру со всеми доказательствами и выводами. На следующий день Соня, излагая урок, к великому удивлению Иосифа Игнатьевича, совершенно иным путем и особыми комбинациями пришла к нужному выводу. Учитель попросил ее повторить рассуждение и, думая, что она не поняла его изложения, заметил;

— Хотя вывод и верный, но не следует прибегать к решению чересчур окольным путем. Объясняйте так, как я вам преподавал.

Девочка покраснела, опустила глаза и заплакала. Кое-как успокоив ее, Малевич рассказал об этом случае Василию Васильевичу.

— Молодец Софа! — порадовался отец. — Это не то, что было в мое время. Бывало, рад-рад, когда знаешь хоть кое-как данный урок. А тут сама, да еще девчонка, нашла себе другую дорогу!

Желание заслужить похвалу отца, интересовавшегося математикой, завоевать его любовь своими успехами играло немалую роль в занятиях Софьи Васильевны этой наукой: она и потом, взрослой, нуждалась в поощрении, в человеке, который бы разделял ее увлечения.

С этой поры, как говорила потом Ковалевская, она «почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами».

Гувернантка целый день не спускала глаз со своей воспитанницы. Девочке приходилось прибегать к хитрости. Отправляясь спать, она брала с собой «Курс алгебры» Бурдона, написанный для Парижского института

путей сообщения, прятала книгу под подушкой, а когда все засыпали, читала ее, стоя босая, в одной рубашке, возле лампы или ночника.

Увидев, что ученица начинает увлекаться математикой, Малевич обеспокоился и обратился к Василию Васильевичу;

— Хотя Соня проявляет необыкновенные способности во всех науках, мне кажется, что сильная любовь ученицы к математике может привести к результатам нежелательным. Без совета и одобрения отца я не считаю себя вправе продолжать такое быстрое изучение этой науки.

Василий Васильевич пожал руку учителя и сказал, что «благодарит от души за его труды с любимой дочерью. Он не тревожится, но радуется всем сердцем, что Соня так сильно отличила математику, любимый предмет отца ее», — и попросил продолжать занятия.

Однажды сосед по имению — известный профессор морского корпуса Николай Никанорович Тыртов — привез Василию Васильевичу в подарок свой «Элементарный курс физики». Девочка взяла книгу к себе в комнату и стала читать. В разделе оптики ей встретились тригонометрические понятия — синусы, косинусы, тангенсы. «Что же такое синус?» — недоумевала она и попросила Малевича объяснить, что это. Но учитель стоял за систематичность и последовательность обучения, а потому, ответил, что не знает.

С упорством, свойственным ей с детства, ученица попыталась сама, сообразуясь с имевшимися в книге формулами, объяснить себе незнакомые понятия: Она пошла тем же путем, который был исторически проложен, то есть вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадают друг с другом. У Тыртова же во все формулы входили только бесконечно малые углы.

Спустя некоторое время Николай Никанорович Тыртов снова приехал в Палибино. Соня важно заговорила с ним о достоинствах его книги и сказала, что прочла ее с большим интересом. Профессор, насмешливо оглядев стоявшую перед ним девчушку, добродушно произнес: «Ну вот и хвастаетесь!»

Соня вспыхнула и сказала, каким путем дошла до объяснения тригонометрических формул. Пораженный профессор вскочил с места, побежал к Василию Васильевичу и заявил, что Соню необходимо учить математике серьезно, ибо она — новый Паскаль!

«...Сама того не сознавая, — рассказывал позже ее брат Федор, — она как бы вторично создала целую отрасль науки — тригонометрию. Живи она несколько сот лет раньше и сделай то же самое, этого было бы достаточно для того, чтобы потомство поставило ее наряду с величайшими

умами человечества. Но в наше время труд ее, хотя и не имевший непосредственно научного значения, тем не менее обнаруживал в ней дарование, совершенно выходящее из ряда обыкновенных, в особенности если принять во внимание, что он исходил от 14-летней девочки!»

Тыртов горячо рекомендовал отцу взять для Сони в преподаватели лейтенанта флота Александра Николаевича Страннолюбского.

Василий Васильевич охотно дал согласие учить дочь у Страннолюбского во время зимних поездок в Петербург. Имя это было широко известно в кругах петербургской передовой интеллигенции.

Александр Николаевич родился на Камчатке, в семье начальника области, окончил петербургский Морской кадетский корпус и мог бы сделать успешную служебную карьеру. Но под воздействием идей Чернышевского и Добролюбова он примкнул к одному из студенческих кружков, который организовал бесплатную школу для детей бедных родителей. В этой школе на Васильевском острове занятия вели известные педагоги: А. Я. Герд, П. П. Фандер Флит, О. И. Паульсон, Ф. Ф. Резенер. Страннолюбского, преподававшего математику и выделявшегося своими способностями, избрали инспектором. После того как правительство закрыло Василеостровскую школу. Страннолюбский поступил в Морскую академию, но не оставил общественной деятельности. Вскоре он завоевал себе глубокое уважение передовых людей как поборник высшего женского образования. До конца дней своих отдавал он силы, знания и время преподаванию в различных кружках, четырнадцать лет был несменяемым секретарем комитета для доставления средств Высшим женским курсам.

На юную Крюковскую Александр Николаевич произвел большое впечатление необыкновенно гармоническим сочетанием изящной внешности с тонким умом, пылким сердцем и благородством стремлений.

Страннолюбский на первом уроке дифференциального исчисления удивился быстроте, с какой Соня усвоила понятие о пределе и о производной, «точно наперед их знала». А девочка и на самом деле во время объяснения вдруг отчетливо вспомнила те листы лекций Остроградского, которые она рассматривала на стене детской в Палибине.

ПАЛИБИНСКИЕ БАРЫШНИ

*Вперед — без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!*

А. Плещеев

ОТЗВУКИ ПОЛЬСКИХ СОБЫТИЙ

Софье Васильевне было лет двенадцать, когда Иосиф Игнатьевич начал знакомить ее с историей Польши. Беседы протекали в библиотеке — большой комнате с темными занавесями и темными обоями, с высокими книжными шкафами вдоль стен и огромным камином, где пылал яркий огонь, отражаясь в стеклянных дверцах шкафов. Соня забиралась в большое кресло и, ускользнув от бдительной гувернантки, слушала рассказы учителя о героическом прошлом Польши, о ее великих сынах. Поговорив о былом, он рассказывал и о новых несчастьях своей родины, о мужестве и героизме, которые проявляли юноши и мальчики во время восстания 1830 года.

«В детстве я не мечтала так горячо ни о чем, как о том, чтобы принять участие в каком-нибудь польском восстании», — писала Софья Васильевна спустя много лет.

Малевич никогда не брал с Сони слова молчать об этих рассказах, но она инстинктивно понимала, что не следует никому о них говорить. Девочка попросила учителя научить ее польскому языку и смогла читать и «Дяды» поэта-демократа Адама Мицкевича, и романтические стихи Юлиа Словацкого, писавшего, что «без духа простого народа мертва человечества грудь», и «Небожественную комедию» Зигмунда Красинского, в которой поэт-аристократ устами вождя повстанцев Панкратия разоблачает подлость крупного шляхетства.

Стихи будили в душе девочки протест против несправедливости, против насилия, а вскоре ей представился случай выразить симпатию к полякам на деле.

В январе 1863 года, после царского указа об экстренном рекрутском наборе, преследовавшем цель изъять революционные элементы Польши, в том числе и городскую молодежь, вспыхнуло восстание.

Польские события не могли не задеть семью Крюковских; Палибино находилось на границе Литвы. В доме составились две враждебные партии: русская и польская. Против поляков была настроена гувернантка мисс Смит, преклонявшаяся перед царем — «освободителем рабов». В польской партии был Малевич. Между ним и гувернанткой велась тайная непримиримая борьба. Иосиф Игнатьевич был очень осторожен, тщательно выбирал слова, никогда не позволял себе оскорбить русских. Оставаясь же с Соней наедине, начинал как бы случайно говорить с ней о Польше.

Елизавета Федоровна держалась нейтралитета, Василий Васильевич из благоразумия не высказывал своих взглядов и запрещал вести разговоры на эту тему при детях.

Но избежать этих разговоров было невозможно. Толковали о поляках даже в петербургских светских гостиных. В доме военного министра Д. А. Милютина, с семьей которого были дружны Крюковские, Соня впервые узнала подробно историю близкого друга Чернышевского, одного из деятелей тайного общества «Земля и воля», Зигмунда Сераковского, которого Чернышевский описал в романе «Пролог» под именем Соколовского.

К началу польского восстания Зигмунд Сераковский был на вершине своей славы: сам царь одобрил его проект реформы военного кодекса и лично поздравил. Перед молодым полковником открывалась блестящая карьера. Но когда началось восстание, он пренебрег всеми почестями, выпавшими на его долю, и вручил военному министру прошение об отставке.

— Польша требует своих сынов, — объяснил он министру свой поступок. — Через несколько недель вы подпишете мой смертный приговор, но вы не перестанете уважать меня.

Сераковский предугадал свою участь, хотя не суд приговорил его к смерти. Генерал Ганецкий захватил в плен тяжело раненного вождя повстанцев в Литве, а заклеенный позорной кличкой «вешателя» Муравьев приказал повесить его. Умиравшего Сераковского доставили к эшафоту на носилках.

Эта история стала любимой темой разговоров Сони, а каждый поляк-повстанец — ее героем.

Среди соседей Крюковских был молодой помещик пан Буйницкий — богатый, красивый, всегда готовый рисковать жизнью. До восстания он часто бывал в Палибине, и среди помещиц ходили слухи, что это жених Анюты.

Польское восстание положило конец знакомству. Буйницкий почти прекратил посещения Палибина. Единственный человек, с которым он сохранял прежнюю дружбу, был Малевич. Из-за него он и приезжал изредка к Крюковским. В присутствии других они почти не разговаривали, а оставаясь одни, беседовали о том, что было близко сердцу.

Соня однажды присутствовала при такой беседе, которая велась на польском языке, и поняла все. Буйницкий многозначительно указал Малевичу на девочку, но учитель ответил:

— О, мы спокойно можем говорить в присутствии Сони. Я ручаюсь за

нее, как за самого себя.

Пан Буйницкий повернулся к ней, серьезно, как взрослой, протянул руку и сказал:

— Я рад, что нашел сестру.

Однажды при встрече Соня заметила, что пан Буйницкий необычайно рассеян. Когда встали из-за стола, Соня почувствовала, что ее друг ищет предлога поговорить с ней. Предлога не находилось. Гувернантка уже приготовилась уйти из гостиной и, как обычно, взять Соню с собой. Тогда пан Буйницкий сказал, что он хотел бы найти какие-то цифры в ее энциклопедическом словаре, и пошел за мисс Смит в классную комнату. Он сел в кресло, долго листал словарь, разговаривал с Маргаритой Францевной, не торопился уходить.

— Ах, какой красивый альбом! — вдруг воскликнул Буйницкий. — Так вы, барышня, рисуете?

Соня действительно увлекалась рисованием, и отец подарил ей дорогой альбом.

Пан Буйницкий полюбовался красивым переплетом, сделал несколько замечаний о Сониных рисунках, затем взял карандаш и, оживленно болтая с гувернанткой, что-то быстро написал на листочке, затем захлопнул альбом и отодвинул от себя.

Мисс Смит ничего не заметила. Пан Буйницкий встал, прощаясь с Соней, дольше обычного удержал ее руку в своей. В его глазах она заметила какой-то особенный блеск. Как только девочка осталась одна в комнате, она схватила альбом и нашла там стихи, написанные по-польски:

«Дитя, если я тебя больше никогда не увижу, я навсегда сохраню о тебе светлую память. Как бы я был счастлив, если бы мне удалось увидеть расцвет того бутона, который уже готов раскрыться! Но судьба не дарит мне этого счастья, и на прощанье я могу лишь преклониться перед его красотой».

Что значили эти стихи?

Через несколько дней донесся слух: пан Буйницкий уехал. В те дни это означало только одно — он отправился «до лясу», то есть в лес, к повстанцам. С тех пор Соня больше никогда его не видела. Родных у него не было, разыскивать его было некому.

Пан Буйницкий стал для нее героем-мучеником, борцом за свободу родины. Каждый вечер она открывала альбом, целовала страницу со стихами и прятала свою реликвию под подушку. Девочка не верила догадкам, что пан Буйницкий погиб в сражении; она была убеждена: он — в рудниках Сибири.

«И одному богу известно, — писала потом Софья Васильевна, — какие детские, глупые планы я строила каждый вечер. Как только я вырасту, думала я, я поеду в Сибирь, найду его там и освобожу. Лишь бы мне скорее вырасти».

Отец оставлял вечером газеты на столе в столовой через три комнаты от Сониной спальни. Ночью, едва только гувернантка засыпала, девочка выскальзывала из своей постели, бежала за газетой и читала ее при свете лампадки. Она горько плакала, узнавая о поражениях восставших.

Слушая рассказы о несправедливостях русской администрации, она не могла понять, каким образом взрослые, сильные люди терпят такое насилие. «На их месте я лучше бы умерла», — думала она с тем презрением к смерти, которое проявляешь в тринадцать лет.

Пятое сентября — именины Елизаветы Федоровны — в семье Крюковских праздновали очень пышно; гостей съезжалось много — с детьми, слугами.

К этому дню откармливали телят, поросят, птицу; устраивали спальни во всех комнатах, приспособляли для постелей диваны, стулья, а то и просто соломенные тюфяки на полу. Но, кроме этих забот, были и другие: каждый год надо было придумывать что-нибудь «духовного свойства» — фейерверк, живые картины или чаще всего любительские спектакли.

Переселившись в деревню, Василий Васильевич и Елизавета Федоровна как столичные жители желали оказывать культурное влияние на соседей — деревенских помещиков.

С их переездом в Палибино действительно прежние деревенские грубые забавы, тяжелые обеды, карты и пляски уступили место более утонченным развлечениям. Но в 1864 году было трудно что-нибудь придумать. Польское восстание только недавно подавили; не находилось ни одной семьи, где не оплакивали бы близких, погибших в сражениях. Страх и отчаяние царили в этих семьях, но обнаружить их опасались, чтобы не вызвать обвинения в «преступных симпатиях».

Василия Васильевича в это время избрали губернским предводителем дворянства. Не приехать поздравить его жену поляки-соседи не осмеливались. Его положение тоже было далеко не спокойным: он не желал относиться к действиям правительства с трусливой покорностью и защищал интересы своих выборщиков.

Между тем Муравьев-вешатель, назначенный генерал-губернатором Литвы, в состав которой входила и Витебская губерния, был облечен безграничной властью. Первое, что он сделал, — уволил всех гражданских администраторов и заменил их военными. Любой из этих чинов получал

полномочия располагать жизнью, свободой и имуществом подвластных ему жителей.

Новые военные начальники не отличались высокими моральными качествами. Русское общество было настолько настроено против Муравьева, что уважающий себя человек не желал служить под его началом. «Прислужники Муравьева» и «палачи» были почти равнозначными понятиями.

В среде военных не считали достойным для офицера участвовать в подавлении восстания. Даже среди высших офицеров гвардии, когда ей приказано было отправиться в Польшу, многие потребовали отставки и навсегда испортили свою карьеру. Некоторые, хотя и принимали участие в подавлении восстания с оружием в руках, не пожелали выполнять роль палачей в мирное время. Муравьеву приходилось искать помощников среди людей, способных на все. В Витебскую губернию он назначил полковника, которого Софья Васильевна описала в «Воспоминаниях о польском восстании» под фамилией Яковлева.

За короткое время Яковлев сумел заслужить всеобщую ненависть.

Василий Васильевич находился с ним в чисто официальных отношениях и очень искусно избегал необходимости видеть его у себя дома. Но перед 5 сентября полковник сообщил, что он сочтет за большую честь и удовольствие принести свои поздравления жене предводителя дворянства.

Елизавета Федоровна, хотя и не интересовалась политикой и во время восстания не держалась ни стороны русских, ни стороны поляков, все же начала громко возмущаться. Прямая и сердечная, она не мирилась с жестокостью и деспотизмом, ей претило принимать в своем доме таких лиц, как Яковлев. Василию Васильевичу стоило больших усилий убедить жену, что это безумие — отказать Яковлеву. После долгих дебатов, которые велись при детях, Елизавета Федоровна, наконец, уступила и обещала мужу быть вежливой с мерзким гостем.

Не смирилась только Соня! Вечером, накануне праздника, она долго не могла уснуть. Яковлев даже не подозревал, какие кровавые замыслы роились в голове девочки. «Завтра, как только он сядет за стол, — думала она, — я возьму большой нож, воткну ему в сердце и крикну: «Это за Польшу!»

На следующий день полковник Яковлев явился одним из первых. Высокий, крепкий, лет сорока, неотесанный с виду, но весьма самодовольный, он никогда раньше не был принят в светских кругах.

Завтрак начался довольно мрачно. За столом собрались старики и

женщины из польских семей; молодые люди были убиты или скрылись. Гости пытались шутить, но это им плохо удавалось. Яковлев, сидя рядом с Елизаветой Федоровной, сначала несколько стеснялся. Но, изрядно выпив, вскоре пришел в веселое настроение, стал рассказывать казарменные анекдоты, острить. А к концу завтрака дошел до такой наглости, что произнес речь, в которой приглашал поляков осушить чашу за здоровье «нашего любимого государя».

Хозяйка не знала, чем занять гостей, когда в гостиной появились девочки соседних помещиков. Их немедленно окружили, спросили, умеют ли они петь и танцевать. Одна из маменек заговорила о талантах своих детей. Сониная гувернантка тоже не пожелала отставать и распорядилась:

— Принеси альбом, который тебе подарил папа, и покажи свои рисунки!

Как, всем этим людям, может быть даже Яковлеву, показать драгоценный альбом со стихами пана Буйницкого?! Но послушаться гувернантки Соня не посмела; убить полковника Яковлева в воображении было куда легче, чем не подчиниться мисс Смит. Соня принесла альбом. Он пошел по рукам и оказался у полковника.

— Я хочу оставить вам маленькое воспоминание, дорогое дитя, — сказал он с улыбкой, достал из кармана карандаш и начал что-то чертить.

Девочка оторопела, даже не могла произнести ни слова. Отойдя в сторону и молча глотая слезы, она следила за движением красной волосатой руки Яковлева, осквернявшего ее альбом.

Ничего не подозревая, довольный собой, Яковлев обратился к Соне:

— Подойдите, милочка, и посмотрите, что я вам нарисовал.

Еще не зная, что она сделает, Соня направилась к нему. Но только увидела в руках Яковлева страницу с хижинкой, любящей парой и двумя сердцами, пронзенными стрелой, как в ярости выхватила альбом из рук полковника, выдернула листок с ненавистным рисунком, разорвала его на мелкие кусочки и бросила на пол, крикнув: «Voilà!»^[3]

Что было потом, она не помнила. Голова закружилась, в ушах зашумело, в глазах замелькали желтые пятна. Гувернантка, схватив за руку, потащила Соню из гостиной и заперла в детской. Но польские дамы украдкой приходили ее навещать и приносили лакомства с обеда. Отец же счел не лишним предложить Яковлеву партию в карты и дал ему выиграть несколько сот рублей...

«КАК ПОСТРАДАТЬ ЗА ЛЮДЕЙ?»

После случившегося Малевич уже не говорил о Польше с Соней, мисс Смит еще суровее удаляла ее от сестры. Да и сестра, взрослая девушка, не проявляла особого интереса к угловатому подростку, за чьей спиной всегда высилась нестигаемая фигура гувернантки.

А Соне так хотелось товарища!

И вдруг пришло письмо, что в Палибино приедет жена умершего двоюродного брата отца — тетя Маня и привезет сына Мишеля, который был года на полтора старше своей палибинской кузины.

В назначенный день Соня простояла несколько часов у окна угловой комнаты, не спуская глаз с дороги. Наконец наступил вечер. Из открытых окон потянуло теплым ароматом свежего сена и крепким, росистым благоуханием распустившихся роз. Донеслось протяжное мычание коров; над дорогой медленно поднялась желтая, густая пыль. Расплескивая бледный свет, уходило за бор солнце, и, будто подожженный, вспыхнул малиновым пламенем закатный край неба. Отсветы его медленно затухали на шершавых стволах сосен, на нежной — коре берез, таяли в тихой воде пруда. Мимо окон бесшумно пронеслась большая птица; потревоженный крыльями воздух вскинулся свежим ветерком и опал. Наступила та удивительная тишина, какой провожает природа уходящий день.

В комнате совсем стемнело, огонек трубки, изредка вспыхивая, освещал худощавое, смуглое лицо отца и ворот серого халата.

Потягиваясь в кресле, подавляя зевоту, мать сказала;

— Должно быть, они сегодня не приедут.

Соня вздохнула. У нее сжалось сердце. «А вдруг тетя Маня и вовсе раздумает приехать и я не увижу Мишеля?»

Она давно, по письмам тети Мани, признала его недостижимое величие и следовала ему во всем. Мишель построил в саду шалаш и ночевал в нем, — Соня всем надоела просьбами позволить и ей жить в шалаше. Сообщила тетя, что у Мишеля обнаружился талант к рисованию, и прислала в подтверждение акварельную головку его работы. Соне рисунок показался чудом искусства, и она принялась перерисовывать эту головку без конца. Каждое новое увлечение кузена находило в ней восторженный отклик. Ей было так одиноко в родном доме, где жил каждый сам по себе. Как же не ждать необыкновенного кузена!

Когда гости прибыли, Соня впилась глазами в высокого, изрядно

упитанного, румяного юношу, одетого в черную бархатную куртку и нанковые панталоны. Соня готова была признать в нем гения, но Василий Васильевич спросил юношу с нескрываемой насмешкой:

— Ну что, перешел в шестой класс?

— Провалился, — после минутного молчания произнес Мишель.

— При твоих-то способностях да провалиться! Когда же ты этак в университет поступишь? — продолжал подтрунивать генерал над племянником.

— А я совсем не поступлю в университет. Я пойду в Академию художеств и буду живописцем, — заявил Мишель.

Тетя Маня спросила, как быть теперь с сыном, и Василий Васильевич раздельно, по слогам произнес:

— Его надо лето поучить толково. Не по-бабьи, как вы его учили дома до сих пор, а вверить попечениям нашего учителя. Иосиф Игнатьевич обладает отличным педагогическим опытом.

Мишель воспротивился. Он сдался не скоро, лишь снизойдя к горячим слезам матери, да и то с условием: если он осенью не выдержит экзамен, мать отпустит его в Мюнхен учиться живописи.

Как ни старался Иосиф Игнатьевич, Мишель не желал ничего понимать. Особенно плохо проходили уроки математики. Заносчивый ученик приводил учителя в негодование своими явными издевками.

Бедный Малевич хотел было совсем отказаться от него, но тетя Маня так трогательно умоляла, так нежно смотрела своими темно-голубыми глазами, что старый холостяк не устоял и решил сделать последнюю попытку.

— Ему нужен товарищ для занятий, — сказал он тете Мане. — Мишель самолюбив, в товарищи мы дадим ему Соню. Она учится отлично, математику любит. Посмотрим, как поведет себя ваш сын.

С восторгом согласилась Соня учиться вместе с кузеном. Ей льстила столь почетная миссия, она изо всех сил старалась быть на высоте.

Узнав о новом походе на него, Мишель изумился и изменил тактику. Теперь он пренебрежительно говорил Малевичу, объяснявшему урок: «Кто же не понимает таких пустяков?» — и давал почувствовать кузине свое несомненное превосходство. Все же легкость, с какой она усваивала уроки, придала девочке некоторый вес. Усилив суровость в обращении с Соней, чтобы она не зазналась, Мишель тянулся к ней — такой кроткой, почтительной, не умевшей скрыть своего преклонения. Соня стала товарищем Мишеля, выслушивала все его фантазии, разделяла его веру в то, что он непременно совершит что-то великое в жизни, хотя он еще и не

решил, что именно. Мишель был убежден, что его судьба будет прекрасной. «Возведи его дьявол на высокую гору и покажи ему самые завидные человеческие судьбы, предложив выбрать любую, — писала Софья Васильевна в своих воспоминаниях, — Мишель отказался бы из боязни прогадать». Его не удовлетворяла ни одна профессия.

— Цель моя не в этом, — важно объяснял он молоденькой кузине, шагая под высокими соснами бора. — Приобрести влияние на людей, стать нужным моему веку, подчинить себе массы и вывести человечество на новую дорогу — только так стоит жить. Жить как Лео у Шпильгагена. Ты, конечно, читала «Один в поле не воин»?

Потрясенная Соня молчала. Ей, скромной, застенчивой девочке, никогда не думалось об этом. И Шпильгагена она не читала. Если о чем она и мечтала сейчас, то лишь о мученическом венце. Во время предпраздничной уборки она нашла у няни старую книжку «Жития 40 мучеников и 30 мучениц», начала ее читать и так увлеклась, что пожалела даже, почему не родилась во времена первых христиан. С тех пор Соня была постоянно занята мыслью: «Как в этой жизни подражать святым мученикам? Как пострадать за людей?»

СЕСТРА

Случилось, что именно в это время на Соню обратила внимание Анюта, которой она всегда немножко завидовала.

В судьбе старшей сестры ничего завидного не было. Когда Крюковские переехали в деревню, Анюта выходила из детского возраста, общества же для нее не было: молодежь примкнула к польскому восстанию. Родители занимались своими делами; пустяки, которыми заполняли дни сверстницы, ее не интересовали. Ничего достойного глубоких чувств вокруг не находилось. Оставались книги с их вымышленными страстями. В пятнадцать лет Анюта перечитала в деревенской библиотеке все романы о рыцарях. Книги горячили воображение и укрепляли убеждение, что ее жизнь должна сложиться иначе, чем у других, что сама она, Анюта, отличается от знакомых ей девушек.

Одетая в белое платье, спустив две толстые длинные косы, как средневековая героиня, Анюта сидела за пяльцами и вышивала бисером герб короля Матвея Корвина, хотя младшая ее сестра не верила в сомнительную легенду о происхождении их рода Корвин-Крюковских и неизменно подписывалась С. Крюковская.

Анюта с надеждой смотрела на почтовую дорогу и, как в сказке о Синей Бороде, ждала, не идет ли там кто-нибудь? Но перед ней бежала, неведомо куда, пылящая дорога да зеленели травы. Вместо рыцаря к отцу приезжали исправник, акцизные чиновники и евреи-маклеры...

«Рыцарский период» кончился ничем. Анюта перенесла свое внимание на окружающих людей. В воображении она сочувственно переживала их горе и радости. Видела ли Анюта чье-то семейное счастье — в мечтах своих она рисовала более полные его картины; слышала ли о чужом горе — оно тоже представало ей более горьким, как бы распадалось на множество новых бед, из которых каждая пускала корни в ее сердце, делалась ее личным горем. Эта способность, развиваясь, становилась источником и больших радостей и жестоких страданий, словно девушка сама все испытывала с удесyтеренной силой.

Спустя какое-то время попался в руки Анюты роман Бульвера-Литтона «Гаральд» — о битве последнего короля англосаксов с нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем при Гастингсе.

Умирая после долгого пребывания в монастыре, героиня романа, невеста погибшего короля Гаральда Эдит — Лебединая шея, замаливавшая

его грехи, просит у бога знамения, что он простил жениха, что Эдит встретится с Гаральдом в раю. Знамения не было, и Эдит проклинает бога за несправедливость...

Роман совершил перелом в жизни Анюты. Она впервые задумалась: есть ли загробная жизнь? «Как теперь помню, — вспоминала Софья Васильевна, — был чудесный летний вечер; солнце уже стало садиться; жара спала, и в воздухе все было удивительно стройно и хорошо. В открытые окна врывается запах роз. и скошенного сена. С фермы доносились мычание коров, блеяние овец, голоса рабочих — все разнообразные звуки деревенского летнего вечера, но такие измененные, смягченные расстоянием, что их стройная совокупность только усиливала ощущение тишины и покоя.

У меня на душе было как-то особенно светло и радостно. Я умудрилась вырваться на минутку из-под бдительного надзора гувернантки и стрелой пустилась наверх, на башню, посмотреть, что-то делает там сестра. И что же я увидела?

Сестра лежит на диване с распущенными волосами, вся залитая лучами заходящего солнца, и рыдает навзрыд, рыдает так, что, кажется, грудь у нее надорвется.

Я испугалась ужасно и подбежала к ней.

— Анюточка, что с тобой?

Но она не отвечала, а только замахала рукой, чтобы я ушла и оставила ее в покое. Я, разумеется, только пуще стала приставать к ней. Она долго не отвечала, но, наконец, приподнялась и слабым, как мне показалось, совсем разбитым голосом проговорила:

— Ты все равно не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном; и я была такою, но эта чудесная, эта жестокая книга, — она указала на роман Бульвера, — заставила меня глубже взглянуть в тайну жизни. Тогда я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда-никогда не узнаем. О, это ужасно! Ужасно!

Она опять зарыдала и уткнулась в подушку дивана».

Соня попыталась возразить, сказать, что есть бог и после смерти все пойдут к нему. Анюта кротко смотрела на нее и печальным голосом произнесла: «Да, ты еще сохранила детски чистую веру. Не будем больше говорить об этом».

Несколько дней она ходила отрешенная от всего земного, романов не читала, а углубилась в «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского и

решила путем самобичевания заглушить сомнения. Она была мягка и снисходительна с прислугой. Младшей сестре и брату уступала, о чем бы ее только ни просили.

Все в доме обращались с ней нежно и предупредительно, лишь гувернантка возмущенно пожимала плечами, да Василий Васильевич за общим обедом подтрунивал над мрачным видом дочери.

Но это продолжалось недолго. К именинам матери надо было устроить домашний спектакль. Не хватало актеров. Елизавета Федоровна с большой осторожностью предложила Анюте принять участие в спектакле. Девушка согласилась. Ей досталась главная роль во французском водевиле. На репетициях у нее обнаружился сценический талант, мрачное настроение улетучилось. Аня поверила, что ее призвание — быть актрисой, и снова потерпела неудачу. Отец не стал даже разговаривать с ней о поступлении на сцену, настолько несовместимо было подобное желание с ее общественным положением.

Аня скучала в деревне, со слезами укоряла отца за то, что он держит ее в заточении. Василий Васильевич с горечью отшучивался, а иногда снисходил до объяснений и убеждал, что сейчас для помещиков наступило трудное время, что бросить имение — значит разорить семью.

Раз в году, зимой, Василий Васильевич отпускал жену и дочь на месяц-полтора в Петербург погостить у тетушки. Поездки обходились дорого и не давали удовлетворения.

А между тем поток новых идей разносился по России. Поколение шестидесятников восставало против всего старого, отжившего. Вопрос «отцов и детей» приобретал небывалую остроту. Идея женского равноправия, выразившаяся в пятидесятые годы в стремлении к освобождению от семейного рабства, в сознании, что «доля лучшая, иная, мне в этом мире суждена», перерастала в идею равноправия в образовании и труде.

Статья революционного демократа М. И. Михайлова «Женский вопрос» явилась откровением. Женщина — человек!

Новые «крамольные» идеи проникали даже в гостиные дворянских особняков, просачивались в глухие дворянские гнезда, где родители укрывали своих дочерей от «тлетворного» влияния «нигилизма». Не замедлили они объявиться и в Палибине.

Послушный, добронравный сын деревенского священника отца Филиппа, окончив семинарию, вдруг отказался принять духовный сан и поступил в университет изучать естествознание. Приехав на каникулы, он стал рассказывать о том, что якобы человек происходит от обезьяны, а

профессор Сеченов доказал: души нет, есть рефлексy.

Попович не сделал обязательного визита в генеральский дом, а пришел к генералу в неположенный день. Василий Васильевич возмутился, что этот молодой «нигилист» посмел явиться к нему запросто, и велел лакею сказать, что принимает по делу утром, до часу. Юноша вознегодовал и передал барину через лакея, что с этого дня ноги его не будет в генеральском доме.

Узнав о случившемся, Анюта влетела в кабинет отца и, задыхаясь от волнения, почти прокричала:

— Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека.

Василий Васильевич сразу даже не нашелся, что ответить, а Анюта от страха убежала. Отец решил обратить все в шутку. За обедом он рассказал сказку про царевну, вздумавшую заступаться за конюха, и выставил обоих в очень смешном свете.

Против обыкновения Анюта слушала сказку с вызывающим видом, а свой протест выразила тем, что стала гулять в лесу с молодым студентом.

Заподозрить девушку в любовной истории было трудно: попович не отличался красотой. Студент был интересен тем, что приехал из Петербурга, где видел собственными глазами людей, перед которыми преклонялась молодежь России: Чернышевского, Добролюбова, Слепцова!

Алексей Филиппович приносил Анюте «Современник» и «Русское слово», а однажды дал ей номер герценовского «Колокола».

Чтение запрещенных и вольнодумных книг, разговоры со студентом произвели на Анюту сильное впечатление. Перед ней открылась новая сторона жизни: несправедливость узаконенного существования господ и тяжесть крестьянской доли. Девушка начала заниматься школой, устроенной Елизаветой Федоровной, учила детишек, разговаривала с деревенскими бабами об их делах и лечила их.

На карманные деньги, которые прежде шли на наряды, она стала выписывать книги. Среди них были «Физиология обыденной жизни», «История цивилизации» и им подобные произведения.

Анюта изучала латинский язык, труды по социальным и экономическим вопросам. На ее письменном столе Соня видела томик стихов Добролюбова, чаще всего раскрытый на странице со стихотворением «Милый друг, я умираю, оттого, что был я честен».

Сестра Елизаветы Федоровны Брюллова, гостившая в Палибине, сообщала своей дочери: «...Анюта показывается только к столу. Остальное время она проводит в своей комнате, где изучает Аристотеля и Лейбница и

заполняет целые листы выписками и рассуждениями. Никогда она ни к кому не подсаживается с рукоделием, никогда не принимает участия в прогулках. И только вечером, когда остальные сидят за карточным столом, она, погруженная в свои философские размышления, иногда большими поспешными шагами проходит через зал... При этом она любезна, умна, весьма сведуща и оживленна. Я понимаю, что окружающие — я имею в виду соседей — люди, стоящие значительно ниже ее, слепы по отношению к ее недостаткам и считают ее выдающейся личностью...»

Малевич познакомил семью Крюковских с бывшим своим учеником Михаилом Ивановичем Семевским, который, очевидно, по его совету приехал в Палибино.

Молодой поручик-литератор увлекся Анютой, удивляясь, как в деревенской глуши, за годы почти безвыездной жизни, могла взрасти и развиваться такая прекрасная девушка. «Она вся дышит возвышенными идеалами жизни, чего-чего только она не перечитала на трех-четырех языках; какое близкое знакомство с историей, какая бойкость суждений в области философии и истории, и все это проявляется в таких простых очаровательных формах; и вас не гнетет вся эта начитанность, вся эта вдумчивость в прочитанное и изученное», — говорил он о девушке.

Не осталась равнодушной к Семевскому и Анюта, лишенная общества молодых людей. М. И. Семевский искал ее руки. Девушка склонна была выйти замуж за не имеющего ни состояния, ни положения отставного поручика, но Василий Васильевич резко воспротивился этому браку. Сцены объяснений отца с дочерью, с Малевичем, с претендентом следовали одна за другой. Роман Анюты насильственно оборвался.

«Анюта скучает, — писала в дневнике мать Елизавета Федоровна, — желает чего-то неведомого, этих, ей не известных, наслаждений жизни. Я, смотря на нее, хотя не одобряю ее взгляд на жизнь, но понимаю мечтания и стремления юности».

Однажды Анюта пришла к отцу, потребовала, чтобы он отпустил ее в Петербург, в Медико-хирургическую академию, и доказывала: если он обязан жить в имении, то это не значит, что и ее следует заточить в деревне.

Отец рассердился, прикрикнул:

— Если ты не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить с родителями, пока она не выйдет замуж, спорить с глупой девчонкой я не стану!

С этого дня они не могли видеть друг друга без раздражения. В мирную семью Крюковских вошла та война, которая велась в интеллигентных семьях России: дети восставали против отцов!

За обедом, когда все сходились вместе, слышались только язвительные намеки, повторялись слухи о чудовищных «нигилистах», об эпидемии бегства девушек, одни из которых устремлялись за границу учиться, другие — в какую-то Знаменскую коммуну, где жили вместе юноши и девушки, без прислуги, собственноручно мыли полы и начищали самовары.

Особенно энергично действовала Маргарита Францевна. Она окрестила Анюту «нигилисткой» и «передовой барышней», учредила за ней полицейский надзор и старалась совершенно удалить Соню от старшей сестры. На каждую попытку своей воспитанницы убежать из классной комнаты к Анюте Маргарита Францевна смотрела как на величайшее преступление и устраивала бурные сцены. Анюта же отсылала сестренку, не желая сражаться с гувернанткой. А девочке нестерпимо хотелось узнать, чем занимается, что важное пишет старшая сестра: если Соня неожиданно появлялась в ее комнате, Анюта быстро прикрывала какие-то листки бумаги. Соня восхищалась своей сестрой, беспрекословно слушалась ее во всем, чувствовала себя польщенной всякий раз, как Анюта поделится с ней чем-либо, и была готова пойти за нее в огонь и в воду.

Разлад в семье повлиял и на покорную Соню. Она стала ссориться с гувернанткой, да так бурно, что Маргарита Францевна решила покинуть дом Крюковских. Ее не задерживали, надеясь, что авось без нее восстановится мир. Соня обрадовалась: теперь можно будет свободно встречаться с сестрой, и тут же побежала к ней.

Анюта ходила по комнате, ничего не замечая. Не заметила она и Соню.

— Анюта, мне очень скучно. Дай мне одну из твоих книжек почитать, — попросила девочка.

Анюта не ответила.

— Анюта, о чем ты думаешь?

— Ах, отстань, пожалуйста, слишком ты мала, чтобы я тебе обо всем говорила, — презрительно ответила сестра.

Со слезами на глазах повернулась Соня, чтобы уйти, но вдруг Анюта задержала ее. Ей и самой хотелось хоть кому-нибудь рассказать, что ее волнует, а говорить не с кем!

— Если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет, — сказала Анюта.

Она повела Соню в свою комнату, к старенькому бюро, в котором хранились самые заветные тайны, открыла один из ящиков и вынула конверт с красной печатью, на которой было вырезано: «Журнал „Эпоха“».

На этом конверте стоял адрес экономки, а на другом, поменьше, вложенном в него, написано: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-

Круковской».

Анюта достала из конверта письмо и дала его Соне.

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! — читала девочка. — Письмо Ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого Вами рассказа.

Признаюсь Вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам (на суждение) свои первые литературные опыты. В Вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того как я читал, страх мой рассеялся, и я все более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут Ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в Вас (в Вашем произведении), что я боюсь, не нахожусь ли я теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который Вы мне ставите: «Разовьется ли из Вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу Вам: рассказ Ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем номере моего журнала; что же касается Вашего вопроса, то посоветую Вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от Вас — есть в Вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть (попадаются) даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, Вы можете осилить (побороть), общее же впечатление самое благоприятное.

Поэтому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если Вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе: сколько Вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно это знать для правильной оценки Вашего таланта.

Преданный Вам Федор Достоевский».

Дочитав, Соня онемела от потрясения. Имя Достоевского ей было знакомо: это один из самых выдающихся русских писателей! Она смотрела на сестру и не знала, что сказать.

— Понимаешь ли ты! — заговорила Анюта, волнуясь. — Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот видишь, он находит ее хорошо и напечатает ее в своем журнале. Сбылась моя заветная мечта. Теперь я — русская писательница!

Соня бросилась к ней на шею. Ни она, ни Анюта еще никогда в жизни

не видели живого писателя, кроме малоизвестного тогда М. И. Семеvского. Василий Васильевич женщин-писательниц не терпел: когда-то он знал поэтессу графиню Ростопчину и был о ней весьма невысокого мнения.

Сестры условились домашним ничего не рассказывать. Вдвоем пережили они восторг, когда несколько недель спустя пришел номер «Эпохи» с повестью Ю. О-ва (Юрий Орбелов — псевдоним Анюты) «Сон» — о девушке, которая даром потратила молодость.

Приободренная Анюта тотчас же принялась за другую повесть — «Послушник». На этот раз героем она взяла юношу, воспитанного в монастыре, «лишнего человека». Под названием «Михаил» повесть напечатали в следующем номере «Эпохи», и Достоевский нашел ее более зрелой.

А через несколько дней произошла катастрофа. В день именин Елизаветы Федоровны отец, обратив внимание на страховое письмо, адресованное экономке, позвал ее к себе, заставил вскрыть конверт в своем присутствии и обнаружил: в письме Достоевский посылал Анюте гонорар за ее повести — триста с чем-то рублей. Его дочь получает тайком деньги от незнакомого мужчины?! Василию Васильевичу стало дурно. У него было больное сердце, камни в печени, и врачи говорили, что всякое волнение смертельно.

А дом полон гостей. Играет полковая музыка. Гости танцуют. Елизавете Федоровне и Анюте пришлось собрать все силы, чтобы скрыть от досужих соседей ужасное происшествие.

Когда гости разъехались, отец вызвал Анюту к себе и чего он только не наговорил ей! Одна фраза ей особенно запомнилась: «От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать от него деньги, можно всего ожидать. Теперь ты продаешь свои повести, а придет, пожалуй, время, и себя будешь продавать!»

Слуги, подслушав, все исказили. Новость разнеслась по округе. Соседи толковали об «ужасном поступке палибинской барышни».

Однако и эта буря, как всякие бури, понемногу улеглась. Сначала заинтересовалась повестью Елизавета Федоровна. Повесть ей понравилась. Было даже приятно сознавать, что Анюта — писательница, хотя незадолго перед этим, когда Василий Васильевич потребовал, чтобы дочь дала ему слово больше не писать, а она отказывалась дать такое обещание, Елизавета Федоровна умоляла ее уступить и приводила в пример себя. Ей в юности хотелось играть на скрипке, но отец находил это неграциозным, и она от своего желания отступила...

Василий Васильевич не разговаривал с Анютой, Елизавета Федоровна ходила от одного к другой, увещевала, умоляла.

Первым сдался отец. Он согласился послушать Анютину повесть. Чтение было весьма торжественно. За столом собралась вся семья. Анюта читала голосом, дрожавшим от волнения. Отец слушал, не проронив ни слова. А когда Анюта дошла до последних страниц и, едва сдерживая рыдания, стала читать, как героиня, умирая, сокрушалась о загубленной юности, на глазах у Василия Васильевича появились слезы. Он встал и молча вышел из комнаты.

Ни в тот вечер, ни потом не говорил он с Анютой о ее произведении. Он только обращался с ней удивительно мягко и нежно и разрешил, показывая письма, переписываться с Достоевским, а при поездке в Петербург обещал даже познакомиться с ним. Анюта победила!

ДОСТОЕВСКИЙ

В январе 1865 года по последнему зимнему пути Елизавета Федоровна с Анютой и Соней поехали гостить в Петербург. Перед отъездом на кухне стряпали множество вкусных вещей, которых хватило бы для целой экспедиции, собирали крытый возок с шестеркой лошадей и сани для горничных и поклажи. Настроение у девушек было приподнятое; они стали друзьями и ехали туда, где так много нового, яркого, необычного!

В Петербурге Анюта написала Достоевскому и пригласила его. Федор Михайлович пришел в тот же день. Визит его не был удачным. Василий Васильевич не доверял литераторам. Хотя он и разрешил Анюте познакомиться с Достоевским, но жену предупредил, чтобы она не спускала с дочери глаз. И Елизавета Федоровна не оставляла их вдвоем. Если ей нужно было выйти, старые тетушки-немки под каким-нибудь предлогом появлялись в комнате, а затем и вовсе уселись на диване и просидели до конца визита.

Анюта злилась, что свидание получилось не таким, как она его представляла. Достоевский конфузился и тоже злился. Елизавета Федоровна тщетно пыталась завязать разговор, улыбаясь Достоевскому самым милым образом. Но так как Достоевский отвечал односложно и намеренно грубо, то и она замолчала.

Через полчаса Федор Михайлович, неловко раскланявшись, не пожав никому руки, ушел, Анюта убежала к себе в комнату и расплакалась.

Через пять дней Достоевский пришел опять. В доме никого не было, кроме Анюты и Сони. Федор Михайлович взял Анюту за руку, усадил ее рядом с собой на диван, и они заговорили, как два старых приятеля, перебивая друг друга, смеясь. Соня сидела возле них и не сводила глаз с писателя. Все в нем было ей интересно. И этот интерес отражался на ее подвижном личике, горел в ее удивительных глазах.

— Какая же у вас славная сестренка, — неожиданно сказал Достоевский.

Соня покраснела, а Анюта стала рассказывать Достоевскому, какая умная девочка ее младшая сестра. Она не скрыла даже того, что Соня пишет стихи, и принесла тетрадь с ее поэтическими сокровищами.

Три часа пролетели незаметно. В передней раздался звонок. Вернулась мать. Увидев, что страшный писатель сидит с ее дочками без свидетелей, она перепугалась. Но дочки бросились ее целовать, она смягчилась и даже

пригласила Достоевского пообедать с ними. Так началась дружба писателя с семьей Крюковских.

Федор Михайлович приходил три-четыре раза в неделю и, если не было посторонних, держал себя просто, рассказывал разные истории из своей жизни.

С замирающим сердцем слушала Соня, как описывал он минуты перед казнью, прежде чем пришла весть о помиловании, и преклонялась перед ним не столько за его гениальность, сколько за перенесенные страдания.

Она все время думала о нем. Оставаясь одна, повторяла все, что им было сказано во время последней встречи, старалась понять и развить каждую случайно высказанную им мысль. Часами могла она сидеть и представлять себя в тюрьме вместе с Достоевским, дополняя в своем воображении многие эпизоды из его личной жизни, которых он лишь мимоходом касался, и переживая их.

Незадолго до отъезда Елизавета Федоровна задумала созвать своих старых друзей для прощального ужина. Общество собралось большое и пестрое. В числе гостей были жена и дочь министра Милютина, важный сановник-немец, какие-то разорившиеся дотла остзейские помещики, несколько почтенных вдов и старых дев, несколько академиков — приятелей дедушки Шуберта.

Достоевский пришел в дурно сидевшем фраке и начал злиться, с первой же минуты, как только перешагнул порог гостиной. Елизавета Федоровна торопилась познакомить его со всеми своими друзьями, а он, что-то пробормотав, поворачивался к ним спиной. Но ужаснее всего было то, что он, схватив за руку Анюту, увел ее в угол, видимо намереваясь не выпускать ее оттуда весь вечер. Это шло вразрез с приличиями. Анюте было неловко. Мать выходила из себя и при всей своей кротости вынуждена была резко сказать Достоевскому: «Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей».

Больше всего злился Достоевский на кузена барышень Крюковских — молодого офицера-гвардейца Андрея Ивановича Косича, красивого, умного, образованного, который на правах родственника ухаживал за Анютой — в меру, но так, что было ясно: он имеет на нее виды.

Воображение Достоевского нарисовало драматическую картину: родители хотят выдать Анюту замуж за этого красавца против ее воли! Он вознегодовал, наговорил грубостей насчет матушек, которые только о том и думают, как бы выгоднее пристроить дочь.

Впечатление было ошеломляющее. С минуту все молчали, а затем торопливо заговорили, чтобы замять неловкость. Достоевский забился в

угол и не сказал больше ни слова.

С этого неудачного вечера Анюта изменила свое отношение к Достоевскому, Он перестал ей импонировать. У нее появилось желание дразнить, противоречить ему. Между ними происходили не очень приятные пикировки, и которых последнее слово оставалось за Анютой.

Чаще всего спорили о нигилизме. Достоевский говорил, что теперешняя молодежь глупа и неразвита, что для нее смазные сапоги дороже Пушкина. А Анюта, зная, что ничем нельзя так взбесить Достоевского, как неуважением к Пушкину, спокойно роняла: «Да, Пушкин действительно устарел для нашего времени».

Чем больше портились отношения между Анютой и Федором Михайловичем, тем больше возрастало Сонино чувство к нему. Она совершенно подпала под его влияние, не скрывала своего восхищения им. Достоевский же, заметив пылкое поклонение девочки, часто ставил ее в пример Анюте:

— У вас дрянная, ничтожная душонка, — говорил он. — То ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! У нее чуткая душа.

От восторга Соня готова была дать разрезать себя на части. Ей было немножко стыдно, что она радуется размолвкам между Достоевским и сестрой, но ревность заглушала укоры совести. Она верила, что более достойна Федора Михайловича. А когда однажды он похвалил ее внешность, сказав Анюте: «Ведь сестрица ваша со временем будет куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее и глаза цыганские», — Соне захотелось знать, что думает об этом Анюта. Вечером в спальне, когда сестра расчесывала волосы, заплетая их на ночь в косу, девочка сказала как можно равнодушнее:

— Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович!

— А что такое? — рассеянно отозвалась Анюта.

— А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой, — покраснев, ответила Соня.

Лукаво глядя на сестренку, Анюта спросила:

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня?

— Бывают разные вкусы, — кинула Соня сердито.

— Да, бывают странные вкусы, — заметила Анюта и замолчала.

Соня же продолжала размышлять: может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что она ему нравится больше сестры, и мысленно молилась:

«Господи боже мой, пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой. Сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой

хорошенькой!»

Однако через несколько дней жизнь нанесла ей первый удар.

Достоевский любил музыку. Соня же училась играть на фортепьяно без особого пристрастия. Но, играя с пятилетнего возраста, к пятнадцати годам она приобрела беглость, приличное туше. В начале знакомства она сыграла Достоевскому вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович был в чувствительном настроении и очень похвалил ее. Соня попросила мать взять хорошую учительницу, за три месяца сделала большие успехи и приготовила Достоевскому сюрприз: разучила для него Патетическую сонату Бетховена.

Дней за пять-шесть до отъезда в Палибино мать и тетушки уехали на обед к шведскому посланнику. Соня и Анюта остались одни дома. Пришел Достоевский — ласковый, мягкий. Соня села за рояль и начала играть. Боясь сфальшивить, она следила только за нотами и ничего не замечала, что вокруг нее творится. Когда она окончила играть и откинулась на стуле, ожидая похвалы, с приятным сознанием, что играла хорошо, вдруг почувствовала необыкновенную тишину. Оглянулась — в комнате никого нет.

Сердце сжалось, предчувствие чего-то недоброго охватило ее. Она побежала в соседнюю комнату — тоже никого. Приподняв портьеру, посмотрела в маленькую гостиную: там сидели Федор Михайлович и Анюта рядом на маленьком диванчике. Тень от абажура падала на сестру. Освещенное лампой лицо Достоевского было бледно и взволнованно. Он держал руку Анюты в своей и, наклонившись, говорил страстным шепотом:

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел, да и раньше, по письмам, уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У Сони помутилось в глазах. Чувство горького одиночества, обиды, боли охватило ее. Она опустила портьеру и побежала в свою комнату. «Все кончено», — говорила она с отчаянием. И хотя не могла бы дать себе отчет, что же именно было кончено, она бросилась полураздетая на постель и плакала, негодуя, почему не приходит Анюта утешить свою несчастную сестру. Значит, Анюте нет до нее дела, даже если бы она умерла? И ей захотелось умереть, стало невообразимо жалко себя. Побегать в гостиную и наговорить дерзостей? Но в темноте она не могла найти разбросанную одежду и опять принялась рыдать.

Первые слезы, когда человек еще не привык к страданию, утомляют

скоро: отчаяние сменилось оцепенением. Вскоре в комнату вошла Анюта. Соня отвернулась к стене. Анюта пробовала с ней заговорить, сестренка не отвечала.

В эту ночь девочке снился прекрасный сон, как всегда в ее жизни: когда бы ни обрушивалось на нее большое горе, она видела хорошие сны, словно для того, чтобы еще тяжелее была минута пробуждения.

Весь следующий день она ждала: что будет? Сестру ни о чем не спрашивала. Анюта хотела было приласкаться, Соня грубо ее оттолкнула.

Достоевский к обеду не пришел; вечером они уехали на концерт. И только ночью девочка, истомившись, спросила Анюту: «Когда же придет к тебе Федор Михайлович?»

Мягким, добрым голосом Анюта ответила:

— Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, изволишь дуться.

В порыве раскаяния Соня подумала: «Ну как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая!» Она забралась к Анюте на кровать, прижалась к ней и заплакала. Анюта гладила ее по голове, а потом засмеялась:

— Ведь выдумала же влюбиться! И в кого? В человека, который в три с половиной раза ее старше!

От этих слов у Сони вспыхнула надежда.

— Вот видишь ли, — медленно подыскивая слова, продолжала Анюта. — Я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю. Он добрый, умный, гениальный. Ну, как бы тебе это объяснить: я люблю его не так, как он. Ну, словом, я не так его люблю, чтобы пойти за него замуж.

Соня бросилась целовать сестру, а Анюта продолжала:

— Я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить. Он такой хороший. Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить!

Жена Достоевского, Анна Григорьевна, писала потом: «Когда лет пять спустя после свадьбы я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренно полюбили друг друга. Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми; но не менее справедливо было и его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливы вместе. В Анне Васильевне не было той уступчивости, которая необходима в каждом добром супружестве, особенно в браке с таким

больным и раздражительным человеком, каким часто, вследствие своей болезни, бывал Федор Михайлович. К тому же она тогда слишком интересовалась борьбой политических партий, чтобы уделять много внимания семье...»

Мир снизошел в душу Сони. Федор Михайлович пришел еще раз проститься, сидел недолго, был прост с Анютой, а Соню даже поцеловал. Горе ее забылось. Дорога удалила последние следы пронесшейся бури.

...В Палибино Крюковские уезжали в апреле. В Петербурге была еще зима, а в Витебске ручьи и реки выступили из берегов; снег таял.

Поздним вечером проезжали они через бор. Ни Соня, ни Анюта не спали. Они сидели молча, вдыхая весенние пряные запахи, а сердца их щемило томительное ожидание.

В бору было темно, глухо. Вдруг при выезде на поляну из-за леса показалась луна и облила все ярким светом. Девушек охватило чувство беспредельной радости. Жизнь влекла их, манила, таинственная и прекрасная, полная щедрых обещаний.

Сестры порывисто обнялись и почувствовали, как близки друг другу. Детство Сони кончилось...

ФИКТИВНЫЙ БРАК

*Священный союз заключили
Горячие наши сердца —
И тесно друг с другом сомкнулись.
Чтобы биться вдвоем до конца!*

М. И. Михайлов

ЗРЕЕТ РЕШЕНИЕ

На следующий год Василий Васильевич отпустил Елизавету Федоровну с Анютой и Соней за границу. Он решил, что девушку надо полечить и рассеять в новой обстановке. Но не столько здоровье Анюты расшаталось, сколько пугали отношения ее с Достоевским, с которым она продолжала переписываться, а писатель напрашивался даже на визит в Палибино.

По дороге в Швейцарию Крюковские заехали в Штутгарт к сестре Елизаветы Федоровны — Аделунг — и провели в ее имении несколько дней. Соня выглядела пробудившейся юной девушкой, носила длинные, с волочащимся по полу шлейфом платья.

Своих немецких родственников сестры поражали не только красотой. Анюта отличалась необыкновенным красноречием, страстным и убедительным. Ее занимали политические вопросы и социальные идеи. Она критиковала мир, плохо задуманный и плохо созданный богом, и намеревалась исправить ошибки творца.

Если в ее присутствии произносили слово «жандарм», она приходила в негодование, и с ней долго нельзя было ни о чем разговаривать. Она могла часами молчать, погруженная в свои мысли, но едва охватывал ее огонь вдохновения, она говорила с величайшим воодушевлением; часто повторяла довольно пессимистические слова, распространенные тогда среди молодежи: «...Tout casse, tout lasse, tout passe»^[4].

Вечерами она садилась за рояль, пела теплым меццо-сопрано русские песни, любила «Казачью колыбельную», часто декламировала стихи шотландского поэта Роберта Николль «Все люди — братья»:

О, как бы он счастлив был, свет этот старый —
Да люди друг друга понять не хотят.
К соседу сосед не придет и не скажет:
«Ведь люди все — братья! дай руку мне, брат!»

Зачем мы разлад и вражду не покинем,
Зачем не составим одну мы семью!
Один бы другому сказать мог с любовью:
«Приди! Мы все — братья! дай руку свою!»

Богат ты и носишь нарядное платье;
Я — беден, на мне кафтанишко худой;
Но честное сердце в груди у обоих —
Так дай же мне руку, мы — братья с тобой!»

Внешне Соня казалась полной противоположностью Анюты. Ее круглое лицо с прелестной ямочкой на подбородке матово светилось, живые глаза вопрошающе смотрели на всех и на все; движения ее были порывисты; речь быстрая, слова перегоняли друг друга. При незнакомых людях она держалась робко и застенчиво, предпочитала темные углы; если же оказывалась в центре внимания, сразу привлекала к себе всех. Девушка свято верила политическим идеалам сестры и готова была идти за Анютой куда угодно.

Во время пребывания Крюковских в Швейцарии там происходили 1 и 2 Конгрессы Интернационала и 1 Конгресс Лиги мира и свободы. Выступления признанных вождей разных революционных групп печатались и обсуждались в газетах и давали сестрам обильную пищу для размышлений и о своей судьбе и о судьбе их поколения.

Соня считала, что для развития писательского таланта Анюте следовало бы походить по России пешком, как ходят богомольцы, например. Какие богатые впечатления могла бы получить она! Но разве отец позволит отправиться в такое путешествие?! Сама же Соня стремилась к науке, хотя и не решила еще, будет ли это увлекшая ее математика или нужная народу медицина.

Первую медицинскую практику она получила в деревне, где каждый день к ней приходило до десятка человек за лекарствами. Она читала лечебник, злилась, что еще не доктор: как ни прельщала наука, ей все же казалось, что со временем у нее разовьется страсть лечить...

В Вернэ-Монтре Соня всю зиму прилежно изучала ботанику, физиологию, купила себе маленький микроскоп и рассматривала клетки растений, кровяные шарики и т. п.

Весной 1868 года Крюковские вернулись в Россию и погостили недолго в Петербурге.

Идеи новой, свободной жизни, новой России, провозглашенные Чернышевским, Добролюбовым и их последователями — лучшей частью мыслящей молодежи, распространялись все шире. Даже в петербургских великосветских гостиных молодежь непостижимо верно отличала единомышленников. Им достаточно было намека, взгляда, жеста, чтобы

понять друг друга, узнать, что они среди своих.

— И когда мы убеждались в этом, — говорила Софья Васильевна, — какое большое, тайное, непонятное для других счастье доставляло нам сознание, что вблизи нас находится этот молодой человек или молодая девушка, с которыми мы, быть может, раньше и не встречались, но которые, мы знали, воодушевлены теми же идеями, теми же надеждами, тою же готовностью жертвовать собой для достижения известной цели, как и мы сами!

Главной целью женщин была борьба за право посещать университет, изучать те науки, которые изучали мужчины, работать в тех же областях, какие были открыты мужчинам. И если Анюта жадно поглощала труды по философии и политической экономии, Соня больше верила в преобразующую силу точных наук. Но кем бы ни суждено было стать сестрам в их жизни — писательницей ли, как Анюта, математиком, как Соня, — все равно нужно учиться! А для этого необходимо стать независимыми, вырваться во что бы то ни стало из-под надзора родителей!

В свои короткие приезды в Петербург сестры Крюковские познакомились со многими поборницами женского просвещения.

Они узнали о тех препятствиях, какие воздвигало на пути женщин правительство.

В 1863 году при Мариинской женской гимназии были открыты педагогические курсы с отделениями — естественно-математическим и словесным. Преподавателями на курсах были профессора высших учебных заведений Петербурга: Э. К. Брандт из Медико-хирургической академии, Ф. Ф. Петрушевский — из Артиллерийской, Н. Н. Тыртов — из Морского корпуса. Они не ограничивались лекциями, но вели и лабораторные занятия, ставили опыты. В обществе с недоверием смотрели на «странную затею» — создать высшее учебное заведение для женщин, призванных быть женами и матерями.

Преподавание анатомии и физиологии вызвало обвинение в пропаганде нигилизма и безнравственности. На специальной конференции разбирался вопрос: какие статьи из зоологии и анатомии должно обойти, дабы не оскорбить девичью стыдливость. Принц Петр Ольденбургский, председатель Главного совета женских учебных заведений, в разосланном по гимназиям секретном циркуляре указывал: «Вследствие появившихся в новейшее время заграничных сочинений, в которых видно ясное стремление к материализму, внимание всех начальствующих лиц должно быть обращено на то, чтобы естественные науки преподавались не иначе, как с всегдашним указанием на премудрость божью как единственный

источник блага». А в своей речи, обращенной к выпускницам педагогических курсов, советовал «не вдаваться в лжеучение материализма и нигилизма».

В 1865 году распространились слухи о закрытии педагогических курсов, слушательниц которых правительство считало вредными для общества. Желая сохранить курсы, организаторы вовсе изъяли из программы физиологию и анатомию.

И Соня и Анюта узнали первых женщин, начавших посещать лекции в университете: М. Богданову, сестер Корсини, с одной из них — Натальей Иеронимовной — Анюта сдружилась. Они слышали о «счастливнице» Варваре Алексеевне Кашеваровой, единственной, получившей позволение слушать лекции в Медико-хирургической академии на равных правах с мужчинами — лишь потому, что она должна была стать акушеркой в Башкирии, где мусульманский закон запрещал женщинам обращаться за медицинской помощью к врачу-мужчине. На экзамене, который Кашеварова сдала с отличием, она объявила, что убедилась в невозможности изучать одну какую-нибудь отрасль медицины, не зная всей науки, и просила позволить ей учиться в академии. Разрешение ей было дано. Ходили на лекции и другие желающие, но после студенческих волнений это право отняли, и многие девушки уехали учиться в Цюрих.

Некоторым приходилось для этого вступать в фиктивный брак: по закону замужняя женщина получала от мужа отдельный вид на жительство и больше не зависела от родителей. Сразу же после венца фиктивные супруги расставались. И хотя они не имели права потом, полюбив кого-либо другого, выйти замуж или жениться, эта жертва их не останавливала. Личное счастье казалось чем-то второстепенным, главным в жизни было «дело»: юноша, дав свое имя девушке, помогал ей завершить образование, а затем служить родине, участвовать в освободительной борьбе с самодержавием. Так поступила землячка Крюковских — девятнадцатилетняя Елизавета Лукинична Кушелева.

Ей дал свое имя полковник Томановский. Елизавета Лукинична уехала в Швейцарию, связалась с революционерами-эмигрантами и приняла живое участие в основании русской секции Интернационала. Она проявила такие недюжинные организаторские способности, что на нее пал выбор, когда надо было передать К. Марксу программное письмо членов секции. Встреча состоялась, и вскоре Елизавета Томановская, принявшая псевдоним Дмитриева, стала другом семьи Маркса и одним из верных его последователей.

Так добывала себе свободу и Мария Александровна Обручева, дочь

генерала, сестра одного из преданнейших сподвижников Чернышевского — Владимира Обручева. Она обвенчалась с близким Чернышевскому врачом Петром Ивановичем Боковым. Полюбив затем своего учителя, великого русского физиолога Сеченова, долго переносила тяжесть положения «гражданской жены».

Мария Александровна Бокова училась медицине в Цюрихе вместе с другой замечательной женщиной, Надеждой Прокофьевной Сусловой — дочерью крестьянина-самоучки, управляющего имением графа Шереметева. С ней Бокова встретилась в Медико-хирургической академии, а после удаления женщин оттуда они вместе уехали за границу.

Анюте очень нравилась ее сверстница Надежда Прокофьевна. Небольшая, крепкого сложения, со смуглым, бледным, монгольского типа лицом, коротко подстриженными волосами, она казалась на первый взгляд почти дурнушкой, деревенским парнишкой, но все ее существо дышало такой энергией, серые живые глаза смотрели так прямо и смело из-под черных сросшихся на переносице бровей, что нельзя было не поддаться неотразимому очарованию девушки, не счесть ее красавицей. Во всяком случае, пройти мимо нее было невозможно: каждый, кто узнавал Сулову, полагал, что она способна на великие дела. Надежда Прокофьевна знала Чернышевского до его ареста, восторженно разделяла его свободолюбивые идеи, участвовала в деятельности радикальных кружков и после ареста вождя революционных демократов была «удостоена» в свои двадцать два года надзора полиции «за открытое сочувствие нигилизму и за сношение с неблагонадежными лицами». Успешные занятия Сусловой в Швейцарском университете побудили многих женщин последовать ее примеру.

Анюте удалось познакомиться и с Сусловой и с Боковой. Разговор с ними окончательно убедил ее в том, что иного выхода, кроме фиктивного брака, нет. Неважно, кто заключит такой союз — она или ее подруга Анна Михайловна (Жанна) Евреинова, тоже мечтавшая о высшем образовании. Родители разрешат дочери отправиться за границу с замужней подругой! Даже маленькая Соня, эта тень сестры своей, тоже сможет поехать с ними.

Жанна Евреинова, дочь инженер-генерал-лейтенанта, коменданта Петергофского дворца, пользовалась еще меньшей свободой, чем сестры Крюковские. Она с трудом доставала книги по естествознанию и праву, новые журналы, в которых революционные публицисты, несмотря на тиски цензуры, говорили с читателем о самых насущных вопросах общественной жизни. Ей были невыносимы выезды, балы, наряды. Она хотела учиться, но отец пообещал отпустить ее за границу через три года, очевидно надеясь, что за это время «блажь» пройдет. Жанне удалось получить его

разрешение на занятия немецким языком, принятым при дворе, и уговорить учителя заменить немецкий древними языками.

Нередко приходилось ей после бала при тусклом огоньке свечи твердить греческие и латинские тексты, дрожа от страха перед родителями. И все же никакие запреты не могли заставить девушку отказаться от своих мечтаний.

Подруги усвоили передовые для них идеи и уверовали, что «только научно-экономическим путем возможно достичь переворота к лучшему» и «неопровержимая аксиома политической экономии — это что единственный регулятор в определении богатства — труд, который находится в рабской зависимости от капитала», что «честные научные люди поняли — первая забота их должна заключаться в освобождении труда, так как иначе регулируется он неверно», как объясняла Жанна Евреинова кузине Ю. Лермонтовой свое влечение к экономическим вопросам.

Девушки даже изучили стенографию, чтобы сократить затраты времени при занятиях. Читать приходилось много.

Большое впечатление произвела на них наделавшая шуму статья Петра Никитича Ткачева, человека известного среди передовой интеллигенции. Под видом рецензии на романы Шпильгагена, Жорж Санд, Джордж Элиот и Андре Лео, в которых эти писатели затрагивали вопросы современной жизни, показывали человека не только таким, какой он есть, но и каким он должен быть в представлении мыслящего человечества, Ткачев говорил о «людях будущего и героях мещанства».

С глубоким уважением отзывался он о женщине и ее месте в борьбе за новую жизнь.

Жанна Евреинова откликнулась на статью восторженным письмом Ткачеву. Она тайком познакомилась с ним и сообщила своей двоюродной сестре Юлии Лермонтовой, что «личность эта далеко не обыкновенная, но хорошая и глубоко сочувствующая женскому делу», что он «крайний радикал» и что они сходятся во многом, касающемся дела. У Ткачева, к которому она заходила всякий раз, как бывала у сестер Крюковских, Жанна встречалась с людьми, готовыми оказать рвущимся к образованию девушкам услугу — заключить фиктивный брак. Но «жених» должен был отвечать тем требованиям, которые предъявляли родители — обладать положением, быть непременно дворянином, а кружок Ткачева состоял главным образом из необеспеченной молодежи.

Анюта и Жанна остановили свой выбор на одном профессоре университета. Они были едва знакомы с этим ученым, но знали его как

человека честного, преданного «общему делу».

Однажды подруги в сопровождении Сони отправились к нему на квартиру. Профессор не скрыл своего удивления, увидев перед собой трех девушек. Тогда Анюта очень серьезно и деловито спросила, не желает ли профессор доставить им свободу, женившись фиктивно на одной из них, так как они намерены поехать в Швейцарию или Германию учиться?

Столь же серьезно, по-деловому профессор ответил, что не имеет ни малейшего желания.

Девушки, нисколько не обидевшись, удалились. Пятнадцать лет спустя Софья Васильевна, находясь в расцвете своей славы, встретила с профессором в Петербурге, и они оба со смехом вспоминали этот случай.

А в ту пору, когда одна из подруг Анюты, дочь военного министра Лиза Милютина, позволила себе выйти замуж по любви, до чего же презирали и жалели ее сестры Крюковские, как негодовала Соня на такую черную измену идеалам! И новобрачная стыдилась своего столь «неблаговидного» поступка, не осмеливаясь как-либо показать, что она счастлива. Таково было время, таковы были убеждения...

Поиски женихов продолжались долго. Среди молодых людей, желавших помочь девушкам, находились такие, как попович Иван Рождественский, бедный студент, не имевший даже приличного костюма. Он явился к генералу Крюковскому просить руки его старшей дочери во взятом напрокат потертом фраке!

Василий Васильевич, пряча усмешку, спросил, а на какие средства он собирается содержать свою жену? Студент без заминки ответил, что он «занимается свободной педагогией». Ответ рассмешил генерала. Едва владея собой, он постарался деликатно отказать претенденту, ссылаясь на то, что дочь его якобы еще очень молода.

Девушки пришли в отчаяние, не зная, как быть. Неожиданно помогли Мария Александровна Бокова и Надежда Прокофьевна Суслова. Они познакомили Анюту со своим приятелем Владимиром Онуфриевичем Ковалевским.

ВЛАДИМИР ОНУФРИЕВИЧ

Анюта и Жанна встретились с Ковалевским в одной из церквей Васильевского острова, куда только и могли ходить без старших. Подруги рассказали Владимиру Онуфриевичу, чем хотят заниматься: Жанну привлекают юридические науки, Анюту, как писательницу, — политическая экономия, основа социальных наук. Анюта захватила с собой даже два номера журнала, в которых были напечатаны ее повести, и просила Ковалевского прочесть их и сообщить свое мнение.

Девушки произвели на Ковалевского хорошее впечатление. Он с готовностью заявил им, что согласен стать мужем любой из них. Решили попытать счастья с Анютой. Жених происходил из дворян Витебской губернии, почти сосед по имению; для генерала Крюковского он более приемлемая «партия», чем для коменданта Петергофского дворца Евреинова, связанного с придворными кругами и мечтавшего о более родовитом муже для Жанны. Надо было только подыскать таких общих знакомых, в доме которых произошло бы официальное знакомство Анюты с Ковалевским, после которого возможно представить Владимира Онуфриевича родителям.

А это-то и оказалось самой трудной задачей. У генерала Крюковского и вольнодумца Ковалевского не находилось общих друзей, времени на поиски не доставало: в Петербург девушки приезжали нечасто и ненадолго.

Озабоченные подруги изредка встречались с Владимиром Онуфриевичем в условленных местах. На одно из таких свиданий Анюта пришла с Соней, которая знала о переговорах, но еще ни разу не видела «жениха».

Она с любопытством смотрела широко раскрытыми глазами на невысокого, тщедушного молодого человека. Его бледное лицо с мясистым носом, рыжеватыми усами и светлым пухом на подбородке несколько ей не понравилось. Не очень привлекательной казалась и его суетливость и какая-то чрезмерная услужливость. Но она с интересом вслушивалась в его разговор с сестрой. Ковалевский сказал Анюте о своем впечатлении от ее повести «Михаил»:

— Я нашел у вас признаки писательского таланта и очень хотел бы дать оттиск повести Марии Александровне Боковой. У нее чрезвычайно тонкое чутье на подобные произведения... Вы должны непременно писать, — продолжал он. — Но нужно приняться серьезно изучать иностранные

литературы и сочинения критиков. Особенно английских. Только такой серьезный труд делает человека истинным беллетристом. Все великие таланты не изливали своих произведений вдруг, как бы по вдохновению, но много работали над ними.

— Да ведь это нужно всегда, во всяком деле, если хочешь добиться чего-нибудь хорошего, — не удержалась Соня и заговорила о математике и естествознании. Глаза ее загорелись. Смуглое лицо порозовело.

Владимир Онуфриевич с трудом отводил от нее взгляд.

На следующем свидании он заявил Жанне и Анюте, что он, конечно, готов вступить в брак, но только... с Софьей Васильевной.

Это было как гром в ясном небе: младшую Крюковскую, несмотря на ее семнадцать лет, никто не принимал в расчет, считая ребенком, «воробышком». Соня меркла рядом со своей блестящей сестрой. Она сама безмерно восхищалась Анютой, находила ее недостижимой по красоте, уму, таланту. И вдруг такая неожиданность! Главное же, из-за этого предстояла борьба с отцом: вряд ли он согласится выдать замуж юную Соню прежде двадцатичетырехлетней Анюты.

Но Владимир Онуфриевич упорствовал:

— Как угодно. Я женюсь только на Софье Васильевне.

— Уговорить папу берусь я сама, — решительно вмешалась Соня.

И с этого дня произошло чудо: Соня стала открывать в Ковалевском множество достоинств. То она нашла, что у него приятная улыбка; то ей понравились его глаза, потом полюбились даже потешные морщинки на носу, возникавшие при смехе. Могла ли она остаться равнодушной, если Ковалевский — такая выдающаяся личность, какой Соня до сих пор не встречала, — отличил ее!

Владимир Онуфриевич поразил воображение молодой палибинской барышни. Жизнь его была увлекательнее любого романа.

Белорусский дворянин, Ковалевский родился в августе 1842 года в имении Шустянка, бывшей Витебской губернии. Лет девяти-десяти его отдали в известный петербургский пансион В. Ф. Мегина, где было отлично поставлено изучение иностранных языков. И затем Ковалевского приняли в аристократическое Училище правоведения.

Его брат, Александр, учился тогда в Петербургском корпусе инженеров путей сообщения, а затем на естественном отделении физико-математического факультета в университете. Владимир Онуфриевич подолгу жил у брата, к которому приходило много студентов-естественников, людей передовых, радикально настроенных. Он проявлял к их беседам больше интереса, чем к занятиям в училище.

Вскоре отец не смог поддерживать его материально, и Владимир Онуфриевич в пятнадцать лет сам выхлопотал себе стипендию, а в шестнадцать стал зарабатывать деньги переводами иностранных романов для книготорговцев Гостиного двора. Он поражал всех своей памятью, способностями и необычайной склонностью «участвовать во всяком движении».

Окончив Училище правоведения и получив должность в Департаменте Герольдии Правительствующего сената, Владимир Онуфриевич не захотел служить. Он взял отпуск, уехал в Гейдельберг, где в это время находился его брат Александр вместе с Менделеевым, Сеченовым, С. Боткиным. Бородиным, вскоре прославившими русскую науку.

Ковалевский занялся было юриспруденцией, потом уехал на год в Тюбинген, оттуда — в Париж, в Ниццу, в Лондон. В Лондоне он познакомился с Герценом, около года давал уроки его дочери Ольге, общался с известными русскими эмигрантами.

Во время польского восстания 1863 года по письму своего товарища студента Медико-хирургической академии Павла Ивановича Якоби прибыл во Львов. Якоби послали в Польшу для оказания медицинской помощи имперским войскам, но он присоединился к повстанцам, был ранен, и Ковалевский тайно переправил его за границу, а сам вернулся в Россию.

Служить чиновником Ковалевский не желал и занялся в Петербурге издательской деятельностью.

Он переводил и печатал книги, в которых нуждались передовые люди России: «Гистологию» А. Келликера, «Геологические очерки» Л. Агассиса, «Геологические доказательства древности человека» Чарлза Ляйэлла, классический труд Чарлза Дарвина «Изменения животных и растений вследствие приручений» (раньше чем он был опубликован в Англии), «Жизнь животных» А. Брэма (под редакцией В. Зайцева, А. Путяты и В. Ковалевского), «Начальные основания сравнительной анатомии» Т. Гексли (под редакцией И. М. Сеченова), «Зоологические очерки» К. Фохта и многие другие научные и научно-популярные работы крупнейших прогрессивных ученых Запада.

Огромное впечатление в обществе произвело издание им романа Герцена «Кто виноват?». Хотя книга вышла без фамилии автора, ее узнали. А в ту пору даже простой визит к прославленному писателю-эмигранту царское правительство считало государственным преступлением!

Ковалевский был знаком со многими революционерами, чья жизнь для юной Сони представлялась золотой легендой. Он встречался с другом Чернышевского поэтом Михаилом Илларионовичем Михайловым, которого

называли основоположником женского вопроса.

Был в дружбе Ковалевский и с писательницей Людмилой Петровной Шелгуновой — сестрой Евгения Михаэлиса — видного шестидесятника, к которому с нежным вниманием относился Чернышевский. Другая сестра Михаэлиса, Мария Петровна, после гражданской казни Чернышевского бросила ему в карету букет цветов, была арестована за это и выслана из Петербурга в имение родителей. Ковалевский считался близким человеком в доме Михаэлиса, влюбился в Марию Петровну и в сентября 1865 года сделался ее женихом. Свадьба расстроилась странным образом: часа за два до венчания жених и невеста завели какой-то разговор, потом пришли к матери и объявили, что свадьбы не будет. Ни Ковалевский, ни Михаэлис никогда не открыли причину этого разрыва, хотя и говорили, что любят друг друга.

Через два года Мария Петровна вышла замуж за революционера-пропагандиста Н. Н. Богдановича, подвергалась неоднократным арестам, была заключена в Петропавловскую крепость и после освобождения долго состояла под надзором полиции. Изредка она встречалась с Ковалевским.

Издательские дела связали Ковалевского с выдающейся личностью — Николаем Александровичем Серно-Соловьевичем, другом и сподвижником Чернышевского. Это был человек, воодушевленный благородным стремлением бороться за свободу и просвещение народа. Серно-Соловьевич объездил крупнейшие страны Европы, понял, что на государственной службе он не сможет служить народу, и занялся частной деятельностью.

Обладая средствами, Николай Серно-Соловьевич вместе с братом Александром открыл на Невском проспекте, 24, в доме Петропавловской церкви, книжный магазин. В этом магазине можно было приобрести все издания, имевшие научное или общественное значение. Он снабжал провинциальных читателей книгами, среди которых нередко попадались и нелегальные.

Помощниками Серно-Соловьевича были лицеист А. А. Черкесов и помещик В. Я. Евдокимов, а в московском отделении — П. И. Успенский, образованные, говорившие на многих европейских языках люди.

В роли приказчиков выступали: писательница, переводчица Анна Николаевна Энгельгардт, жена профессора Артиллерийского училища, автора знаменитых «Писем из деревни», лицеист А. Рихтер и двоюродный брат Чернышевского Сергей Николаевич Пыпин. Часть денег на приобретение «товара» давали Александр Николаевич Пыпин, будущий академик, и писатель-шестидесятник Василий Александрович Слепцов.

За связь с Герценом Серно-Соловьевича в 1862 году арестовали и предали гражданской казни на Мытном рынке. Магазины его перешли к Черкесову и Евдокимову, и через них Владимир Онуфриевич сбывал свои издания.

У Сони Крюковской кружилась голова от обилия имен самых славных людей, о которых говорил Владимир Онуфриевич с присущим ему красноречием. Он знал их, он участвовал в поразительных событиях!

Да одна его поездка в армию Гарибальди, о военных действиях которой он писал в «Санкт-Петербургских ведомостях», чего стоила! Он был в главной квартире Гарибальди! Имел пропуск, с которым мог ходить между линиями даже во время драки, конечно, с риском быть подстреленным с той или другой стороны как шпион!

А как захватывающе рисовал Ковалевский их будущую жизнь, труд в науке! Соня верила: ничто так не могущественно, как наука, просвещение! Мрак жандармского произвола рассеется, сгинет перед непобедимым их светом.

Жизнь казалась такой неотразимо прекрасной, что Соня от нетерпения готова была даже бежать из родительского дома. Она чувствовала силу своего таланта.

Знакомство с сестрами Крюковскими воодушевило Ковалевского, он готов был, по его признанию, поверить в сродство душ, до такой степени быстро успели они сойтись и подружиться.

«Последние два года я от одиночества да и по другим обстоятельствам, — писал он Софье Васильевне, — сделался таким скорпионом и нелюдимо, что знакомство с вами и все последствия, которые оно необходимо повлечет за собою, представляются мне каким-то невероятным сном. Вместо будущей хандры у меня начинают появляться хорошие радужные ожидания, и как я ни отвык увлекаться, но теперь поневоле рисую себе в нашем общем будущем много радостного и хорошего. Право, рассуждая самым холодным образом, без детских увлечений, можно сказать положительно, что Софья Васильевна будет превосходным доктором или ученым по какой-нибудь из отраслей естественных наук; далее весьма вероятно, что Анна Васильевна будет талантливым писателем, что Надежда Прокофьевна (Суслова) и Мария Александровна (Бокова-Сеченова) будут отличными докторами, что Ив. М. Сеченов всегда останется (для одних) или сделается (для других) нашим общим другом, что я, Ваш покорный слуга, положу все силы на процветание сего союза; и сами представьте себе, какие блестящие условия для счастья, сколько хорошей и дельной работы в будущем».

Восторженно сливает он свои интересы с интересами новых друзей и просит смотреть на него не как на человека, оказывающего услугу, а как на товарища, стремящегося к одной с ними цели. Он нужен девушкам так же, как они ему. Они могут поручать ему все, что необходимо, так как он будет работать тут столько же для них, как и для себя лично.

Владимир Онуфриевич продумал и план побега, если не удастся брак; написал Евгении Егоровне Михаэлис, матери бывшей его невесты, что встретил удивительную девушку, которая хочет учиться, а родители ее не отпускают, и просил дать девушке приют в имении Михаэлис до отъезда за границу.

Евгения Егоровна охотно согласилась. Однако бегство не понадобилось.

«НО НЕ ЖАЛКО ГЕРОИНЕ»

Романтически настроенная Елизавета Федоровна противилась недолго. Ничего другого, как дать согласие, не оставалось и Василию Васильевичу. Правда, на предложение Ковалевского он ответил, что рад ему, что всегда подчинится желанию дочери, но что она еще ребенок и надо подождать. Он пригласил Ковалевского в деревню, чтобы лучше познакомиться. Владимир Онуфриевич засыпал своего брата Александра письмами о знакомстве с сестрами Крюковскими, о Соне:

«...Мой воробышек — такое чудное существо, что я описывать ее не стану, потому что, естественно, подумаешь, что я увлечен. Довольно тебе того, что Мария Александровна (великий женоненавистник) после двухкратного свидания решительно влюбилась в нее, а Сулова не может говорить, не приходя в совершенный восторг. Они виделись с ними кландестинно [тайно], т. е. они уезжали из дому под предлогом к всеношной и ехали к Суловой, где мы сходились все. Несмотря на свои 18 лет, воробышек образована великолепно, знает все языки, как свой собственный, и занимается до сих пор главным образом математикой, причем проходит уже сферическую тригонометрию и интегралы, работает, как муравей, с утра до ночи и, при всем этом — жива, мила и очень хороша собой. Вообще это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе представить».

Жених и невеста договорились, что в ноябре после свадьбы они уедут за границу, где Софья Васильевна «станет медицинским студентом и будет готовиться на доктора», а Владимир Онуфриевич займется геологией, физикой или ботаникой.

Если же дела Владимира Онуфриевича не позволят ехать осенью, то Соня будет учиться зиму в Петербурге — у Сеченова физиологии, у профессора В. Л. Грубера, весьма сочувственно относившегося к учащимся женщинам, — анатомии, и они уедут в марте будущего года. О средствах для жизни за границей Ковалевский не беспокоился, так как девушки располагали собственными деньгами, которые им давал отец.

Увлекся Соней Владимир Онуфриевич сильно, она тоже испытывала к нему большую симпатию. Но любовь, по ее убеждению, должна была отступить на задний план перед главным — наукой. Сначала надо выполнить долг общественный — получить образование, а потом думать о личных делах. Даже те часы свиданий, которые протекали в Петербурге в

доме Шубертов, Соня проводила за книгами, заставляя сидеть за ними и Владимира Онуфриевича.

Они вместе занимались физиологией, прошли по Герману, Вундту и Людвигу кровообращение и дыхание. Из химии многое уже было ей известно, а физику она знала лучше, чем Ковалевский. Соня потребовала, чтобы Владимир Онуфриевич передал ей часть своей издательской работы, и редактировала главы из книги Дарвина тщательнее, чем он, пересмотрела и выправила по подлиннику пять листов перевода и даже взяла с собой в деревню еще пять листов, хотя столкнулась с такой работой впервые в жизни. Она могла сидеть за книгами по двенадцати часов, не разгибая спины, и работать так прилежно, как не способен был неусидчивый Владимир Онуфриевич. Восхищала Ковалевского способность девушки быстро схватывать политические и экономические вопросы.

Брату он поверял свои надежды, что встреча с Софьей Васильевной сделает из него «порядочного человека»: он бросит издательство, будет учиться, на этом настаивает его невеста, «натура в тысячу раз лучше, талантливее и умнее» его.

Подобно другим революционно настроенным молодым людям того времени, Соня намеревалась посвятить себя служению обществу. После окончания курса она собиралась поехать года на два доктором на женскую каторгу в Сибирь лечить осужденных.

В конце июня Ковалевский приехал в Палибино. Жизнь в деревне текла размеренно. Соня и Анюта вставали в шесть часов, купались в реке, пили чай и принимались за работу. Пришлось работать и гостю. Соня учила жениха математике, а затем они вместе по разным руководствам изучали физиологию и физику.

...Второго июля Василий Васильевич дал согласие на брак.

Перед свадьбой, во второй половине июля, Владимир Онуфриевич уехал в Петербург по своим делам и сообщил девушкам Крюковским, что занялся в столице поисками «годных экземпляров для приготовления консервов (фиктивных мужей)» для Анюты и Жанны Евреиновой.

Соне разрешили писать жениху без цензуры. Отец тяжело переживал ее брак с человеком, производившим на него впечатление легковесного. Он виделся со своими дочерьми только за обедом и ужином, встречи проходили во взаимных колкостях или в молчании. Соня боялась лишь одного: как бы отец не проявил нежности, тогда она не устояла бы.

А свобода манила, грезились жизнь, полная труда и подвигов, жизнь вместе с теми, кого она любила — с сестрой, «братом» Ковалевским. Но чем больше места в сердце занимал человек, предложивший руку помощи,

тем неотступнее становилась какая-то неясная тревога, словно изменяла Соня своей великой клятве — жить для всех. Она писала Анюте, уехавшей с матерью в Петербург делать приданое для невесты: «Милая, бесценная сестра, что бы ни было с нами, как бы не опошлялась и не подшучивала судьба, но покуда мы вдвоем, мы сильнее и крепче всего на свете — в этом я твердо убеждена.

Странное дело, хотя для меня лично все, кажется, хорошо и верно устраивается, но никогда еще не чувствовала я так сильно нашего зловещего фатума и необходимости аскетизма. Не знаю, от страха ли за тебя или от усиленных занятий и одиночества, но страхи мои и мрачные предчувствия так сильны, что мне по временам трудно убедить себя, что это один вздор...»

Девушка старалась создавать себе подобие аскетической жизни: она проводила дни в уединении, распределяя время занятий — от математики к физиологии, от физиологии к химии, от химии к переводам, и все это аккуратно, по часам; а в награду, как развлечение, час в день чтения «Крошки Доррит» Диккенса на английском языке.

И в тишине Палибина, думая об аскетизме, она всегда представляла себе маленькую, очень бедную комнатку непременно в «городе студентов» Гейдельберге, очень трудную, серьезную работу, без какого бы то ни было общества. С Анютой, с Ковалевским, которого называла она «братом», это не аскетизм, а счастье. Для нее аскетизм — в одиночестве. Соня сознательно хотела лишиться себя того, без чего не могла существовать, — любви, дружбы. Она представляла себе, что только два раза в неделю получает письма от Анюты: сестра тоже очень занята, но собирается перебраться в Гейдельберг и привезет с собой несколько других девушек, которых «развила и освободила».

Конечно, мечтала Соня, она и сама готовится к экзаменам, пишет диссертацию. Анюта же приводит в порядок свои путевые заметки. Еще позднее Соня едет в Сибирь, находит там много трудностей, разочарований, но пользу непременно приносит. Потом Анюта пишет замечательное сочинение; Соне удастся сделать открытие. Они устраивают женскую и мужскую гимназии; у Сони свой физический кабинет. Медициной она перестает заниматься, а отдается физике или приложению математики к политической экономии и статистике. Возле сестер — семья их подопечных, а сами они уже состарились, поседели. Так Соня описывала сестре их будущую жизнь и спрашивала ее:

«Ну, чем эта жизнь не блаженство? А ведь это самая аскетическая жизнь, которую я могла придумать, и она зависит только исключительно от

нас двоих; я нарочно отстраняю в мечтаниях даже Жанну и милого, хорошего, славного брата; присоедини же их, и что это выйдет за жизнь! Для меня только трудно жить одной, мне непременно надо иметь кого-нибудь, чтобы каждый день любить. Ведь ты знаешь, какая я собачонка...»

Жизнь оказалась совсем не такой, какой представляли ее себе девушки-мечтательницы...

Родные и близкие съехались в Палибино задолго до свадьбы, помогали шить, собирать невесту в дорогу. Соню утомляли эти сборы, она находила туалеты слишком нарядными.

По всем «вопросам укладки приданого» ее заменял Владимир Онуфриевич, производя впечатление человека практичного, любящего порядок и уют.

Наконец наступило 15 сентября 1868 года — день свадьбы. Около одиннадцати часов утра экипажи отправились из Палибино в деревенскую церковь. Свадебные песни крестьянок провожали их на всем пути. День выдался ясный, солнечный. Осенняя листва берез и осин пламенела красным и желтым. Между рощами виднелась светлая зелень озимых.

Церемония венчания окончилась через двадцать минут. Сияющая Соня шаловливо ступила первую на розовый атласный коврик, что по поверью предвещало ей главенство в семье, и мило поддразнивала Владимира Онуфриевича.

По случаю торжества обедали в верхнем зале за двумя длинными столами, украшенными цветами. Как только кончился обед, Соня переоделась в дорожный костюм и начала прощаться. Кусая губы, чтобы не расплакаться, с трудом оторвалась от Анюты, которую только и считала близкой в отцовском доме, отвергая остальных родных как нечто враждебное. Вспоминая потом в стихах свои чувства в момент отъезда из Палибина, Софья Васильевна писала:

...Но не жалко героине
Оставлять места родные.

И не мил ей и не дорог
Вид родимого селенья,
Вызывает он в ней только

Неприязнь и озлобление.

Вспоминаются ей годы
Жизни, страстных порываний
И борьбы, глухой и тайной,
И подавленных желаний.

Перед ней картины рабства
Вьются мрачной вереницей,
Рвется вон она из дома,
Словно пленник из темницы...

ГОДЫ УЧЕНИЯ

*Благословенна сладостная мука
Трудов моих! Я творчеству отдам
Всю жизнь мою...*

И. Бунин, «Мекам»

НАЧАЛО ПУТИ

Семнадцатого сентября, в двенадцать часов дня, молодые супруги прибыли в Петербург. Софья Васильевна была в восторге от незнакомого еще ей чувства — приехать в «порфиноносную столицу» не в гости, а домой, для начала хорошей труженической жизни!

Несколько смутила своей ненужной роскошью квартира, а спальня просто ужаснула: «Где же она, темная маленькая гейдельбергская келья моей мечты?» Но успокоила мысль, что в марте пышные апартаменты перейдут к Надежде Прокофьевне Сусловой, для которой они и предназначались.

На квартире Ковалевских ждала записка Марин Александровны Боковой-Сеченовой с приглашением к обеду. Когда они пришли к своей покровительнице, все уже сидели за столом. Софья Васильевна очень сконфузилась, представ перед «августейшим обществом»; на нее внимательно смотрели люди, чьи имена повторяла молодежь России. Рядом с изящной, подтянутой, несколько суровой Марией Александровной сидел, приветливо улыбаясь, хозяин квартиры. Может быть, не зная, кто это, она и прошла бы мимо человека с худощавым, крепко тронутым оспой лицом, с жиденькой бородкой и прекрасными, живыми, умными глазами, про которого Илья Ильич Мечников позднее говорил, что в Калмыцких степях каждый житель — вылитый Иван Михайлович. Но это был тот Иван Михайлович Сеченов, чей труд «Рефлексы головного мозга» произвел в сознании молодежи переворот, подобный революции.

Рядом с ним — один из близких товарищей Чернышевского, доктор Петр Иванович Боков, личность удивительного благородства и чистоты, с милыми, тонкими чертами доброго, спокойного лица.

А третий господин — это всем известный друг таких знаменитостей, как поэт Некрасов, как Салтыков-Щедрин, как «бог медицины» Сергей Петрович Боткин, — доктор Николай Андреевич Белоголовый. Под его пристальным, слегка насмешливым взглядом Софья Васильевна почувствовала себя совсем неловко: ей показалось, что доктор Белоголовый видит ее насквозь, знает, что она совсем «незаконно» пользуется званием замужней женщины.

Но все отнеслись к ней так ласково, так приветливо, что она осмелела и попросила Ивана Михайловича позволить ей слушать его лекции.

— С превеликим удовольствием, — согласился профессор. — И ежели

вам угодно, Софья Васильевна, то вы можете заниматься и в моей лаборатории. Обещаю вам, коли дойдет до того, что вас выгонят из университета, я буду протестовать, откажусь от практических занятий со студентами-мужчинами. Эти занятия для профессора не обязательны. Если не позволят вести их перед женщинами, я не считаю для себя возможным продолжать их с мужчинами.

За обедом Сеченов рассказывал о злоключениях первых «медицинских студентов» Марии Александровны Боковой и Надежды Прокофьевны Сусловой, об отношении большинства немецких профессоров к учащимся-женщинам.

— Мне пришлось встретиться с профессором Дюбуа-Реймоном, — вспоминал он, — после того как обе мои дорогие ученицы закончили свои научные работы и опубликовали их в немецком журнале. Дюбуа-Реймон недоумевающе покачивал головой и говорил, что он не понимает причин такого стремления женщин в науку, какое происходит в России. Ему, видите ли, никогда не доводилось слышать в знакомых немецких семьях, что женщины недовольны своим положением и желают стать на самостоятельную ногу. Мой совет вам, друзья мои, — закончил Иван Михайлович, — поезжайте не в Германию, а в Цюрих либо в Вену. В Германии Софья Васильевна вряд ли встретит благожелательное отношение...

Но Ковалевская горячо встала на защиту города своей мечты — Гейдельберга: нет, нет, они с мужем непременно поедут в этот тихий, сосредоточенный центр науки...

После обеда, когда мужчины собрались выкурить по сигаре, Мария Александровна увела гостью в свою комнату и принялась расспрашивать о планах Анюты и Жанны Евреиновой: нашелся ли какой-нибудь подходящий «жених» для них? Софья Васильевна попыталась было намекнуть, что вот-де Иван Михайлович Сеченов мог бы вполне подойти к роли фиктивного мужа. Но Мария Александровна решительно не пожелала понимать намеков. Она сама собиралась официально развестись с Боковым и обвенчаться с Сеченовым; положение «гражданской жены» было очень тяжело. Софья Васильевна умолкла и с нерассуждающей нетерпимостью, объяснив намерение Боковой эгоизмом, собственничеством, сообщила Анюте:

— Нет, мы никогда не сможем признать подобных «собственников» вполне нашими, близкими нам по верованиям! Обидно, что брат Владимир Онуфриевич не магометанин: он женился бы тогда на всех «сестрах» по духу и освободил бы их!..

18 сентября, в девять часов утра, Софья Васильевна в сопровождении Ковалевского, Петра Ивановича Бокова и своего дяди Петра Васильевича Крюковского отправилась на лекцию Сеченова.

В аудиторию ее провели черным ходом, укрывая от глаз начальства. Студенты держались отлично: они не только не разглядывали ее, но ближайšie по скамье соседи даже нарочно смотрели в другую сторону.

Лекция продолжалась час. Сеченов говорил очень хорошо, ясно, Софья Васильевна не пропустила ни слова. Вернувшись домой, она тут же записала слышанное, а потом занялась физиологией.

К обеду пришел товарищ Ковалевского Илья Ильич Мечников и произвел на нее не очень приятное впечатление: он не скрывал того, что не станет фиктивным мужем Анюты, так как собирается жениться по любви. Он, конечно, сочувствовал стремлению девушек к высшему образованию, находя его необходимым для общего развития, но в то же время был убежден: женщина не может вносить творчество в науку, так как гениальность, по его мнению, есть «вторичный мужской половой признак». Все же Илья Ильич пообещал Софье Васильевне достать разрешение на посещение его лекций, а также лекций по физике, и она тут же простила его «отвратительно консервативные взгляды и несправедливость».

Итак, физиология у Сеченова, анатомия у Грубера, математика у Страннолюбского, биология у Мечникова — чего же еще желать!

Тревожила только мысль о «начальстве»: не запретит ли оно слушать лекции?

Эти мысли так угнетали, что и сны Софьи Васильевны были беспокойны.

«Я видела Суслову, — описывала она в письме к Анюте один из таких снов, — и она рассказывала, как ей было тяжело в Цюрихе, как все презирали и преследовали ее, и она не имела ни минуты счастья; потом она очень презрительно посмотрела на меня и сказала: «Ну, где тебе».

Брат Ковалевского Александр Онуфриевич, казанский профессор, до такой степени не верил в «доброту» царских чиновников, что нисколько не сомневался в скорой отмене разрешения женщинам слушать лекции и советовал невестке непременно переодеться мальчиком, чтобы проникать в аудиторию.

Ясно было одно: без борьбы женщины не приобретут прочного права на высшее образование. И они начинали бороться все решительнее. Вскоре Софья Васильевна подписала петицию четырехсот общественных деятельниц России о разрешении женщинам посещать университетские лекции. Петиция была подана правительству по инициативе М. В.

Трубниковой, А. П. Философовой и Н. В. Стасовой. Ей предшествовало смелое обращение переводчицы, публицистки, издательницы журнала «Неделя» Евгении Ивановны Конради к съезду русских естествоиспытателей 1867 года. Свою записку, в которой Конради говорила о тяжелой участи стремившихся к просвещению женщин и просила ученых позволить им посещать университет, она заканчивала словами; «Если, понявши, мы промолчим, камни закричат».

До этого выступления мало кто знал Конради. Дочь богатого тульского помещика Бочечкарова, она воспитывалась дома. Кроме трех европейских языков, знала не очень много. Но идея освобождения овладела Евгенией Ивановной так властно, что она сама подготовилась и, оставив дом родителей, поступила воспитательницей в московский Петровский институт. Выйдя вскоре замуж за врача Конради, Евгения Ивановна стала заниматься переводами для русских издательств и для «Заграничного вестника», негласным редактором которого до своего ареста был П. Л. Лавров.

Первым большим ее переводом был роман Джордж Элиот «Адам Бид», очень заинтересовавший русских читателей. Серьезный разбор романа Жорж Санд «Последняя любовь», сделанный Конради, показывал смелость и широту ее взглядов. Она была хорошо знакома с писателями Н. С. Курочкиным, Глебом Успенским, с профессорами С. А. Усовым, В. Ф. Лугининым, с Лавровым. Лугинин и Усов дали ей денег на издание журнала «Неделя», скоро ставшего весьма влиятельным.

Обращение Конради к съезду произвело впечатление и на ученых и на общество. Профессора обещали свою поддержку. Они не могли заставить правительство изменить официальную точку зрения в этом вопросе и подсказали женщинам подать петицию.

Подписывая петицию, каждая из женщин как бы давала в руки правительству оружие против себя. Но бороться было необходимо. Столько препятствий вставало на пути желавших учиться, что так не могло продолжаться. Софья Васильевна сама испытала муки этого беспорядка. Сколько пришлось хлопотать о приобретении акушерского свидетельства, без которого не позволяли посещать лекции по анатомии! Чего стоила неудачная попытка получить разрешение на лекции физика Ф. Ф. Петрушевского! Профессор, который охотно выступал в женских кружках, решительно отказался помочь Ковалевской: это зависит не от него; существует, видите ли, закон не пускать женщин, а пускать неофициально он не возьмется. Скучный господин! Пришлось тут же бежать к Петру Петровичу Фандер Флиту, участнику студенческих волнений 1861 года,

которому пришлось сидеть в Петропавловской крепости, и «вообще человеку передовому». Он состоял лаборантом у Петрушевского — не поможет ли? Петрушевский не сдался. Но сам Фандер Флит и жена его, двоюродная сестра Чернышевского, известная в нигилистических кругах как «кроткая Полянка», очень понравились Ковалевской. Полина Николаевна познакомила Софью Васильевну со своим братом Александром Николаевичем Пыпиным, с женой Чернышевского Ольгой Сократовной, с его сыновьями Михаилом и Александром.

Ольга Сократовна, верная подруга Чернышевского, оставила глубокий след в сердце Ковалевской. Ей была симпатична яркая, своеобразная красота этой маленькой стройной женщины, казалось пропитанной горячими лучами солнца. Она любовалась глазами Ольги Сократовны, которые были темными от длинных черных ресниц, но меняли цвет от настроения.

«Они бывают то синими, то темно-серыми, карими, — писала Софья Васильевна в «Нигилисте», — иногда в них вдруг запрыгает множество золотых точек, и тогда кажется, точно маленький бесенок из них выглядывает». Но еще больше, чем внешность, пленяло Ковалевскую в Ольге Сократовне ее удивительное мужество: делая все, чтобы прослыть легкомысленной супругой ученого мужа, Ольга Сократовна пользовалась этой маской, помогая Чернышевскому скрывать от жандармских глаз то, что они не должны были видеть, а оказавшись женой «государственного преступника», она с большим достоинством выносила муки, выпавшие на ее долю.

Ковалевскую влекло к семье Чернышевского. Она обнаружила у Александра незаурядные способности к математике и уговаривала его заняться этой наукой. Сама она все больше и больше отдавала ей предпочтение.

После первого увлечения лекциями, которые, наконец, стали ей доступны, Софья Васильевна увидела: изучать надо только математику! Как ни старалась она заставить себя интересоваться медициной, поддавшись царившему среди молодежи стремлению работать в деревне, не лежала у нее душа ни к какой практической деятельности. Анатомию она находила «скучной», хотя в ее комнате, служившей одновременно гостиной, рядом с большим красивым письменным столом и книжной полкой стоял настоящий скелет — подарок доктора Бокова, и она усердно зубрила латинские названия костей, изучала череп и шутила: «Кто бы подумал, что такая у нас чепуха в голове!»

Счастье, подлинный творческий восторг Софья Васильевна

испытывала, лишь погружаясь в глубины математики. Не сделает ли она больше для женского движения, если добьется в науке того, что открыто пока только мужчинам? Но если теперь, в молодые годы, не отдаться исключительно любимой науке, можно непоправимо упустить время! «Я убедилась, что энциклопедии не годятся и что одной моей жизни едва ли хватит на то, что я могу сделать на выбранной мною дороге», — писала она сестре.

И Софья Васильевна, сдав экзамен на аттестат зрелости, снова вернулась к Александру Николаевичу Страннолюбскому, чтобы основательнее изучить математику перед поездкой за границу. Страннолюбский занимался с ней по пяти часов кряду. А в минуты отдыха этот человек, с дней юности, с первых воскресных школ не оставлявший ни педагогики, ни общественных дел, горячо убеждал ученицу не только самой учиться, но, как говорили тогда, «развивать» и других барышень.

Ученица живо откликнулась на призыв преподавателя. Узнав, что кузина Жанны Евреиновой Юлия Всеволодовна Лермонтова мечтает об изучении химии и хлопочет об устройстве подготовительных курсов для женщин в Москве, Софья Васильевна написала ей. Она говорила Юлии, что и эти хлопоты, и создание в Петербурге женских курсов, лекции и предполагаемый параллельный курс для девочек в мужской гимназии — «чрезвычайно полезная мера». Но когда все это будет! Пока же, в ожидании будущих благ, многие подготовленные женщины бегут за границу. И Софья Васильевна уговаривала Юлию ехать в Гейдельберг. «Я сама не дождусь, — признавалась она, — когда смогу уехать за границу; и как бы хотела, Юлия, учиться там вместе с вами; я не могу себе представить более счастливой жизни, как тихой, скромной жизни в каком-нибудь забытом уголке Германии или Швейцарии между книгами и занятиями».

С горячностью, на какую только была она способна, Софья Васильевна просила кроткую Юленьку добиться от родителей разрешения на заграничную поездку. А когда ей показалось, что решимость и мужество девушки начинают сдавать, она не остановилась даже перед поездкой в Москву.

В Москве она познакомилась с родителями Юлии Лермонтовой и убедила их в своей достаточной респектабельности для роли защитницы и покровительницы их дочери за границей. Старики пообещали отпустить с ней дочь. Анюте Крюковские тоже разрешили ехать с замужней Соней. Одна Жанна Евреинова оставалась пока под властью семьи.

Все складывалось как нельзя лучше, немного смущали только отношения с Владимиром Онуфриевичем. Она больше не испытывала

восторженного поклонения ему, подчас чувствовала себя скорее его старшей сестрой.

Софья Васильевна успела разобраться в характере своего друга. Она увидела, что при всей талантливости Владимир Онуфриевич безволен, способен легко приходить в отчаяние от неудач и терять голову от успехов. И она изо всех сил старалась убедить его в необходимости учиться. Но он не верил в то, что сможет заниматься науками, был не в состоянии сосредоточенно и целеустремленно работать, не отвлекаясь для массы других дел. Многие свойства характера Владимира Онуфриевича раскрыл перед Софьей Васильевной и Сеченов.

— Владимир Онуфриевич, — говорил он, — человек умный, живой, даровитый, но, к сожалению, он живет слишком быстро. Нарисовать его портрет мне не под силу — уж слишком он подвижен и разносторонен: живой как ртуть, с головой, полной широких замыслов, он не может жить, не пускаясь в какие-нибудь предприятия, и делает это не с корыстными целями, а по неугомонности природы, неудержимо толкающей его в сторону господствующих в обществе течений. Возьмите его издательские дела, из-за которых мы познакомились и сдружились в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году. В те времена была мода на естественные науки, и спрос на книги этого рода был очень живой. Как любитель естествознания, которым занимался Александр Онуфриевич, ваш супруг делается переводчиком и втягивается мало-помалу в издательскую деятельность. Начинает он с грошами в кармане и увлекается первыми успехами; но замыслы растут много быстрее доходов, и Владимир Онуфриевич у нас на глазах начинает кипеть: бьется как рыба об лед, добывая средства, работает день и ночь и живет годы чуть не впроголодь, нам, переводчикам, денег не платит, кругом долги, бухгалтерии никакой, дела все запутаны. Увлекающийся человек... Вот вы, математик, и поставьте перед ним заслоны из цифр, чтобы Владимир Онуфриевич не поддавался игре воображения. Да и ученую дорогу какую-то ему пора выбрать, диплом какой-то приобрести. Пробовал он изучать юриспруденцию — не понравилась, естественные науки забросил...

И в самом деле, если Софья Васильевна видела в поездке за границу великую победу, Владимир Онуфриевич рассматривал ее скорее как возможность скрыться от опротивевших долгов и кредиторов.

— Ах, это будет поистине чудо, Софа, если вы заставите меня пройти курс в каком-либо университете! — говорил он Софье Васильевне к ее великому негодованию и, что греха таить, к гордости.

Да и в его чувствах к ней, как будто и добрых и братских, она

различала фальшивую ноту, которую не могла точно определить, только все острее видела, что Владимир Онуфриевич увлекает ее в сторону от «аскетической жизни», от судьбы, уготованной ей и Анюте.

«Ты не поверишь, — писала она сестре, — как я боюсь избаловаться и расслабнуть. На занятия мои и на тебя полагаю я всю мою надежду сохранить прежнюю чистоту и крепость. Аскетизм мне решительно не дается и, чем больше я мечтаю о нем, тем привольнее и отраднее расстилается моя жизнь, тем больше попадает на мою долю баловства и счастья».

Анюта с юности сознавала свое отличие от других девушек, и Софья Васильевна, зеркало ее меняющихся настроений, мыслей, не могла не отражать этого убеждения в исключительности предназначения сестер Крюковских на земле. Несомненный писательский талант Анны и необыкновенная математическая одаренность Софьи должны были повести их иной дорогой, чем других юношей и девушек. Сестры верили в могучую силу образования и в свою просветительную миссию. Эта высокая миссия требовала отказа от всех суетных земных удовольствий, полного отрешения от всяческих соблазнов. Жизнь революционера, жизнь ученого немыслима без подвига!

А Владимир Онуфриевич заботился об удобствах жены так неустанно, что Софья Васильевна испытывала даже неловкость из-за чрезмерности этих забот. Они слишком отвлекали от аскетизма и, говоря откровенно, подчас были настолько соблазнительны, что трудно оказывалось не поддаться им.

Правда, Софья Васильевна верила, что сумеет преодолеть все соблазны во имя долга. Сестры и «брата» ей было достаточно, чтобы ее любящее сердце не испытывало голода. Предстоящие же труды, как первые шаги на пути к подвигу, должны целиком заполнить жизнь, дать духовное удовлетворение. И все же страх не устоять нет-нет да и закрадывался в душу...

3 апреля 1869 года Ковалевские и Анюта выехали в Вену, так как там были нужные Владимиру Онуфриевичу геологи.

На всю жизнь запомнили сестры чувство радостной свободы, которое испытывал тогда русский человек, впервые перешагнувший границу, оказавшийся за чертой владычества царско-чиновничьего самоуправства.

Поезд уносил их на Запад, а они, стоя у окна, прижимались друг к другу, шепотом делились своими мечтами. Они надеялись, что никто и ничто не помешает им осуществить их большие замыслы. Соня скромно ограничивалась только научным трудом. Анюта... О, Анюта собиралась

ниспровергнуть старый буржуазный строй, перевернуть всю Европу. Соня восхищалась отвагой старшей сестры и ожидала от нее таких произведений и революционных переворотов, которые изменили бы жизнь всего мира.

В Вене Софья Васильевна немедленно отправилась к профессору физики Ланге за разрешением посещать его лекции. Против ожидания, он позволил это охотно.

Возможно, что и другие профессора не противились бы, но она не нашла в Вене хороших математиков, жизнь была очень дорога, а отец обещал присылать ей с Анюгой всего тысячу рублей в год. Ковалевская решила попытать счастья в Гейдельберге, который рисовался в ее мечтах обетованной землей студентов.

Уехала она в Гейдельберг с сестрой. Владимир Онуфриевич остался в Вене.

«Обетованная земля» встретила неприветливо. Профессора Фридрих, с которым Софья Васильевна была немного знакома, в городе не оказалось. Она пошла к знаменитому физiku Кирхгофу.

Маленький, сухонький старичок на костылях с великим изумлением воззрился на молоденькую русскую и заявил, что ей следует испросить разрешение не у него, а у проректора университета Коппа.

На счастье, вернулся из путешествия профессор Фридрих. Он отнесся к просьбе Ковалевской с сочувствием, дал свою карточку к проректору. Проректор же сказал, что не может брать на себя столь неслыханное позволение, — пусть решают профессора. Снова Софья Васильевна нанесла визит Кирхгофу, ученый ответил, что был бы рад видеть ее в числе своих слушателей, да как на это посмотрит Копп? А Копп мудро рассудил: передать дело Ковалевской на обсуждение особой комиссии.

«О, не слишком ли много ученых занимается моей скромной особой?» — с грустной иронией подумала Ковалевская.

Опять приходилось ждать сложа руки. Между тем о ней собирали сведения. Какая-то женщина рассказывала Коппу, что Ковалевская — молодая вдова. Копп был встревожен разноречием сообщений. Пришлось вызывать Владимира Онуфриевича из Вены, чтобы доказать, что у русской действительно есть муж.

После всевозможных проволочек комиссия отважилась допустить Софью Ковалевскую к слушанию лекций по математике и физике. «Припоминаются, — писал о появлении Ковалевской в аудитории К. А. Тимирязев^[5], — хотя в общем корректные, но несколько глупо недоумевающие физиономии немецких буршей, так резко отличавшиеся от

энтузиазма и уважения, с которыми мы когда-то встречали своих первых университетских товарок».

Занятия Софьи Васильевны начались 16 апреля: двадцать две лекции в неделю и шестнадцать из них — чистая математика!

Занималась Ковалевская с тем напряжением, забывая обо всем на свете, с каким всегда шла к намеченной цели. В течение трех семестров 1869/70 учебного года она слушала курс теории эллиптических функций у Кенигсбергера, физику и математику у Кирхгофа, Дюбуа-Реймона и Гельмгольца, работала в лаборатории химика Бунзена — самых известных ученых Германии.

Профессора восторгались ее способностью схватывать и усваивать материал на лету. Молва о ней шла по всему Гейдельбергу. Однажды бедно одетая женщина, встретив Софью Васильевну, остановилась и сказала своему ребенку: «Смотри, смотри, вот та девочка, которая так прилежно учится в школе!»

КНИГИ И ЛЮДИ

В сентябре Владимир Онуфриевич повез жену в Лондон, где у него были дела с Гексли и Дарвином. В эту поездку Софья Васильевна познакомилась с английской писательницей Джордж Элиот.

В Лондоне Ковалевская знала тогда только господина Раллстона, заведующего славянским отделом Британского музея и одного из немногих англичан, владевших русским языком, знакомого с русской литературой и писателями Тургеневым, Боборыкиным и другими. Раллстон был в дружбе с Владимиром Онуфриевичем с 1861 года. Он много рассказывал Ковалевским о Джордж Элиот, ее жизни.

Элиот пользовалась в России большой известностью. Ее романы, затрагивавшие жизнь ремесленников, духовенства, отражавшие борьбу за расширение избирательных прав, за человеческие права женщин, вызывали горячий отклик в среде прогрессивной молодежи. Софья Васильевна разделяла это преклонение перед автором-женщиной. И когда Раллстон предложил представить ее Элиот, Софья Васильевна спросила:

— А какое удовольствие может доставить ей мое общество? Наверное, ей покажется смешным, что какой-то русской студентке пришла в голову такая нескромная мысль. В детстве я наслушалась забавных историй, происходивших с одним из моих родственников со стороны матери, Сенковским — «Бароном Брамбеусом», сейчас почти забытым, но тогда пользовавшимся большой популярностью романистом. Известность притягивала к нему множество провинциалов, которые приветствовали писателя неизменной фразой: «Я считал бы, что не использовал должным образом свое пребывание в Петербурге, если бы не увидел его величайшей достопримечательности — великого Сенковского». Мой дядя принимал визитеров очень любезно, но, провожая их до дверей, говорил: «Не забывайте, сударыня или сударь, что в Петербурге имеются гораздо большие достопримечательности. В Тиволи, например, показывают лапландцев. Настоятельно советую вам посмотреть их. Правда, за это надо заплатить пять копеек, тогда как меня можно смотреть бесплатно...»

Господин Раллстон старался убедить Софью Васильевну, что ей подобный прием не угрожает, и посоветовал написать несколько слов Джордж Элиот. Софья Васильевна последовала совету. Писательница ответила, что имя Ковалевской ей неизвестно, что она слышала о ней от английского математика, встречавшего русскую студентку на лекциях в

Гейдельберге, и желала бы лично познакомиться с ней.

Домик Элиот, где она жила с мужем, господином Джемсом Люисом, автором известной в России книги «Физиология обыденной жизни», был расположен в богатой зелены части Лондона. Софья Васильевна несмело вошла в гостиную.

При первом взгляде Джордж Элиот показалась ей совсем не похожей на созданный воображением образ. Перед ней стояла довольно пожилая женщина с непропорционально большой головой и худощавой фигуркой, облаченная в черное платье из полупрозрачной ткани, не скрывавшей худобы и подчеркивавшей болезненный цвет лица. Но звуки мягкого, бархатного голоса заставили забыть о ее внешности.

Джордж Элиот усадила Софью Васильевну на маленьком диване и заговорила с ней просто, непринужденно. Не прошло и получаса, как гостя совершенно поддалась обаянию хозяйки, влюбилась в нее и нашла, что настоящая Джордж Элиот лучше воображаемой.

Тургенев в разговоре с Ковалевской как-то сказал об Элиот: «Я знаю, что она дурна собой, но когда я с ней, я не вижу этого», — и добавил, что Джордж Элиот заставила его понять, как можно без ума полюбить женщину безусловно, бесспорно некрасивую.

Муж Элиот был живым, подвижным человеком, с тем умным, интересным безобразием, которое бывает привлекательнее правильных, но бесцветных лиц. Софью Васильевну поразила противоположность характеров этой супружеской четы. Элиот — замкнутая, болезненно чуткая, живущая в своем вымышленном мире воображения. Люис — отдающийся впечатлению минуты, склонный к шумливой, кипучей деятельности в самых разнородных областях. Страстная, не вполне свободная от некоторой сентиментальности Джордж Элиот должна была страдать от подвижности и легковесности мужа, а он — возмущаться тем нравственным гнетом, какой она бессознательно налагала на него. Что-то в этой чете напоминало Софье Васильевне ее собственные отношения с мужем, чем-то походил Люис на Владимира Онуфриевича, а Элиот на нее самое. И Ковалевская долго размышляла над тем, как же сказывается разница натур писательницы и ее мужа на их жизни: несоответствие характера супругов Ковалевских начинало проявляться все резче...

— Я принимаю каждое воскресенье, — сказала Джордж Элиот, когда Ковалевская поднялась, чтобы уйти. — И хотя многих из моих друзей в это время года нет в Лондоне, я, однако, надеюсь, что вы будете иметь возможность встретиться с людьми, которые, несомненно, будут для вас более интересны, чем такая старая женщина, как я.

В следующее воскресенье Софья Васильевна снова появилась в гостиной Джордж Элиот, где было уже человек двадцать гостей. Никто не назвал ей фамилию вошедшего в комнату старичка с седыми баками и типичным английским лицом. Джордж Элиот обратилась к нему со словами:

— Как я рада, что вы пришли сегодня. Я могу вам представить живое опровержение вашей теории — женщину-математика.

— Надо вас только предупредить, — обернулась она к Ковалевской, — что он отрицает самую возможность существования женщины-математика. Он согласен допустить в крайнем случае, что могут время от времени появляться женщины, которые по своим умственным способностям возвышаются над средним уровнем мужчин. Но он утверждает, что подобная женщина всегда направит свой ум и свою проницательность на анализ своих друзей и никогда не даст приковать себя к области чистой абстракции. Постарайтесь-ка переубедить его.

Старичок уселся рядом с Ковалевской, с любопытством посмотрел на нее и сделал несколько полуиронических замечаний. А она, способная с несомненным красноречием в любой момент ломать копыта за «женский вопрос», забыла все окружающее и добрых три четверти часа вела поединок со своим собеседником. Джордж Элиот сказала ей с улыбкой:

— Вы хорошо и мужественно защищали свое и наше общее дело. Если мой друг Герберт Спенсер все еще не дал переубедить себя, то я боюсь, что придется признать его неисправимым.

Маленькая русская защитница прав женщины почувствовала себя весьма смущенной, узнав, что нападала на известного философа.

В Лондоне «палибинская барышня» встретила много признанных европейских светил науки. Знаменитый английский биолог Т. Гексли, друг и приверженец Дарвина, был очень предупредителен с четой Ковалевских, пригласил их к себе на вечер, где свел Владимира Онуфриевича с геологами, а Софью Васильевну — с математиками.

По возвращении в Гейдельберг Ковалевские нашли там Юлию Лермонтову, которую родители, наконец, отпустили учиться.

В университет Лермонтову не приняли. Проректор Копп сообщил, что по решению приемной комиссии, как и в случае с госпожой Ковалевской, ей не разрешено посещение всех лекций: только сами преподаватели могут позволить слушать отдельные лекции, если это «не вызовет осложнений».

Пришлось хлопотать Софье Васильевне и о своей застенчивой, робкой подруге. Она так трогательно упрашивала профессора-химика Бунзена, что он не мог устоять и изменил решение — не пускать женщин в свою

лабораторию, — позволив работать в ней второй русской.

Сестра Анюта тем временем отправилась в Париж. Она хотела познакомиться с социальным движением Франции, где, как ей было известно, оно крепло, где появилось много деятельных революционеров. В Париже она предполагала поселиться с Жанной Евреиновой, зарабатывая на жизнь переводами. Владимир Онуфриевич обещал ей тысячу рублей в год заработка. Но Жанна из дому вырваться не смогла, с переводами тоже ничего не вышло. Анюта надеялась найти в Париже какое-нибудь занятие, способствующее политической и литературной деятельности, а Софья Васильевна должна была помочь сестре скрыть от родителей ее переезд во Францию, пересылая им парижские письма сестры из Гейдельберга.

В Париже Анюте пришлось пожить очень стесненно на сто пятьдесят франков в месяц. Вскоре она устроилась в типографию наборщицей на сто двадцать франков, сияла себе дешевую комнату в Пюто и начала заводить знакомства среди выдающихся людей литературного, ученого и политического мира. Она подружилась с известной в те времена писательницей и общественной деятельницей, членом Интернационала Андре Лео, о которой много писали в русских прогрессивных журналах и с которой был связан известный Анюте петербургский кружок поборниц высшего женского образования А. П. Filosoфовой и М. Н. Трубниковой.

В год приезда Анюты в Париж Андре Лео, Ноэми Реклю, Луиза Мишель и другие француженки, будущие участницы Парижской коммуны, создали «Общество борьбы за право женщин» и газету «Право женщин». Через Андре Лео Анюта сблизилась с одним из основателей секции Интернационала в Париже, Бенуа Малоном, и, таким образом, вошла в круг самых видных парижских социалистов, одни из которых, член Интернационала Шарль Виктор Жаклар, позже стал ее мужем.

После отъезда Анюты в освободившейся комнате поселился Владимир Онуфриевич и занимался в университете геологией.

Ковалевские и Лермонтова жили дружно вдвоем. Ранним утром начинали они рабочий день и только с шести часов вечера, когда закрывались лаборатории, давали себе отдых. Софья Васильевна находила удовольствие в долгих прогулках по чудесным окрестностям Гейдельберга, могла бегать по дороге, как ребенок. Ей было легко и хорошо: она занималась наукой, и близкие друзья жили с ней рядом, всегда готовые поговорить с ней о ее делах, интересах.

Но в начале зимы к ним неожиданно приехала Анюта из Парижа и Жанна Евреинова из России.

После отъезда Ковалевской и Анюты за границу Евреинова напомнила

своему отцу об обещании отпустить ее учиться. Отец разгневался и заявил, что «лучше увидит дочь в гробу, чем в университете». Надеяться на то, что отец изменит решение, Жанна не могла. А к этому присоединилась еще одна неприятность. Высокая, статная, с точеным профилем и пышными темными волосами, Евреинова была очень хороша собой и приглянулась брату Александра II — великому князю Николаю Николаевичу. «Августейший» поклонник начал преследовать Жанну своим вниманием при молчаливом содействии ее отца. Девушка пришла в отчаяние и хотела утопиться. Но Софья Васильевна посоветовала ей обратиться за помощью к В. Я. Евдокимову, который вел книжные дела Владимира Онуфриевича, и бежать за границу. Евдокимов, дав Жанне денег, свел ее с нужными людьми, они перевели девушку ночью по болоту через границу под обстрелом стражи, и она добралась до Гейдельберга.

Квартира всех не вместила. Ковалевскому пришлось найти себе комнату неподалеку. Первое время Софья Васильевна часто навещала его, проводила у него целые дни, иногда они и гуляли вдвоем. Анюта и Жанна возмущались и заявляли, что раз брак Ковалевских фиктивный, не следует допускать подобную интимность, словно брак настоящий. Они очень нелюбезно обходились с Владимиром Онуфриевичем, между ними все чаще происходили мелкие, возмущавшие его стычки, которые отражались и на его чувстве к Софье Васильевне. Несправедливое отношение Анны Васильевны к нему, выполнявшему договор с Софьей Васильевной о том, что семью они начнут строить лишь после окончания занятий наукой, вызвало в нем гнев. Он даже перестал заниматься математикой и написал брату, что «не способен к математике; это закрывает дорогу к серьезной физике; придется налечь больше на химическую и палеонтологическую часть геологии». В конце концов, потеряв терпение, Ковалевский решил уехать в Вюрцберг. К этому времени он прослушал все лекции, какие были нужны, и ему незачем было оставаться в Гейдельберге.

Из Вюрцберга, не найдя там ничего интересного для себя, он отправился в Мюнхен, где находился самый крупный в Европе палеонтологический музей, и погрузился в печатные труды по геологии и палеонтологии, изучал обширные коллекции ископаемых, совершал геологические походы. Вскоре он, как метеор, носился по городам Европы, доводя Софью Васильевну до головокружения одним перечнем мест, где побывал... без нее!

А ведь они собирались быть всегда вместе, делить все радости и горести. Он, ее брат по духу, обещал входить в научные интересы своей «сестры», заниматься математикой. Он был ей нужен каждый день, каждый

час. Она не в состоянии работать, если возле нее нет близкого человека, которому можно излагать свои мысли. Способна же она на полное забвение себя для друзей? Но она требует такого же, исключаящего другие привязанности, чувства. Как мог Владимир Онуфриевич выразить подобное пренебрежение к своему лучшему другу? Она затаила в душе большую обиду на Ковалевского, но часто писала ему письма, даже ездила на каникулы в Мюнхен «потолковать и помечтать» с ним. У нее была потребность поделиться с «братом» радостями. Горести она уже и тогда держала про себя.

Жилось студенткам нелегко. Хотя Анюта и уехала вскоре снова в Париж, Софья Васильевна делилась с ней теми деньгами, какие высылал отец. Юлии Лермонтовой и Жанне Евреиновой родители переводили «пенсию» с перебоями. Да и «женская коммуна» Ковалевской пополнилась: из Москвы приехала учиться математике двоюродная сестра Софьи Васильевны Наталья Александровна Армфельд. Но для нуждающегося Александра Онуфриевича по просьбе Ковалевского студентки собрали сто франков.

Софья Васильевна не оставляла своих планов привлечь других русских девушек в заграничные учебные заведения.

В это время она старалась уговорить учиться родственницу Юлии — Ольгу Лермонтову. Сообщая об этом Владимиру Онуфриевичу, Софья Васильевна не удержалась, чтобы не коснуться начинавших занимать ее вопросов: «Жизнь ее (Ольги) самая невеселая с детства, а это последнее время к другим огорчениям присоединились еще страдания более нежного свойства; хотя к подобным страданиям я не чувствую особого сочувствия, — писала она, — но я отлично понимаю, что когда в жизни вообще не встречаешь никакой другой удачи и не имеешь никакого другого интереса, то и они могут еще подбавить значительную долю горечи».

Ей, казалось, это пока не угрожало: жизнь была наполнена до краев научными интересами, а долг — прежде всего... Так прошла зима. В пасхальные каникулы Софья Васильевна решила навестить сестру.

С легким чемоданчиком в руках отправилась она в Париж, думая об Анюте, о ее делах. Вскоре показались крепостные валы; поезд с шумом подошел к Страсбургскому вокзалу. В окно Софья Васильевна заметила на платформе Анюту, еще более похорошевшую, выбежала из вагона, и сестры крепко обнялись, засыпая друг друга вопросами. Но только направились они к выходу, вдруг подошел молодой, очень красивый мужчина среднего роста, с темной бородкой Анюта вспыхнула, смущенно схватила Софью Васильевну за руку и пробормотала:

— Соня, позволь тебе представить Виктора. Виктор Жаклар... Это мой муж.

Ковалевская растерялась. Как, в то время когда она думала о том, сколько тайных обществ, сколько могущественных организаций создала Анюта, сколько великих планов осуществила, сколько людей покорила отважными речами и вовлекла в революционные общества, — Анюта полонила только одного?! А ведь сестры решили отказаться от личной жизни во имя «дела», и Софья твердо выполняла обет.

Кое-как овладев собой, она подала руку нежданному зятю. Он поехал с ними на дрожках. Вести сердечную беседу с сестрой было невозможно. Дрожки остановились у одного из маленьких отелей в Латинском квартале. В столовой ждал их настоящий русский самовар...

Глаза утомленной путешественницы стали закрываться. Анюта проводила сестру в приготовленную для нее комнату, быстро поцеловала и ушла. «Ее ждет молодой супруг, — подумала Софья Васильевна. — Неужели из-за этого можно оставить мечту о благе человечества?! Что же это за сила — любовь?»

ВЕЛИКИЙ АНАЛИТИК С БЕРЕГОВ ШПРЕ

Ничто не заслоняло, ее могло заслонить той единственной цели, достижению которой Софья Васильевна решила посвятить свою жизнь. Работая с изумлявшей всех напряженностью, она быстро овладела начальными элементами высшей математики, открывающими путь к самостоятельным исследованиям. На лекциях она слышала восторженные похвалы профессора Кенигсбергера его учителю — крупнейшему в то время математику Карлу Теодору Вильгельму Вейерштрассу, которого называли «великим аналитиком с берегов Шпре».

Ему было отведено место в числе «трех созвездий эпохи» Куммер — Вейерштрасс — Кронекер. С его именем неразрывно связывалась теория так называемых высших трансцендентных функций — абелевых (по имени норвежского математика Абеля), и особенно важных в приложениях эллиптических и ультраэллиптических.

Его образ ученого-подвижника возбуждал живейшую симпатию.

По настоянию отца Карл Вейерштрасс четыре года изучал в Бонне юридические науки, а затем оставил их, на два года перешел в Мюнстерскую академию и занялся математикой у профессора Гудермана — ученика знаменитого немецкого исследователя Карла Якоби и первого популяризатора его теории эллиптических функций. Четырнадцать лет он был учителем гимназии в Мюнстере, Дейч-Кроне, Браунсберге, отдавал тридцать часов в неделю урокам физики, математики, химии, естествознания и даже гимнастики и, невзирая на такой труд, продолжал изучать математику, выбирая самые трудные ее разделы.

Первые же исследования Вейерштрасса, направившегося по следам гениального норвежского математика Абеля, показали его крупный талант. Вдали от научных центров скромный преподаватель гимназии разрабатывал новую теорию высших трансцендентных. Спустя много лет на Вейерштрасса обратил внимание издатель крупнейшего немецкого математического журнала Борхардт, навестил его в Браунсберге и ходатайствовал о приглашении неизвестного ученого в Берлин. В 1856 году Вейерштрасс был назначен профессором Технологического института, профессором Берлинского университета, в следующем — избран членом Берлинской академии. Первым популяризатором его теории аналитических функций выступил крупнейший французский ученый Шарль Эрмит.

Чем глубже знакомилась Софья Васильевна с трудами Вейерштрасса,

тем неодолимее становилось желание «сесть у ног самого учителя». Чтобы добиться этого, она проявила такую силу воли, которая, как говорил потом шведский профессор Миттаг-Леффлер, «в решающие моменты ее жизни превышала понятие о возможном».

Во имя своего высшего назначения, как она его понимала, Софья Васильевна преодолела застенчивость и 3 октября 1870 года отправилась к Вейерштрассу в Берлин.

Она пошла к нему в широком плаще «бедуин», отделанном тяжелыми кистями и за обильными складками скрывавшем ее полудетскую фигуру. Большая шелковая черная шляпа старила ее, почти закрывая лицо и глаза.

С сильно бьющимся от волнения сердцем шагала она, ничего не видя, по тихой Штелленштрассе с ее солидными особняками и, наконец, вошла в подъезд аккуратного старомодного дома. Лестница, застланная темно-коричневой тканой дорожкой, закрепленной на ступеньках металлическими прутьями, привела на площадку, к двери.

Робко потянула Софья Васильевна фарфоровую ручку звонка. Дверь открыла пожилая женщина в бесшумных комнатных туфлях, в сером платье с белым фартуком, прикрепленным на груди двумя серебряными брошками в виде птичек. Это была давняя горничная ученого — Берта, неотделимая от семьи Вейерштрасса. Берта ответила, что господин профессор дома, и повела посетительницу в кабинет ученого.

Они прошли через небольшую гостиную со скромной, обитой репсом мебелью, с ярким, цветастым ковром на полу, с гравированной на стали «Святой ночью» Корреджо над диваном, двумя чистенькими фикусами возле окон и высоким трюмо в простенке.

В следующей комнате с камином и тяжелой старинной мебелью сидели за круглым столом обе незамужние сестры ученого — фрейлейн Элиза и фрейлейн Клара. Они были одинаково гладко причесаны, в одинаковых черных кашемировых платьях с белыми вышитыми воротничками и длинными цепочками для часов, сплетенными из человеческих волос. Шла франко-прусская война, и сестры прилежно вязали толстые носки для ополченцев, сражавшихся во Франции.

Наконец Берта открыла дверь кабинета, обставленного кожаной мебелью с белыми фарфоровыми кнопками и украшенного портретами предков.

Вейерштрасс сидел за большим письменным столом. Он повернул крупную седую голову, поднялся со стула навстречу посетительнице и спросил, чем может служить.

Едва справляясь с немецким языком, Софья Васильевна смущенно

сказала, что так как университет для женщин закрыт, она просит профессора давать ей частные уроки, она специально за этим приехала в Берлин. Вейерштрасс поинтересовался, а есть ли у нее какое-нибудь свидетельство о ее занятиях математикой, какие-нибудь рекомендации; хотя он и лучше себя чувствует последние годы, по частные уроки дает только в исключительных случаях, людям безусловно способным к этой серьезной науке.

Он говорил четко, отдельно, чтобы иностранка его поняла, но Софья Васильевна едва дала профессору окончить фразу:

— О, я буду такой внимательной, благодарной ученицей!

Профессор покачал головой:

— Но как же я смогу разрешать с вами сложные математические проблемы, если вы так плохо знаете язык?

Наклонив голову, Софья Васильевна горячо возразила, что это ничему не помешает, она сможет заниматься. Как всегда, была она настолько честна, что не сняла шляпу, не подняла на профессора своих покоряющих глаз, чтобы помочь себе.

Желая избавиться от докучливой посетительницы, профессор Вейерштрасс предложил ей для проверки знаний несколько задач по гиперболическим функциям из разряда тех, даже несколько потруднее, которые он давал самым успевающим студентам математического факультета, и попросил ее зайти на следующей неделе.

Профессор несколько не сомневался в том, что иностранка больше не появится, так как задание вряд ли будет ей по силам. Кроме того, его немножко пугало то, что она русская. Царское правительство, чтобы скомпрометировать учащихся женщин, «нигилисток», и вынудить их вернуться на родину, распространяло грязные слухи об их безнравственном поведении.

...По совести говоря, Карл Вейерштрасс успел забыть о визите русской, когда ровно через неделю она снова появилась в его кабинете и сообщила, что задачи решены.

— Не может быть! — удивился профессор и, предложив ей сесть рядом с ним, начал проверять решение по пунктам.

С недоумением взглянул Вейерштрасс на посетительницу: эта маленькая иностранка решила задачи не только верно, но и необыкновенно изящно. А она сняла на этот раз безобразную шляпу и открыла свое подвижное лицо. Короткие вьющиеся волосы упали ей на лоб, глаза засияли, как маленькие солнца, щеки зарделись румянцем удовольствия.

Старый профессор не мог отвести печального взгляда от прелестного

личика: юная русская была так похожа на некогда любимую им девушку!

Вейерштрасс запросил у Кенигсбергера, на которого ссылаясь Софья Васильевна, его мнение не только о способностях студентки к глубоким математическим исследованиям, но и о том, «представляет ли личность этой дамы необходимые гарантии».

Получив благоприятный ответ о молодой женщине, муж которой также занимался наукой, профессор Вейерштрасс ходатайствовал перед академическим советом о допущении госпожи Ковалевской к математическим лекциям в университете. Его неожиданно поддержал и знаменитый физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон, о котором рассказывал Софье Васильевне Сеченов. Но «высокий совет» не дал согласия. В Берлинском университете не только не принимали женщин в число «законных» студентов, но даже не позволяли им бывать на отдельных лекциях вольнослушателями. Пришлось ограничиться частными занятиями у знаменитого ученого.

Этой осенью из-за франко-прусской войны Вейерштрасс собрал на университетские лекции об эллиптических функциях всего лишь двадцать слушателей-студентов. «Тем более тягостно для нас то, — писал он Кенигсбергеру, — что доселе непреклонная воля высокого совета никак не допускает к нам (в университет) замены, предлагаемой нам из ваших рук в лице вашего нынешнего женского слушателя, который, при условии правильного весового коэффициента, мог бы оказаться весьма ценным».

В Берлине Ковалевская вела жизнь еще более уединенную и однообразную, чем в Гейдельберге. Приехавшая к ней Юлия Лермонтова, которой разрешили лабораторные занятия при университете, с тихим упорством проводила целые дни за химическими опытами. Софья Васильевна с утра до вечера сидела за письменным столом. По воскресеньям, после полудня, она ходила на занятия к Вейерштрассу, а среди недели он сам навещал ее. Профессор излагал ей содержание прочитанных в университете лекций, давал задачи, разбирал вместе с ученицей новые работы ученых, беседовал о конечных и бесконечных пространствах, о важнейших проблемах математики и физики будущего.

Обычно Вейерштрасс скорее подавлял слушателей своим умственным превосходством, чем толкал их на путь самостоятельного творчества. Свои труды он склонен был отделять без конца, не решаясь приняться за новые. Но живой, пытливый ум юной Ковалевской потребовал от старого профессора усиленной деятельности. Вейерштрассу нередко приходилось самому приниматься за решение разных проблем, чтобы достойно ответить на сложные вопросы ученицы. «Мы должны быть благодарны Софье

Ковалевской, — говорили современники, — за то, что она вывела Вейерштрасса из состояния замкнутости».

Да и для нее в это время ничего не существовало, кроме математики. Владимир Онуфриевич, захваченный геологией, навещал жену редко, занятиями ее не интересовался. Отношения супругов все больше портились: Софья Васильевна не могла простить Ковалевскому равнодушия... Ее способность часами предаваться умственной работе поражала. Даже вечером она оставалась погруженной в свои мысли. Какое это блаженство — вычислять, выписывая формулу за формулой, словно возводя ступени, по которым можно подняться в просторы вселенной. Все, что смущает, ранит, тревожит в земном существовании, отпадает, как сухой лист. Остаются только опьяняющие высоты мысли!

Возбужденная до экзальтации, она бросалась снова к столу и писала лихорадочно, торопливо, сжимая похолодевшими пальцами перо, не поспевающее за стремительным бегом мысли.

Вот оно, счастье, настоящее, великое, вот она, радость творчества, торжество фантазии! Да разве есть еще что-нибудь более прекрасное, способное сделать человека богом!

Она ничего не видела вокруг и никогда не хотела рассказывать Юлии Всеволодовне, о чем думала в это время. Она изучала новейшие математические труды мировых ученых, не обходила даже диссертаций молодых учеников своего преподавателя. Именно в эти недолгие годы занятий она приобрела такую подготовку, что Вейерштрасс с восхищением говорил знакомым профессорам:

— Что касается математического образования Ковалевской, то могу заверить, что я имел очень немногих учеников, которые могли бы сравниться с нею по прилежанию, способностям и увлечению наукой.

Но здоровье ее надорвалось.

Из-за непрактичности подруг им очень плохо жилось. Готовясь переделать скверно устроенный мир, они ничего не предпринимали, чтобы иметь хотя бы сносный обед.

Ковалевская очень похудела, побледнела, глаза смотрели грустно и утомленно. Она мало спала. Сон ее был тревожный. Она внезапно просыпалась и просила подругу посидеть с ней, охотно рассказывала свои сны, которые всегда были очень оригинальны и нередко имели характер видений, а сама она приписывала им пророческое значение.

«Вообще она, — свидетельствует Лермонтова, — отличалась крайне нервным темпераментом. Никогда не была она спокойна: всегда ставила себе для достижения самые сложные цели и тогда страстно желала

достигнуть их. Но, несмотря на это, я никогда не видела ее в таком грустном, подавленном состоянии духа, как тогда, когда она достигала предположенной цели. Действительность, по-видимому, никогда не соответствовала тому, что она рисовала себе в своем воображении. Когда она работала, она доставляла окружающим мало удовольствия, так как была всецело погружена в свои занятия и только о них и могла думать; но когда ее видели такой грустной и печальной среди полного успеха, к ней чувствовали невольно глубокое сострадание. Эти постоянные изменения настроения в ней, эти постоянные переходы от грусти к радости и делали ее такой интересной».

В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПАРИЖЕ

В апреле 1871 года занятия с Вейерштрассом пришлось неожиданно прервать. От сестры Анюты не было известий, а она находилась в Париже, выдержавшем жестокую осаду немецких войск, ставшем плацдармом революционных боев, провозгласившем первое в истории пролетарское государство — Парижскую коммуны.

Связав свою жизнь с социалистом Жакларом, Анюта поделила с ним все неизбежные опасности его существования. Летом 1870 года Жаклар был привлечен к судебной ответственности как участник «заговора против Наполеона III» по процессу членов Интернационала и приговорен к ссылке. Ему удалось бежать в Швейцарию.

В Женеве он завершал свое медицинское образование и давал уроки французского языка. Анюта уехала к нему, работала в русской секции и Центральном комитете Интернационала, переводила брошюры Карла Маркса для приложений к газете «Народное дело». Незадолго до осады Парижа, когда стал очевиден революционный подъем французского народа, Анюта сообщила сестре, что уезжает с мужем в Париж. Она не закрывала глаза на предстоящие трудности: «Условия для хорошего и прочного водворения республики очень плохи. Безденежье, поражение и неприятель на границе, и, может быть, и под самым Парижем, — все это не очень благоприятствует «социальному» движению, без которого республика та же тирания». Но для нее было ясно одно: когда человек хочет, чтобы его убеждения и поступки были приняты за известное дело, он должен рисковать...

Не получая больше никаких известий от сестры, Софья Васильевна решила немедленно отправиться в Париж. Владимир Онуфриевич, отложив свои дела, пожелал сопровождать ей в опасном путешествии. Чтобы проникнуть в столицу Франции, им пришлось пешком перебираться через зоны, занятые немецкими войсками, плыть на лодке по Сене, каждую минуту рискуя быть обнаруженными и расстрелянными как лазутчики. 5 апреля Ковалевские, наконец, достигли парижского берега Сены и незаметно проникли в город. Они разыскали Петра Лавровича Лаврова и с его помощью нашли Анну Васильевну.

Супруги Жаклар жили на Монмартре, в самом боевом рабочем 18-м округе. После свержения империи Жаклар — депутат Красной Лионской республики — был избран со времени осады Парижа командиром 158-го

батальона Национальной гвардии, созданной из добровольцев революционным населением столицы. Жаклар участвовал в народных восстаниях против «правительства национальной измены», подвергался аресту, затем состоял помощником мэра 18-го округа, а в дни Парижской коммуны был назначен начальником войска Монмартра.

Анна Васильевна нашла в Парижской коммуне обширное поле для труда, дала выход долго сдерживавшимся творческим силам. Она работала в женском комитете бдительности Монмартра, входила в состав деятелей народного образования Коммуны, писала и подписывала воззвания к населению Парижа, была организатором замены в госпиталях враждебно настроенных сиделок-монахинь революционными гражданками столицы. В инструкции школам 18-го округа, где работала Анна Жаклар, было написано: «Мы просим вас удалить с глаз детей все то, что могло бы напоминать им о глупостях, которыми нас так долго морочили; в наших школах не должно быть больше места ни картинам, ни книгам религиозного содержания, ни крестам, ни статуям святых. Вы покроете слоем белой или черной краски латинские религиозные надписи и замените их такими общечеловеческими девизами, как свобода, равенство, братство, труд, справедливость. Равным образом вы упраздните и притом немедленно преподавание так называемой священной истории, катехизиса и церковного пения. Словом, вы понимаете, царство заблуждения кончилось; мы должны распространять свет истины и научить других любить ее». В этих словах отражались те верования, каких давно держалась передовая русская женщина.

Вместе со своим другом, писательницей Андре Лео, Анна Васильевна основала ежедневную вечернюю газеты «La sociale», выходившую с 31 марта по 17 мая. В статьях они излагали свои верования.

В газете «Коммуна» Андре Лео писала, встревоженная половинчатостью действий многих членов правительства: «Париж, восставший против Национального собрания, это уже не *Коммуна*, это *революция*. Он и должен быть революцией. Пусть Франция и весь мир услышат его голос. Гордо укрепившись в своем *праве* и в своей *идее*, пусть он победит с ними и с помощью их, если это возможно, или пусть он падет, оставив невежественному и бедному народу наследство идеи, которая освободит этот народ. Париж обладает социальной идеей. Он должен высказать ее громко, определенно, ясно. В настоящую минуту ему нечем дорожить». Андре Лео разъясняла и крестьянам задачи Парижа. В середине апреля ее воззвание к «французским крестьянам», напечатанное в ста тысячах экземпляров, было разбросано с воздушных шаров по всей

Франции: «Дело Парижа — ваше дело; он работает для вас, как и для фабричного рабочего». Так думала и Анна Жаклар. Из письма русской революционерки, землячки сестер Крюковских Елизаветы Дмитриевой к члену Генерального Совета I Интернационала Герману Юнгу видно, что правительство Коммуны не придало значения союзу города и деревни: «К крестьянам не обратились вовремя с манифестом; мне кажется, что он вообще не был составлен, несмотря на мои и Жаклар настояния», — сообщала Елизавета Дмитриева, одна из видных последовательниц Карла Маркса.

Анна привлекла к работе и приехавшую в Париж сестру. Ковалевская с ней и с другими русскими женщинами, знакомыми по Петербургу, такими, как Екатерина Григорьевна Бартенева, дежурила в госпиталях Монмартра. Словно во сне, видела она трагические сцены. На улицах рвались бомбы, в госпиталь приносили все новые жертвы остервенелых врагов Коммуны. Страха она не испытывала. «Только при каждом разрыве бомб сильнее билось сердце и где-то в глубине души вспыхивала радость, что судьба позволила и мне, кабинетной ученой, принять участие в событиях мирового значения», — рассказывала она потом своим друзьям.

Пусть не в России взял народ в свои руки судьбу государства, французская Коммуна отзовется и на русских делах! На баррикады Парижа стекались все те, кто не мог дышать тюремным воздухом своей родины, — поляки, русские, венгры, итальянцы, австрийцы, американцы. Венгр Франкель был одним из выдающихся политических руководителей Коммуны. Елизавета Дмитриева возглавила женский батальон, боровшийся с версальцами, ворвавшимися в Париж. Недаром вожди польских повстанцев Ярослав Домбровский и Валерий Врублевский, командовавшие войсками Коммуны, говорили французам, что в Париже идет битва «за вашу и нашу свободу».

И еще ближе, дороже стала Ковалевской бесценная сестра, которую она недавно осудила за брак по любви как за измену «делу».

Ковалевские вернулись в Берлин 12 мая. А через несколько дней Коммуна пала. Париж был взят версальцами. Французская буржуазия пришла к власти при поддержке прусского «железного канцлера» Бисмарка и фельдмаршала Мольтке. Тьер и генерал Галифе объявили «кровавую неделю» расправы с коммунарами. Революционных парижан хватали в домах, на улицах и убивали без суда.

Жаклара, начальника войск Монмартра, сражавшегося на баррикадах до последних минут Коммуны, и жену его, известную своей многосторонней деятельностью, версальцы искали с особым

ожесточением. Было расстреляно несколько человек, принятых за Жаклара.

Анна Васильевна сообщила было сестре, что она с мужем успела спастись, но через день Жаклар был арестован.

И снова Ковалевские поехали в Париж. По дороге они прочитали в газетах, что арестована и Анна Васильевна. Известие оказалось неверным: полиция действительно охотилась за ней, но схватила ее друга, писательницу Андре Лео. Анна Васильевна сумела укрыться в надежном убежище.

С большим трудом удалось Ковалевским разыскать преследуемую коммунарку и помочь ей бежать в Гейдельберг. Владимир Онуфриевич узнал, где содержится Жаклар, добился разрешения на свидание с ним. Жаклар сидел в тюрьме в невыносимых условиях: над ним и его товарищами тюремщики нагло глумились. Заключенных раздевали донага, привязывали к столбу и избивали шомполами, заставляли выполнять самые грязные, унижительные работы.

Жаклар сказал Ковалевскому, что его сошлют скорее всего на каторгу в Новую Каледонию, куда отправляли коммунаров независимо от пола и возраста.

Софья Васильевна не сомневалась, что Анна последует за мужем, а так как одну ее нельзя было отпустить в тяжелый путь, то она решила ехать с сестрой в место ссылки Жаклара. Против этого плана восстал Владимир Онуфриевич. Он считал, что Софье Васильевне нецелесообразно оставлять занятия до получения докторского диплома. Он сам проводит Анну Васильевну, а Софья приедет в Новую Каледонию после экзамена.

«Видишь ли, дорогой друг мой, — писал Владимир Онуфриевич брату Александру, — какой странный оборот приняли дела; но иначе, рассуди строго, поступить невозможно. Софа и Анюта стали мне совсем родными, так что разлучиться с ними мне будет невозможно».

На такую жертву мог решиться только истинный друг, любящий человек. Так и восприняла намерение Ковалевского Софья Васильевна, растроганная до глубины души.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ КОВАЛЕВСКОГО

Жертва не понадобилась: в Париж прибыли Василий Васильевич и Елизавета Федоровна Крюковские. 7 октября был устроен побег Жаклара из тюрьмы. Снабдив зятя паспортом Владимира Онуфриевича, Крюковские отправили беглеца в Цюрих, где он встретился с Анной Васильевной. Ковалевский проводил Крюковских и Софью Васильевну до Гейдельберга и тут же, к удивлению родителей и горькому недоумению жены, удалился в Мюнхен.

Софья Васильевна не понимала, что происходит с Владимиром Онуфриевичем, затаила горе и с молчаливым упорством продолжала работать, как бы защищая свое право на занятия математикой, а Ковалевский продолжал поиски «главной темы» в его науке.

На первых порах он мечтал об экспедициях и сборе материалов. Но, познакомившись с коллекциями разных музеев, написал брату, что «материалу везде набрано страшная масса, потому что на это способен каждый дурак, но нет, решительно нет людей, которые бы сделали над ним хорошие работы». Ковалевский много читал, изучал кристаллографию и минералогию, различные отрасли геологии, палеонтологии и зоологии, искал среди множества научных вопросов те ведущие, решение которых помогало бы осветить эволюцию живого мира. Попутно его внимание привлекло несовершенство стратиграфической геологии, изучающей слои земной коры в исторической последовательности. Эта отрасль геологии, на его взгляд, была в то время «так бесплодна и мало изучена», что Владимиру Онуфриевичу хотелось «заняться сравнительным изучением описанных формаций всех частей света, чтобы поработать над синхроничностью формаций на разных материках».

Он пришел к выводу, что установленные наукой периоды «повторялись сходно по всей земле», а «вопрос об одновременности геологических фаун на всей земле совсем почти не тронут». Чем больше он изучал разделы науки, тем ближе подходил к палеонтологии млекопитающих. «Я хорошенько не могу еще определить того тесного направления, в котором буду работать, — сообщил он Александру Онуфриевичу в марте 1871 года, — быть палеонтологом исключительно по позвоночным мне иногда и хочется, но когда подумаешь, какая ужасная сушь и скука все мелочи по остеологии, то поневоле немного страшно становится. Чисто стратиграфическим геологом я не буду, это школа,

подлая, и ее надо не только не размножать, а стараться уменьшить. Остается еще одно направление — зоологическо-географическое, и оно меня очень привлекает по тому множеству работ, которые можно сделать в этом направлении».

Время, когда он выказал наибольшее «пренебрежение» к Софье Васильевне, было порой самого интенсивного труда Владимира Онуфриевича. В беспокойной парижской жизни после разгрома Коммуны ему пришла идея заняться преимущественно ископаемыми позвоночными. «Только тут мы можем сделать что-нибудь разумное... все это даст и даже отчасти дает нам разумная палеонтология с дарвинизмом; до сих пор она положительно не существовала, и мне кажется, это поле — очень благодарное для будущего пятидесятилетия», — писал Ковалевский брату, сумев не только выбрать наиболее важный раздел исследования, но и ясно представить значение его для всего направления науки.

Охваченный нетерпеливым желанием поскорее начать работу, Ковалевский уехал в Иену и засел за докторскую диссертацию. Он чувствовал, что это исследование могло стать «одною из главных опор дарвинизма».

И действительно, оно принесло молодому русскому ученому громкую славу преобразователя палеонтологической науки.

В марте 1872 года Владимир Онуфриевич получил в Иене докторский диплом. Крупнейшие ученые Европы признали диссертацию важнейшей палеонтологической работой последних двадцати пяти лет, после которой все дальнейшие исследования должны измениться в соответствии с выводами русского палеонтолога.

Знаменитый австрийский геолог Зюсс пригласил Ковалевского читать лекции в Вене. Но Владимир Онуфриевич торопился осуществить множество исследовательских планов, а затем вернуться в Россию и, выдержав магистерский экзамен, работать на родине.

Перед поездкой во Францию и Англию, нужной для его исследований, он навестил Софью Васильевну, не сказав ей ничего о своих намерениях.

Еще до этого Владимир Онуфриевич на вопрос брата об отношениях с женой ответил: «Я Софу чрезвычайно люблю, хотя не могу сказать, чтобы я был, что называется, влюблен; еще вначале это как будто развивалось, но теперь уступило место самой спокойной привязанности. Во время нашей жизни я, конечно, если бы очень хотел этого, мог бы быть ее мужем, но решительно всегда боялся этого по многим причинам; во-первых, уже потому, что как-то нехорошо, сойдясь так, как мы сошлись, и заключивши брак по надобности, вдруг перешли бы в настоящий; я как будто бы

эскамотировал (получил хитростью) бы себе жену, и это мне неприятно; во-вторых, Софа, по-моему, решительно не может быть матерью, это ее решительно zugrunde richten (погубит); она и сама боится этого ужасно. Это оторвет ее от занятий, сделает несчастною... В-третьих, я сам не могу взять на себя ответственность быть мужем и отцом, особенно с таким человеком, как Софа. Я буду дурным в обоих отношениях... Кроме того, занятия наши так разны; для нее не существует на свете никакой другой науки, кроме математики: все прочее ей ни на каплю не симпатично; а это такое обстоятельство, которое непременно разведет людей, как только каждый из них любит искренно свой предмет. Ей нужно общество математиков, я буду в нем лишний и смешон, не зная ее и не интересуясь ею...

Вообще я не думаю, — пророчески заключил он, — чтобы она была счастлива в жизни; в ее характере есть много такого, что не даст ей добиться счастья; разве попадет на удивительно хорошего человека и притом очень талантливого, а это такая редкость, что рассчитывать на нее трудно...»

Ненормальные отношения с фиктивной женой его тяготили. Он затосковал без семейного очага, каким обладал его брат Александр, имевший преданную, занятую только мужем и детьми Татьяну Кирилловну. Наблюдая в Лондоне семейную жизнь, тот «happy home» (счастливый дом), который так хорошо устраивают англичанки, Владимир Онуфриевич писал брату, что лучше не думать об этом, по крайней мере до тех пор, пока какими-нибудь законными мерами они не будут оба свободны. Он даже предпринял кое-что для этого: советовался с Анной Васильевной и даже намекнул Софье Васильевне о своем желании дать ей развод, приняв на себя вину, хотя по церковным законам это лишало его права на новый брак.

«Сейчас получила ваше письмо, — отвечала она ему, — и не стану говорить вам, как оно огорчило меня, потому что оно ведь с этой целью написано. Только вы совершенно ошибаетесь, если думаете, что я имею какие-либо «приказания» или «распоряжения» дать вам; я думаю, что совершенно лишнее говорить вам, что мне никогда в голову не может прийти воспользоваться теми великодушными предложениями, на которые tacitement (молчаливо) намекаете в последних письмах, и что если я когда-нибудь верну себе мою свободу, о которой, впрочем, менее сокрушаюсь, чем вы думаете, то это будет моими собственными силами и притом главным образом с целью вернуть вам вашу».

Между тем над его головой сгустились черные тучи. Незадолго до поездки в Россию Ковалевский познакомился с диссертацией молодого

доктора Одесского университета И. Ф. Синцова и нашел, что она «целиком переписана». Брат его Александр Онуфриевич, хорошо знавший синцовский нрав, просил Ковалевского не высказывать вслух свое мнение, так как экзаменоваться на магистра придется у Синцова, который, возможно, захочет свести счеты.

Но Владимир Онуфриевич в интересах науки не считал возможным скрывать свой взгляд на работу Синцова, которую «ничем другим, как вздором», назвать не мог. Слухи о таком отзыве Ковалевского дошли до Синцова и вызвали у него злобу, на какую способны только мелкие, завистливые душонки.

Синцов подлейшим образом отомстил Ковалевскому: оскорбительными придирками на экзамене он добился того, что удовлетворительно справившийся с испытаниями Владимир Онуфриевич вынужден был потребовать вторичной проверки. Синцов этого-то и добивался. Он подготовил заранее каверзные вопросы и провалил основателя эволюционной палеонтологии, признанного в Европе, именно по этому предмету — специальности Ковалевского. Такой прием ошеломил Владимира Онуфриевича.

Ученый снова отправился за границу, попросил Зюсса в Вене и К. Циттеля в Мюнхене, как известных профессоров, принять от него экзамены по палеонтологии и геологии. И тот и другой подвергли Ковалевского добросовестному опросу и выдали ему свидетельства. Зюсс писал, что Ковалевский выказал такие превосходные познания, приобрел своими трудами такую хорошую репутацию, что профессор считает молодого собрата по науке «полностью и в высшей степени способным занять профессуру по этим отраслям в высшей школе». А Циттель, много общавшийся с Ковалевским в сфере научных занятий, «убедился в том, что доктор Ковалевский не только обладает основательными познаниями в обеих названных дисциплинах, но и в выдающейся степени способен к научным исследованиям».

Приложив эти отзывы, Владимир Онуфриевич напечатал разоблачительную «Заметку о моем магистерском экзамене». Но даже его русские ученые друзья не встали на защиту оскорбленного Ковалевского: они были очень далеки от палеонтологии и не могли оценить выдающихся открытий исследователя. А враги продолжали порочить его, доказывая экзаменационными листками... «безграмотность» претендента на магистерскую степень.

...Ничего не подозревая о мытарствах Ковалевского, Софья Васильевна проводила отпуск в Палибине. Родители деликатно

предоставили ей свободу и уединение, ни о чем не расспрашивая.

Как в дни юности, бродила она по разросшемуся парку и бору, дышала густым ароматом хвои, нагретых трав, цветов, слушала милые, полузабытые голоса невидимых лесных птиц, таинственные шорохи и шелест в вершинах деревьев. Уходили тревоги. Родная земля словно переливала в ее измученное тело свои силы.

В этот приезд Софья Васильевна заметила, что ее брат Федя, красивый избалованный юноша, очень похожий на нее лицом и голосом, проявляет незаурядный математический талант. Она охотно занималась с ним и уговорила его поступить на физико-математический факультет.

ДИПЛОМ ДОКТОРА

Вернулась Софья Васильевна в Берлин в октябре не застенчивой девушкой, а уверенной в себе женщиной, с острым, независимым умом. И однажды даже отважилась рассказать Вейерштрассу правду о своих отношениях с Владимиром Онуфриевичем.

На следующее утро профессор написал ей: «Сегодня я много думал о вас, это и не могло быть иначе... То, что я хочу вам сказать, скорее тесно связано с вашими научными стремлениями. Однако я не уверен, чтобы при той милой скромности, с которой вы судите о том, что вы способны совершить уже теперь, вы были бы склонны согласиться на предлагаемый мною план. Но обо всем этом лучше переговорить устно. Поэтому, несмотря на то, что после нашего последнего и так сильно сблизившего нас свидания прошло только несколько часов, я прошу позволения снова навестить вас сегодня после обеда на часок и полностью высказаться».

Речь шла о получении докторского диплома. Вейерштрасс лучше Софьи Васильевны мог судить о глубине ее научных познаний. Трудность достижения этой цели состояла в том, что претендентом на докторскую степень была женщина. Как женщина, Ковалевская должна была создать действительно нечто выдающееся, чтобы ученые мужи решились нарушить закрепившиеся установления и присудили ей диплом доктора.

Осенью 1872 года профессор Вейерштрасс наряду с другими вопросами занимался вариационным исчислением — одной из многих тем его университетских лекций. Девять раз возвращался он к нему и достиг большой простоты и ясности в изложении. Он делился с ученицей своими мыслями, примером учил высокой добросовестности ученого — не торопиться, пока задача не исследована полностью.

Особенность метода работы Вейерштрасса именно в этом и заключалась. Он несколько раз менял редакцию каждого труда, прибегая к разным приемам и рассуждениям, чтобы достигнуть полной ясности, и Софья Васильевна старалась следовать ему в своих занятиях.

Вейерштрасс был доволен ученицей, говорил о ее крупных научных успехах, называл замечательной женщиной.

Софья Васильевна не только прошла школу высшего анализа под руководством одного из крупнейших ученых ее времени, не только изучила важнейшие математические теории и выдающиеся труды физиков, механиков, теоретиков-математиков, но и начала писать самостоятельную

работу — «О приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к интегралам эллиптическим».

Это была первая проба. По отзыву Вейерштрасса для этой темы требовался не столько высокий творческий дар, сколько основательное знакомство с теорией абелевых функций, относящейся к числу труднейших теорий математического анализа.

Посредством интеграла — предела, к которому стремится сумма бесконечно большого числа бесконечно малых слагаемых, — вычисляют площади фигур, ограниченных кривыми линиями, объемы, длины дуг и т. п. При вычислении часто могут встретиться абелевы интегралы первого, второго, третьего и более высоких рангов, соответственно их увеличивающейся сложности. Вопрос об упрощении абелевых интегралов второго ранга Вейерштрасс предложил когда-то своему талантливому ученику Кенигсбергеру. Софья Васильевна должна была заняться более сложной задачей — интегралами третьего ранга. И она с ней блестяще справилась.

Свою работу Ковалевская с одобрения учителя собиралась послать геттингенскому профессору Клебшу, прославившемуся употреблением абелевых функций в общей теории кривых и поверхностей. Она очень ценила и любила этого ученого. Но в 1872 году Клебш умер. Ковалевская была так огорчена, что не могла смотреть на свое исследование, и занялась другой трудной темой — из астрономии, «Добавлениями и замечаниями к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна».

Вопрос о форме небесных тел имел очень важное значение при изучении устойчивости движения планет в пору их пребывания в виде расплавленной жидкой массы.

Знаменитый французский математик, физик и астроном Лаплас в своем труде «Небесная механика», рассматривая кольцо Сатурна как совокупность нескольких тонких, не влияющих одно на другое жидких колец, определил, что поперечное его сечение имеет форму эллипса. Но это было лишь первое, очень упрощенное решение. Ковалевская задалась целью исследовать вопрос о равновесии кольца с большей точностью. Она установила, что поперечное сечение кольца Сатурна должно иметь форму овала. Ее работа позднее была изложена в курсе небесной механики французского ученого Тиссерана, а основной результат включен в курс гидродинамики Ламба.

Несмотря на одобрение учителя, считавшего, что каждое из этих сочинений достойно докторской диссертации, Софья Васильевна задумала сделать еще одно исследование из области дифференциальных уравнений.

Оно касалось труднейшей области чистого математического анализа, имеющего в то же время серьезное значение для механики и физики. Задача привлекла Ковалевскую сложностью и практической важностью. Ученица пыталась совершить самостоятельный полет, пробовала крепость своих крыльев. Легких путей она никогда не искала.

В это время, после тяжелой неудачи в России, Владимир Онуфриевич написал Ковалевской ласковое письмо. С ясной высоты научных интересов ей показались мелкими и пустыми все личные недоразумения. Вновь возникли теплые воспоминания о светлой дружбе с Ковалевским. «...Когда я вспоминаю о вас таким, как знала вас в первые годы нашего знакомства, и о всем дорогим прошлым, с которым вы так тесно связаны, мне приходит неотразимое желание опять назвать вас братом. Но мой «брат», такой, как он остался в моих воспоминаниях и которого я очень сильно любила, не имеет ничего общего с этим новым Владимиром Онуфриевичем, который не может оторваться от своей работы, чтобы повидаться со мной дня два после года разлуки, и который так завален письмами от Дарвинов, Гексли и прочих знаменитых людей, что в течение недели не может найти минуты ответить на мое письмо».

У Ковалевского эти минуты нашлись. Письма его были теплы. Софья Васильевна, знавшей особенности характера Владимира Онуфриевича, подумалось даже, а не постигла ли его какая-нибудь неудача с магистерским экзаменом, чего она никак не могла допустить всерьез. На это шутливое предположение Владимир Онуфриевич ответил рассказом о своих мытарствах. Боль за друга, горячее сочувствие ему заслонили, отодвинули на задний план все личные обиды. Софья Васильевна пыталась облегчить Ковалевскому — самолюбивому и мнительному — возможность сближения. Она известила его, что после тяжелой болезни по совету врачей собирается в Швейцарию, к сестре, ожидающей ребенка, куда приедут и родители посмотреть первого внука. В Цюрихе можно было бы встретиться, так как Владимир Онуфриевич хотел совершить геологический «объезд» районов Южной Франции и Италии, посетить Лозанну, а это совсем не так далеко от Цюриха. Но Владимир Онуфриевич ответил на это предложением повидаться с ним в Мюнхене, на вокзале, между двумя поездами. Софья Васильевна не могла представить себе этого разговора, который должен был стать решающим для их жизни, в обстановке вокзала, в присутствии Юлии Лермонтовой!

«Хотя вы и написали мне, — пошутила Софья Васильевна, отвечая Ковалевскому, — что «ужасно как переменялись», но в одном вы, право, остались старым: это в умении придумать все как можно вычурнее и так,

как никто другой бы не придумал. Ваше письмо в самом деле очень милое, и я пишу под влиянием очень дружеского настроения к вам, поэтому мне очень не хочется отказывать вашей просьбе, да я и не отказываю вполне, а только прошу вас подумать самому, до какой степени это нелепо». Софья Васильевна предлагала встретиться в Берлине, где она будет одна, где в театре играет «его Рабе» и поет та итальянская певица, спутница Арто, которая так понравилась ему прошлой весной.

Софья Васильевна ничего не забыла из тех приятных минут, какие выпадали до непонятной размолвки, она готова была все забыть и не скрывала желания внести определенность в их отношения. И из Цюриха она сообщала о том, что ее тяготят допросы родных по поводу «ненормального положения». Это письмо было послано 5 мая, а уже 9-го Владимир Онуфриевич извещал брата, что отправляется на юг Франции, проживет в Тулузе три недели, а возможно и месяц, «если Софа даст отпуск», а Софья Васильевна в следующем своем письме все еще просила сказать, увидится ли он с ее родными в Цюрихе, то есть захочет ли он побывать в Цюрихе, пока родители там, так как скрывать от них, что он за границей, решительно нелепо: «они это время до такой степени милые с Анютой и со мной, что я положительно не намерена кормить их баснями; мне и без того в разговорах с ними постоянно приходится краснеть, когда разговор коснется какой-нибудь из множества басен, которые мы им совсем ненужным образом наврали».

Владимир Онуфриевич пообещал приехать в Цюрих, больше не расставаться с Софьей Васильевной, и она, наконец, смогла освободиться от гнета горьких раздумий о своей судьбе. В ожидании мужа она отдыхала, веселилась, заинтересовалась одаренным учеником Вейерштрасса Германом Амандусом Шварцем. Он преподавал в Цюрихском политехникуме, успел многое сделать в исследовании минимальных поверхностей, усовершенствовал метод своего учителя. Опередив на несколько дней Софью Васильевну, он напечатал работу, аналогичную той, которую она хотела сдать в печать. Не значило ли это, что у них было нечто общее в направлении научных стремлений? А она так мечтала о подобной дружбе.

Незадолго до отъезда Ковалевской из Берлина профессор Шварц просил Вейерштрасса передать ей, что одна ее соотечественница, Елизавета Федоровна Литвинова, которой он хотел бы быть полезен, предпочла ему другого профессора — Мекета.

— Очень жаль, если она не воспользуется готовностью Шварца, — сказал Вейерштрасс.

И Софья Васильевна в тот же день написала сестре в Цюрих, чтобы она разыскала Литвинову и сообщила ей все это. Для Ковалевской дорога была каждая женщина, вступающая на научный путь.

Литвинова, впоследствии одна из первых русских женщин — докторов математики, у которой училась Надежда Константиновна Крупская, услышала о Ковалевской еще в Петербурге, в 1868 году, как об очень энергичной девушке, которая, несмотря на свою юность, прошла курс мужской гимназии и занимается высшей математикой. С тех пор Ковалевская сделалась для Литвиновой, как и для всех желавших учиться девушек, той светлой точкой, к которой устремлялись их взгляды. Елизавету Федоровну математика очень привлекала. Овдовев, Литвинова решила учиться и уехала в Цюрих.

— Вы за что же обидели любимого ученика Вейерштрасса — Шварца и предпочли ему Мекета? — спросила Анна Васильевна Жаклар, встретившись с Елизаветой Федоровной.

— Я записалась к Мекету потому, что собираюсь учиться в Париже, — ответила Литвинова.

— Но Софа вам этого не посоветует, — прервала ее Аиия Васильевна. — Она говорит, что начинать учиться надо у немцев. По ее словам, немцы с особой любовью относятся к своим ученикам, и в этом отношении никакие другие профессора в мире не могут с ними сравниться. Вам, как и Софе, необходима немецкая глубина.

Когда Литвинова заявила Шварцу, что хочет познакомиться с его научными трудами, он предложил ей приходить к нему на дом для частных бесплатных занятий и спросил, почему именно теперь ей захотелось познакомиться с его лекциями. Она объяснила ему все откровенно, как было. При имени Ковалевской глаза Шварца заблестели, и он воскликнул:

— О, это замечательная женщина! Мне так много пишет о ее занятиях профессор Вейерштрасс. Недавно он прислал мне свои лекции об абелевых функциях, составленные ею! Вы еще не имеете о них понятия. Это труднейший предмет в математике, и немногие мужчины отваживаются им заниматься...

И теперь, оказавшись в Цюрихе, Софья Васильевна познакомилась с Литвиновой, настояла, чтобы студентка-математик приходила к ней ежедневно.

Как-то Литвинова поинтересовалась, скоро ли Софья Васильевна собирается представить докторскую диссертацию и в какой университет. Ковалевская унылым тоном ответила:

— Я не тороплюсь сделаться доктором, так как не предвижу для себя

возможности профессорской деятельности...

Она не обольщала себя радужными надеждами: горький опыт Владимира Онуфриевича был еще свеж в памяти. Если он, мужчина, человек, в практические способности которого она так верила, потерпел неудачу, на что может рассчитывать женщина, впервые ступившая на запретный путь?

Через несколько дней Литвинова встретила у Ковалевской с Владимиром Онуфриевичем. Он только что прибыл из Англии, сказал, что увозит жену в Лозанну, где, он надеется, она хорошо отдохнет.

— Что же мне передать Шварцу? — спросила Литвинова Софью Васильевну. — Вы не дали ему знать о своем приезде, но ведь он о нем узнал и все ждал вашего появления или приглашения.

— Передайте, что я сама заеду к нему на обратном пути в Берлин.

Дня за два до возвращения ее в Цюрих, где она после совместной поездки должна была дожидаться мужа, Шварц в разговоре с Литвиновой заметил:

— Хотелось бы мне хорошенько побеседовать с Ковалевской, чтобы самому убедиться в глубине ее познаний.

В это время у Софьи Васильевны еще не было напечатанных трудов. Когда Литвинова сообщила ей о желании Шварца, Ковалевская покраснела и заявила:

— Я пойду к нему сама, завтра же, непременно.

— Но ведь ты, Софа, еще не успела отдохнуть с дороги. Посиди дома, соберись с мыслями, — встревожилась сестра.

— И не ударь лицом в грязь? — насмешливо подхватила Ковалевская.

За этими немногими словами молодой ученой Литвинова почувствовала у нее такое сознание своей силы, что не сомневалась в победе.

На другой день Софья Васильевна направилась к Шварцу.

Часа через три, не заходя к сестре, Ковалевская вошла в комнату Литвиновой — с тем особенным, благоговейно торжественным видом, какой бывает иногда у людей, только что видевших чудеса природы. Она уселась на диване и, помолчав несколько минут, сказала, что ей очень не хочется уезжать из Цюриха. Возникло желание поработать вместе со Шварцем. У них оказались совсем одинаковые планы!

Ковалевская виделась со Шварцем еще несколько раз. После каждой беседы с ним о математике у нее крепло желание остаться в Цюрихе. Она попыталась даже найти привычный предлог покинуть на время своего учителя: не будет ли она для него обузой теперь, когда он назначен

ректором университета?

Но профессор ответил: «Если говорить совершенно серьезно, то, милая и дорогая Соня, будь уверена, что именно моей ученице я обязан тем, что обладаю не только моим лучшим, а единственным действительным другом. Поэтому, если ты и в будущем сохранишь то же отношение ко мне, которое проявляла до сих пор, то ты можешь быть твердо уверена, что я всегда буду преданно поддерживать тебя в твоих научных стремлениях».

И она не решилась лишиться этого благородного человека своей преданности и внимания, как бы ни тянуло ее к другим людям науки.

— Вы ставите Шварца выше Вейерштрасса? — спросила ее Литвинова.

— Ах, вовсе нет, — произнесла Ковалевская. — Но с идеями Вейерштрасса я уже освоилась, а здесь, знаете ли, меня привлекает прелесть новизны. Но, разумеется, я всегда сумею с собой справиться и буду жить там, где должна.

На вопрос Литвиновой, чем же обуславливается это «должна», Софья Васильевна ответила:

— Моим назначением, или, если хотите, главной целью в жизни. Я чувствую, что предназначена служить истине — науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит служить справедливости. Я очень рада, что родилась женщиной, так как это дает мне возможность одновременно служить истине и справедливости.

На следующий день приехавший в Цюрих Ковалевский увозил жену в Берлин. Литвинова и супруги Жаклар провожали их. Владимир Онуфриевич не мог сдержать радости, что фальшивые отношения его с Софьей Васильевной кончились. Но лицо Софьи Васильевны поразило Литвинову выражением какой-то сознательной покорности и появившейся между бровями глубокой морщинкой...

Зиму 1873 и весну 1874 года Ковалевская посвятила исследованию «К теории дифференциальных уравнений в частных производных». Она хотела представить его как докторскую диссертацию.

Вейерштрасс считал, что задача по своей сложности позволит ученице проявить и математическую образованность и способность к исследовательской работе. Что же касается результата, то, по мнению учителя, вряд ли он может особенно отличаться от тех, что известны из теории обыкновенных дифференциальных уравнений.

К великому изумлению Вейерштрасса, Софья Васильевна нашла совершенно иной путь решения. Она с большим искусством и тактом преодолела все трудности, возникавшие из-за несовершенства

существовавших в этом вопросе приемов вычисления, и, ловко придумав постепенность перехода от более простого к более сложному, мастерски привела все сложное к простому и обнаружила некоторые особые случаи, о которых математики даже не подозревали.

Работа Ковалевской вызвала восхищение ученых. Правда, позднее, когда крупный французский математик Дарбу тоже представил свой труд о дифференциальных уравнениях в частных производных, в Парижской академии установили, что аналогичное сочинение, но более частного характера, еще раньше Ковалевской написал знаменитый ученый Франции Огюстен Коши.

Ни Вейерштрассу, ни его ученице это исследование Коши, оставившего до восьмисот произведений по различным отделам чистой и прикладной математики, не было известно. Коши при своей огромной продуктивности, выдвигая богатые идеи, не всегда успевал изложить их полно и ясно. Не отличалось полнотой и это сочинение. Софья Васильевна же и по характеру и по воспитанию, полученному у Вейерштрасса, стремилась к предельной ясности.

В своей диссертации она придала теореме совершенную по точности, строгости и простоте форму. Задачу стали называть «теорема Коши — Ковалевской», и она вошла во все основные курсы анализа. Большой интерес представлял приведенный в ней разбор простейшего уравнения (уравнений теплопроводности), в котором Софья Васильевна обнаружила существование особых случаев, сделав тем самым значительное для своего времени открытие. Недолгие годы ее ученичества кончились.

Профессор Вейерштрасс, сидя в маленькой комнате возле заваленного книгами и бумагами стола, смотрел на побледневшее, осунувшееся, как после болезни, лицо Софьи Васильевны. Она вполне обоснованно претендовала на докторскую степень. Никогда еще не находил профессор у слушателей такого серьезного проникновения в его идеи, никогда еще не имел такого отзывчивого товарища для научных мечтаний. Как часто подхватывала эта юная женщина его едва осознанную мысль и неожиданно облекала ее в отчетливую и верную форму, как часто своими вопросами заставляла направлять взгляд на предметы, не интересовавшие его прежде!

Не многим выпадает счастье встретить на пути молодое существо, так понимающее и разделяющее самые смелые, самые дерзновенные замыслы учителя. Еще бы год-два побыть ей рядом со старым ученым! Он успел бы открыть ученице свои сокровенные размышления и выводы, которые, быть может, без нее так и не сумеет никогда изложить на бумаге!

Но Ковалевская рвалась на родину. Она не могла больше дышать

воздухом чужой страны.

— Да, а где же я буду защищать диссертацию? — вдруг спросила Софья Васильевна. — Мы так и не подумали с вами ни разу о главном. В Берлине невозможно. Берлин — это вы... Клебша нет. Все остальные... Да они заморозят меня своим пренебрежением к женщине, вздумавшей вторгнуться в область мужской науки.

И в самом деле, увлеченные первыми творческими победами, учитель и ученица совсем забыли о тех неприятных формальностях, какими непременно затруднят прием женщины в число служителей науки.

Вейерштрасс живо представил себе застенчивую, совершенно отвыкшую от общества ученицу перед напыщенно важным ареопагом своих ученых коллег.

Да, они способны заморозить даже ее неотразимое красноречие. К тому же, владея научным немецким языком, Ковалевская в разговорном без церемоний обращается с родами и падежами, перемешивает немецкий с французским и английским. О, какой гнев ученых филистеров может вызвать ее оригинальная речь!

— Ты сама нигде не будешь защищать ее, — решительно произнес он. — Есть пункт, по которому иностранцам могут присуждать степень в их отсутствие. Ее и присудит тебе Геттингенский университет. Думаю, трех таких работ, как твои, достаточно, чтобы простить тебе принадлежность к слабому полу!

Профессор написал в Геттингенский университет, что Ковалевская, обладая знаниями в различных областях математики, представляет для защиты несколько работ, каждую из которых сам Вейерштрасс принял бы как диссертацию. Он считает справедливым, если степень присудят без личной защиты, ибо имел не много учеников, которых можно сравнить с Ковалевской по способностям.

Геттингенский университет ответил, что на факультете возникло сомнение: можно ли присудить Ковалевской ученую степень, если она не занимает никакой должности и даже не добивается ее?

Вейерштрасс указал, что подобные случаи в Геттингенском университете были; заочного же присуждения он просит не потому, что Ковалевская слаба, — она редкостно сильна, но застенчива, и при ее необычайной умственной подвижности ей трудно выражать свои мысли на чужом языке. Он обращает внимание университета на решимость Ковалевской изучать математику и принесенные ею жертвы: «Ради этого она отказалась от всего, что обычно прельщает молодую женщину, и осуществила свое желание с энергией, которую трудно совместить с ее

вполне женственной натурой».

А Софья Васильевна отправила обязательную автобиографию на латинском языке декану математического факультета, приложив «приличное случаю» объяснение.

«Мне было не легко решиться на шаг, который должен вывести меня из состояния неизвестности, в котором я до сих пор находилась. Только одно желание доставить удовольствие близким мне людям, — писала она, кривя душой, — желание дать им настоящее понятие о себе, убедить их в том, что я действительно серьезным образом и небезуспешно занималась математикой, которую изучала исключительно по любви, без всяких посторонних целей, заставило меня отбросить в сторону все колебания...»

Она не требовала себе скидки как ученая, почему же нужно вымаливать право заниматься наукой?!

— Если факультет откажет в заочном присуждении степени Ковалевской, — наступал на университет Вейерштрасс, — то моя ученица требует, чтобы объяснили этот отказ не тем, что она женщина.

Долго тянулся спор между профессорами.

Но сочинения молодого математика-женщины уже стали известны авторитетным ученым и вызвали лестную оценку. Отважная русская показала, что она способна не только понимать самые трудные разделы высокой науки. Ее первые работы свидетельствовали о творческой силе несомненного таланта.

И, склоняясь перед бесспорными научными достоинствами представленных работ, Совет Геттингенского университета присудил Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств «с наивысшей похвалой».

Прощаясь с Софьей Васильевной, Вейерштрасс преподнес ей великолепный синий бархатный футляр для диплома, стоившего обладательнице его нескольких лет аскетически суровой жизни и напряженнейшего труда.

В ПОИСКАХ МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ

*Ты знаешь в писанье суровое слово:
Прощенье замолит за все человек,
Но только за грех против духа святого
Прощения нет и не будет вовек.*

С. Ковалевская

ТЩЕТНЫЕ ПОПЫТКИ

На другой день по приезде Ковалевских в Палибино, где уже находилась Анна Васильевна с мужем и сыном, собрались родные и знакомые, чтобы поздравить женщину-доктора с успехами в науке. В бывшей классной комнате, возле висевшей на стене огромной карты России, которую в детстве вычертила Софья Васильевна, с интересом рассматривали они диплом — большой лист блестящей белой бумаги с напечатанным золотом латинским, по образцу и форме средневековых документов, текстом и длинный круглый бархатный футляр — подарок Вейерштрасса.

Ковалевская отдыхала в кругу родных после тяжелых лет учения. По семейной традиции в день именин Елизаветы Федоровны готовились дать любительский спектакль — одноактную комедию Эдмонда Абу «Убийца», но перенесли его на день именин молодой ученой. 17 сентября Софья Васильевна в роли бойкой служанки вызывала рукоплескания и заставляла зрителей хохотать. Даже Ковалевский превзошел самого себя, играя садовника.

После спектакля Василий Васильевич открыл бал. Софья Васильевна предложила первую кадрили Малевичу, который жил теперь на покое у Крюковских. А часа в три ночи гостей пригласили в большую столовую первого этажа.

За ужином Малевич попросил слова.

— Женский вопрос, — говорил он, — поднятый в прошедшем десятилетии, хотя и разделил наше общество на два противоположных лагеря, но вместе с тем дал сильный толчок и направил некоторые энергические характеры наших женщин к самостоятельному труду и к достижению тех или других результатов в области науки. Россия насчитывает уже десятки почтенных тружениц, полезных своим согражданам тою или другою специальностью.

Но вот появилась юная женщина — с твердою волею и непоколебимою решительностью преследовать цель в высшей степени похвальную, но весьма трудно достигаемую. Она оставляет удовольствия света, жертвует лучшими годами жизни женщины, не обращает внимания на потерю физических сил и с редкою энергиею изучает предмет свой в одном из лучших германских университетов...

Геттингенский университет присудил ей высшую ученую степень. Со

времени основания этого университета такую степень, господа, получила только вторая женщина. Первая была дочь историка нашего, академика Шлецера, известная ученая Доротея Шлецер, в замужестве Роде...

Приветствую вас, Софья Васильевна, поставленную на высокую пьедесталь градации ученых, — закончил свою речь Малевич. — Приветствую вас от имени отечества как первую русскую женщину, достигшую высшей ученой степени в одном из самых трудных отделов науки.

Громкое «ура» покрыло последние слова Малевича. Гости поднялись и с бокалами в руках направились к виновнице торжества.

Давно не было так весело в Палибине, как этим летом, когда собралась вместе вся семья Крюковских. Две молодые девушки, когда-то мечтавшие о таинственном, неоглядном мире, теперь были взрослыми женщинами, узнавшими жизнь. То, что они испытали, не походило на мечты их юности, но было захватывающе интересно и содержательно.

Вечерами долго текла беседа в просторной гостиной. Попыхивая трубкой, внимательно слушал горячие речи дочерей Василий Васильевич. У него появилась мягкая, сочувственная терпимость человека, много знающего, понимающего, а подчас и разделяющего стремления молодых людей.

Софья Васильевна тесно сошлась с ним, приобрела в нем любящего, умного друга, с которым могла откровенно говорить обо всем. Времени для этого оставалось много.

Владимир Онуфриевич часто уезжал в Петербург по делам издательства, которыми он снова занялся. Анюта отдавалась заботам о муже и ребенке. Жаклар готовился быть преподавателем французского языка. Ученая-математик описывала мужу картинки палибинской жизни в рифмованных письмах:

...Как видишь, бес мой или муза из когтей
Но хочет выпустить совсем души моей.
Забив поваренную книгу, интегралы.
Магистерство и Коркина дифференцьялы,
Я рифмоплетствую, бешусь и каждый час
Душою уношусь раз десять на Парнас.

У нас покойно все, не ссоримся; друг другом
Довольны все пока... Полковница^[6] с супругом
Твердит весь день вокабулы, но ах! пока

Ему, как кажется, наука не легка.
Папашу Юрик обогнал, хоть это худо,
Но про него согласны все: он просто чудо!

За карты мы и Юлю^[7] нашу засадили
И всем премудростям молчанки научили.
Но к картам у нее, увы, талант плохой.
И от Анюты достается ей порой

21 сентября 1874 года Ковалевские уехали из Палибина в Петербург. Они поселились вместе с семьей Жаклар в 6-й линии Васильевского острова, в доме № 15, у тетушек Шуберт. Общее хозяйство позволило им сводить расходы до минимума.

Большое участие в судьбе молодых ученых принял Дмитрий Иванович Менделеев, друг Александра Онуфриевича. Он тепло относился и к Владимиру Онуфриевичу, а Софью Васильевну приветствовал как женщину, отважно добивавшуюся места в науке. Дмитрий Иванович навестил Ковалевских, как только они переехали в Петербург. Засиделся у них до полуночи, сражаясь с Софьей Васильевной по поводу значения математики, был очень мил, подкупал своей живостью, широтой взглядов и интересов. Но у Владимира Онуфриевича сложилось впечатление: Менделеев хорош в дружбе, а в ненависти он может быть беспощаден; иметь его своим противником «должно быть солоно».

Желая сразу ввести Ковалевских в круг петербургских ученых, Дмитрий Иванович дал в честь Софьи Васильевны обед, на который пригласил виднейших деятелей науки — математиков и нематематиков.

Хозяин любезно показывал Софье Васильевне свои «альбомы путешествий», где были аккуратно наклеены фотографии, картинки из журналов и его собственные зарисовки понравившихся мест, скульптур, зданий. Веселый, остроумный, он вовлекал в общую беседу своих гостей, сталкивая противников. Софья Васильевна до часу ночи яростно спорила с Пафнутием Львовичем Чебышевым о немецкой и русской математических школах и с известным минералогом и кристаллографом Акселем Вильгельмовичем Гадолиным, которым очень понравилась. Их дружбу она сохранила на всю жизнь.

Владимир Онуфриевич тоже вел оживленный разговор и с химиком Александром Михайловичем Бутлеровым и с «тетей Лизой» — женой профессора ботаники Андрея Николаевича Бекетова и произвел на всех

хорошее впечатление, «а то они вообразили по «пашквилью» (против Синцова), что я ругатель и дикий нигилист», — писал он брату.

Но доброе настроение Ковалевских было нарушено разговором о событии, оскорбившем русское общество.

Выдающиеся химики Николай Николаевич Зинин и его ученик Александр Михайлович Бутлеров, как члены Российской академии наук, решили ввести в академию Д. И. Менделеева, занявшего своими трудами бесспорное место в науке. Но гениальный ученый слыл «неблагонадежным». Он был нежелателен в императорской академии. И ловким ходом — голосуя вопрос не о Менделееве, а о предоставлении химикам одной из адъюнктских вакансий, на которую прочили Менделеева, — неприменный секретарь академии К. С. Веселовский сумел провалить кандидатуру великого ученого.

— Академия должна была бы отражать состояние русской науки в ее высшем развитии, соединять все первенствующие в России научные силы, — возмущался Бутлеров. — В академии постоянно есть вакантные места, словно бы за недостатком ученых, а русские натуралисты, имеющие на эти места право, остаются в стороне. Да вот Андрей Сергеевич Фаминцын... Восемь лет ждал он избрания на свободную кафедру ботаники. А Мечников, а Александр Онуфриевич Ковалевский, разве не могли бы они послужить славе русской академии? Увы, они русские, значит, не внушающие доверия. Для самодержавия академия с иностранцами — лучшая защита против вторжения нигилизма в науку.

— Не печальтесь, друзья, — примиряюще отвечал Менделеев на бурные филиппики прямого, неукротимого Бутлерова. — Надо работать. Посеянное на поле научном взойдет на пользу народную.

А как было проникнуть на это «поле научное» двум талантливым ученым — супругам Ковалевским? Степень доктора заграничных университетов соответствовала примерно русской степени кандидата наук. Мужчине она давала право преподавать в высшем учебном заведении, а после защиты магистерской и докторской диссертаций — даже занять кафедру. Но в Петербурге вакансий для геолога не было. В Москве, писал Ковалевский брату, освободившуюся кафедру предназначали «круглому дураку, пять лет пилившему какие-то кораллы и ничего не выпилившему». Софья Васильевна и вовсе могла претендовать лишь на место учительницы арифметики в младших классах женской гимназии.

— К сожалению, я не тверда в таблице умножения, — мрачно шутила Ковалевская.

Даже на подготовительных Аларчинских курсах она не нашла

применения: не оказалось слушательниц, знающих высшую математику. Да и позднее, когда в 1878 году открылись Бестужевские высшие женские курсы, ее, ко всеобщему негодованию, не пригласили читать лекции, хотя Ковалевская много потрудилась, как член комиссии по доставлению средств этим курсам.

Царские чиновники считали ученую «опасной нигилисткой».

И Менделеев и другие добрые знакомые советовали ей подождать: может быть, удастся добиться приглашения на Высшие женские курсы. Владимиру же Онуфриевичу настойчиво рекомендовали сдать магистерский экзамен.

Ковалевский начал готовиться. Снова нахлынули воспоминания об унижительной одесской истории. Томила безысходность. Измученный, подавленный неудачами, он не мог сосредоточиться, забывал прочитанное.

«Я только теперь, — писал он брату, — достаточно понял все трудности магистерского экзамена и по своей глупой привычке раскаиваюсь, что поехал на такое важное дело в Одессу, не имея ни одной напечатанной работы. Здесь мои дела стали далеко не хорошо. Вообще впечатление Петербург произвел на меня самое тяжелое. Никто моих работ не понимает и не может даже читать их, так что я не встречаю ни одной души, и все точно сговорились требовать со специалиста по палеонтологии — физику, минералогию, картографию и т. д., не обращая ни малейшего внимания на то, есть ли у него хорошие работы или нет».

Экзамен он все же выдержал, но и магистерская степень не дала Ковалевскому места в университете. Что же делать? Этот жизненно важный вопрос встал во всей трагической безнадежности. Софья Васильевна достала себе переводов на 700 рублей. А дальше как?

Владимир Онуфриевич задумал отправиться в Америку ловить черепах, так как кто-то из академиков сказал, что за это Академия наук может заплатить. Возражала Ковалевская: она тоже намеревалась сдать магистерский экзамен как можно скорее, пока были свежи в памяти требуемые дисциплины. А через год уезжать надолго из России нельзя: вдруг в это время в Петербурге или Москве появится место профессора; и медлить тоже невозможно: вдруг за это время в Америке кто-нибудь сделает исследование, которым хотел заниматься в поездке Владимир Онуфриевич?

Денежные дела приходили во все больший упадок. Приданое Софьи Васильевны было полностью истрачено на уплату старых долгов за издание Брэма «Жизнь животных» и на возобновление печатания дальнейших его томов.

И хотя супруги сами переводили этот труд, издание не только не давало дохода, на что рассчитывал Ковалевский, но поглощало все случайные заработки, обрастало долгами. Великий ученый, Владимир Онуфриевич не был искусным издателем, несмотря на то, что верил в свой «коммерческий гений».

Софья Васильевна, разделяя труды мужа, не утрачивала интереса к своей науке. Она часто встречалась с математиками. Пафнутий Львович Чебышев любил беседовать с ней, особенно об интегрировании эллиптических дифференциалов — этой теме посвящали свои исследования как он сам, так и Вейерштрасс. Ковалевская привлекала его своим острым умом и обаянием. Он возглавлял петербургскую школу русских математиков; об их направлении Чебышев говорил, что они «остаются постоянно на реальной почве, руководясь взглядом, что только те изыскания имеют почву, которые вызываются приложениями». Ковалевская сама тоже занималась «прикладными» вопросами, касающимися проблем механики и астрономии, но отдавала должное и «трансцендентному» методу зарубежных ученых, против которого восставал Чебышев. Она не жалела сил, чтобы заинтересовать русских математиков работами немцев и французов.

Первую зиму в Петербурге Софья Васильевна собиралась посвятить серьезному изучению аналитической механики и, главное, математической физики, которой заинтересовалась еще в Гейдельберге, когда слушала лекции Гельмгольца. Но очень скоро она лишилась возможности вести систематические занятия наукой.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Случайно Ковалевский встретился с бывшим товарищем по училищу правоведения — Владимиром Ивановичем Лихачевым, богатым столичным домовладельцем и городским общественным деятелем, впоследствии городским головой, сенатором. Лихачев покупал и продавал дома с большой прибылью. Его рассказы о баснословных богатствах, которые приносит продажа домов, заставили Владимира Онуфриевича задуматься: «А не стоит ли и ему выбрать такой род деятельности, который позволил бы сделать некоторые материальные накопления, а затем спокойно отдаться науке?»

Отчаявшись получить должность профессора, он ухватился за Лихачева, как утопающий за соломинку. Он уже ни о чем другом не мог думать, и разгоряченное воображение уводило его все дальше. В одном из писем к брату Александру, сообщавшему о своем желании купить дом и сдавать внаем квартиры, чтобы несколько облегчить свои денежные обстоятельства, Ковалевский писал: «...Стоит ли вообще покупать человеку с энергией уже построенные дома, и кажется, гораздо выгоднее строить их самому... Подумай хорошенько о том, что я пишу, и реши совсем, как хочешь; я тебе говорю, что эта мысль пришла мне в голову сию минуту, и я выкладываю ее тебе».

Он уже нисколько не сомневался в необходимости строить дома, чтобы обеспечить себе как ученому полную независимость. Ведь нажил же миллионное состояние земельными операциями знаменитый Чебышев и не забросил математику?!

А в годы, когда «прорезались зубы» у развивающегося капитализма в России, когда возникали во множестве банки, акционерные общества, строились железные дороги, заводы, шахты и деньги лились золотыми ручьями, энергичному человеку не стоило большого труда приобрести состояние. Ничего не понимавшая в делах Софья Васильевна разделила увлечение мужа. На предостережения Александра Онуфриевича она ответила:

«...Вы очень удивляетесь тому, как вы говорите, спекулятивному направлению, которое овладело нами обоими, но оно развилось у нас по необходимости. Вот как стоят наши дела: я получаю теперь в год немного более 900 рублей. Володя же, не обижая вас^[8], что он и без того слишком долго делал, может рассчитывать максимум на 600 рублей с имения, что

вместе с 600 рублями приват-доцента составляет 2100 рублей в год, и в близком будущем не предвидится ничего больше.

Пока мы жили за границей, нам этих средств было достаточно, но, вернувшись в Россию, мы серьезно занялись вопросом: каким образом следует нам поступать далее для того, чтобы устроить нашу общую жизнь как можно полнее и счастливее? ...Я с моей стороны имею большое доверие к умению Володи вести дела, если только он действительно предается им...»

Остановить супругов было некому: Василий Васильевич Крюковский скоропостижно скончался. Елизавета Федоровна никогда в хозяйственные дела не вникала. Анна Васильевна и Виктор Жаклар по своей неопытности тоже не могли ничем помочь своим близким. Они с большим трудом добывали себе средства существования. Анна Васильевна написала две повести: «Фельдшерница» и «Записки спирита». В «Записках спирита» она разоблачала спиритизм, которым увлекалось русское интеллигентное общество. Вместе с мужем, получившим место преподавателя женской гимназии, она составляла хрестоматию французской литературы, в которой излагала свои весьма передовые для того времени педагогические взгляды. Но эти работы не сулили особых доходов.

Со свойственной ему неукротимой энергией Владимир Онуфриевич принялся за постройку дома. Воображение его разыгралось. Он решил сделать при доме оранжерею, чтобы использовать тепло отопления; вслед за этим родилась идея соорудить баню для Васильевского острова, так как, по вычислениям Софьи Васильевны, население острова должно было сильно возрасти, а значит, недостатка в посетителях не будет!

Ковалевский брал деньги в банках, закладывал и перезаклаживал недостроенные сооружения. Софья Васильевна испытывала страх перед грандиозностью предприятия, но Владимир Онуфриевич смеялся над дурными предчувствиями жены, доказывал несомненные выгоды дела, что подтверждали и «математические» выкладки Софьи Васильевны.

Владимир Онуфриевич забросил науку, Софья Васильевна — тоже, придерживаясь взгляда; жена — истинный друг, помощник мужа во всех делах. Но в строительных она не могла быть полезна, на нее падала обязанность укреплять связи в обществе.

По рекомендации того же Лихачева, который прельстил Ковалевского коммерцией, новый владелец газеты «Новое время» А. С. Суворин пригласил Владимира Онуфриевича работать в редакцию в качестве одного из ближайших помощников. Софье Васильевне было поручено освещение научных вопросов и рецензирование спектаклей Михайловского театра.

Давно стремясь к литературной деятельности, Ковалевская охотно занялась журналистикой. У Суворина была репутация радикального публициста. Сотрудничать в его газете согласились такие люди, как Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин. Ковалевская подружилась с Тургеневым, полюбила гневный талант Салтыкова-Щедрина, вместе с сестрой возобновила теплые отношения с Достоевским, очень заинтересовалась Л. Н. Толстым, которому писал о ней Н. Н. Страхов.

Софья Васильевна живо, интересно сообщала русскому читателю о новинках науки и техники. В больших обзорах она рассказывала об исследованиях Пастера, о воздухоплавании и летательных аппаратах, оптических приборах и пишущих машинах, о телефонах, солнечных подогревателях и другом. После пятилетней затворнической жизни в Берлине она окунулась в петербургскую жизнь и словно опьянела. Были позабыты аналитические функции, которые еще так недавно целиком заполняли ее мысли. Она знакомилась с писателями, артистами, учеными, проникала в различные литературные кружки и с жадным любопытством изучала пустую, но очень увлекательную сутолоку петербургского «света». Театры, благотворительные вечера, кружки с их бесконечными, ни к чему не ведущими спорами, которые всем уже надоели, для Софьи Васильевны представляли прелесть новизны. «Я отдавалась им, — рассказывала она позднее, — со всем увлечением, на которое способен болтливый по природе русский человек, проживший пять лет в Немецчине, в исключительном обществе двух-трех специалистов, занятых каждый своим узким, поглощающим его делом и не понимающих, как можно тратить драгоценное время на праздное чесание языка. То удовольствие, которое я сама испытывала от общения с другими людьми, распространялось и на окружающих. Увлекаясь сама, я вносила новое оживление в тот кружок, где вращалась».

Ее интересовало все: и новые картины Репина, и последние повести Хвощинской-Крестовской, и премьера Михайловского театра, и даже столоверчение и медиумы, увлекавшие петербургское общество. Она вместе с виднейшими учеными участвовала в разоблачении этого шарлатанства.

Первый учитель высшей математики Ковалевской А. Н. Страннолюбский, как секретарь комитета по доставлению средств Высшим женским курсам, привлек Софью Васильевну к работе. И она увидела, что деятельность комитета не вмещается в узкие рамки устава: члены комитета оказывали помощь не только курсам, но и революционерам.

В тяжкие годы реакции жизнь в России была невыносима. Тюрьмы

были забиты «политическими». Улицы больших университетских городов кишели «гороховыми пальто» — шпиками охраны. Шпионили дворники в домах, шпионила прислуга в квартирах, множилось число невольных и доброхотных доносчиков, провокаторов. Эта черная рать самодержавия была двинута против честных, самоотверженных людей, хорошей, чистой молодежи, переживавшей, по определению Желябова, пору «юности розовой, мечтательной».

Ковалевская приняла деятельное участие в оказании помощи заключенным и их семьям. В доме Ковалевских всегда было полно старых «радикальных» друзей, людей, возвращавшихся после окончания срока ссылки из Сибири.

Довелось ей присутствовать и на судебных процессах «50» и «193», при жестокой расправе с лучшей частью интеллигентной молодежи России. Жизнь давала много материала для раздумий о судьбе родины, о судьбе русских людей, исковерканной самодержавным гнетом. И театральные рецензии, которые писала Ковалевская в «Новом времени», не походили на обычные газетные статьи. Театр был для нее только поводом к публицистическим выступлениям.

Но скоро сотрудничество в «Новом времени» прекратилось. Суворин начал резко менять направление газеты, беззастенчиво приспособливать ее к запросам капиталистов, превращая «Новое время» в беспардонное «Чего изволите?». Все уважающие себя литературные деятели покинули «Новое время». Оставили работу в нем и супруги Ковалевские.

Перед Софьей Васильевной опять возник вопрос: к чему же приложить свои силы и знания? Владимир Онуфриевич был уверен в удачном окончании строительного предприятия, и Ковалевские мечтали об устройстве Высших женских курсов, где оба могли бы найти себе применение как ученые. Софья Васильевна даже пообещала Вейерштрассу приехать в Берлин для консультации по математическим вопросам. Но тяжелое заболевание корью помешало ей осуществить это намерение, а затем обстоятельства сложились так, что Ковалевская, утратив надежду на занятия математикой, перестала писать учителю. Что могла она ему сказать? А Вейерштрасс долго пытался вернуть к науке свою ученицу.

«Может быть, ты настолько углубилась в работу, что не замечаешь, как быстро идет время. Я знаю, что это легко может случиться, — объяснял он молчание Софьи Васильевны, — но я полагаю, что именно в процессе работы твои мысли должны обращаться к другу, для которого, как ты знаешь, большую радость доставляет слышать о тебе и о том, что тебя занимает».

Однажды Вейерштрасс, получив с запозданием «Comptes Rendus», нашел в двух выпусках статью математика Дарбу «О существовании интеграла в уравнениях с частными производными, содержащими некоторое число функций и независимых переменных». По этому же вопросу Дарбу представил Французской академии доклад, переданный на рассмотрение математической комиссии. Затем другой математик — Мерей — также пообещал доклад на эту же тему и дал краткое сообщение о его содержании.

«Я был прав, — спешил сообщить Ковалевской учитель, — говоря, что разрабатываемый тобой вопрос относится к тем, которые теперь ждут своего разрешения, и я очень рад, что моей ученице удалось опередить своих конкурентов во времени и по меньшей мере не отстать от них в разработке самого вопроса... Дарбу говорит о нескольких исключительных случаях, представляющих большой интерес; я думаю, что он также натолкнулся на трудности, которые вначале доставили тебе столько хлопот и которые ты потом так счастливо преодолела. Я не отрицаю, — пошкольнически озорно добавляет профессор, — что я испытал бы некоторое злорадное чувство, если бы ему не удалось справиться с исключительными случаями».

Узнав, что Дарбу рассматривает вопрос, послуживший темой диссертации Ковалевской, Вейерштрасс немедленно отправил исследование Софьи Васильевны ему и Эрмиту. Эрмит ответил Вейерштрассу, что об исследовании Ковалевской Дарбу отозвался с большой похвалой. Обо всем этом учитель сообщил Ковалевской, но даже такое лестное и важное для нее известие она оставила без ответа...

5 октября 1878 года у Ковалевской родилась дочь Софья. Восприемниками дочери были Лермонтова и Сеченов, переселившийся два года назад в Петербург и занявший квартиру неподалеку от Ковалевских.

После тяжелых родов жизнь Софьи Васильевны находилась долго под угрозой. Почти полгода провела Ковалевская в постели. Правда, молодой организм победил, но сердце Софьи Васильевны было поражено тяжелой болезнью.

Жили Ковалевские в это время на Васильевском острове в отдельном доме с садом, была у них своя корова, парники, в которых выращивали не только огурцы, но даже дыни и арбузы; в квартире было множество растений и птиц. А между тем никто не мог про них сказать, что это люди, пользующиеся комфортом. Все производило такое впечатление, как будто хозяева еще собираются обосноваться. Н. Н. Страхов в письме к Л. Н. Толстому замечал, что заходил к Ковалевской, застал ее «по обычаю в

каком-то хаосе и каких-то сборах».

Но более замкнутый образ жизни, вызванный ожиданием ребенка, длительной болезнью после родов и материнскими обязанностями, которым Софья Васильевна отдалась с обычной для нее страстью, дали ей возможность трезво оценить свое положение.

Какое применение нашла она своему таланту, который должна была посвятить борьбе за женское право на труд?! Светская жизнь, туалеты, собственный дом — об этом ли мечтала она, к этому ли стремилась, когда избрала аскетически-скромный, трудный путь к науке?

С горечью заноса в записную книжку, повторяла она строки из стихотворения Плещеева:

О, если б знали вы, друзья моей весны.
Прекрасных грез моих, порывов благородных.
Какой мучительной тоской отравлены
Проходят дни мои в волнениях бесплодных!
Былое предо мной, как призрак, восстает,
И тайный голос мне твердит укор правдивый:
Чего убить не мог суровой жизни гнет,
Зарыл я в землю сам, — зарыл, как раб ленивый.

Отношения с мужем тоже не отвечали тем идеальным представлениям о браке, с какими заключала она этот союз.

Ковалевский все чаще с пренебрежением, с иронией говорил о том, что женщине не дано творить, создавать. Сам нуждаясь только «в стакане чаю и книге», он с непонятной настойчивостью желал видеть свою жену пышно одетой, блистающей в обществе, всецело поглощенной его проектами. Ее попытки протестовать против обволакивающей «мягкой тины буржуазного существования», как она определила их образ жизни, выливались в беспомощное раздражение.

В заветной коричневой тетради она написала мрачные стихи о жизни — «глупой шутке» — и едкую сатиру «Жалоба мужа». В сатире она высмеяла и себя как «ученую жену» и Владимира Онуфриевича с его недовольством претензиями супруги. Пассивности, овладевшей Ковалевской после напряженного умственного труда, приходил конец. И достаточно было подходящего повода, толчка извне, чтобы ученый заговорил в ней с новой силой.

«РОЖДЕНА МАТЕМАТИКОМ...»

В конце 1879 — начале 1880 года в Петербурге состоялся VI съезд русских естествоиспытателей и врачей. В работе съезда участвовали многие ученые — друзья Ковалевской. Приехал и талантливый ученик Вейерштрасса, профессор Гельсингфорсского университета Густав Миттаг-Леффлер, известный своими трудами по теории аналитических функций. Ему принадлежит классическая теорема, носящая его имя; он ввел в рассмотрение области особого вида — «звезды Миттаг-Леффлера» и т. д.

По поручению своего учителя Миттаг-Леффлер навестил Софью Васильевну, познакомился с Владимиром Онуфриевичем и их маленькой дочкой — Фуфой, как называли ее родители.

Он нашел, что Ковалевская, как женщина, очаровательна. Ее лицо отражает доброту и высокую интеллектуальность. Манеры ее просты и естественны, без какого-либо педантизма или аффектированной учености. Как ученая, она привлекла его редкой ясностью и точностью выражений и исключительно быстрой сообразительностью. Миттаг-Леффлер даже при такой недолгой встрече убедился в глубине познаний Ковалевской и понял, почему Вейерштрасс считает ее лучшей из своих учеников.

Софья Васильевна не собиралась участвовать в работах съезда; казалось, что она окончательно утратила надежду на научную карьеру. Все же Чебышеву не стоило большого труда уговорить ее сделать сообщение об одном из математических исследований.

Будто проснувшись от тяжелого сна, Ковалевская в одну ночь перевела на русский язык свою статью «О приведении некоторого класса абелевых интегралов 3-го ранга к эллиптическим интегралам», утром прочитала реферат на съезде, произвела большое впечатление, выслушала одобрение Чебышева, снова поверила, что рождена математиком.

Через несколько дней она могла равнодушно смотреть на то, как продается с публичного торга их имущество. Наука звала ее.

Грандиозное строительное предприятие Ковалевского завершилось полнейшим крахом.

Александр Онуфриевич, всегда с нежной любовью относившийся к брату и приходивший ему на помощь при малейшем затруднении, пытался вернуть к науке и Ковалевского, сожалел, что он «погряз в эти постройки и дела». «Что бы ты наделал, если бы вся эта энергия пошла на палеонтологию?» — говорил он в письмах. И то предлагал посылать

Владимиру Онуфриевичу ежемесячно по 50 рублей, то приглашал его к себе с Софьей Васильевной и Фуфой, чтобы девочка воспитывалась с его детьми, а разорившиеся «строители» могли зарабатывать на жизнь уроками.

В одном из писем к Софье Васильевне А. О. Ковалевский объяснил причины своего неодобрительного отношения к коммерческим затеям брата: «...Недоверие мое к нему основывалось всегда на том, что он схватывает результаты, увлекается ими, не обращая внимания на тот тернистый путь, которым они достигаются. Так было с изданиями; всегда он рассчитывал, что стоит печатание, и затем сумму от продажи относил к барышу, забывая, что сюда следует отнести массу других расходов. Очевидно, что и теперь в его расчеты въехало что-то подобное, своего рода Плевна, которую необходимо побороть». И спрашивал: «Не лучше ли было бы ему ликвидировать это дело и вернуться опять к палеонтологии?»

Но ничего уже нельзя было сделать. Фантастические планы обогащения жизнь опрокинула жесточайшим образом.

В доме, банях, оранжерее распоряжались кредиторы. Один из самых неумолимых произвел опись движимого имущества Ковалевских и очень удивился, найдя его таким скудным, 16 января 1880 года Владимир Онуфриевич сделал приписку к письму Софьи Васильевны, адресованному Александру Онуфриевичу: «Дела идут к дурному исходу, и я нимало не обольщаю себя относительно этого. Благодарю, милый, за ободрительные слова твоего письма, но ладья наша так свихнулась, что направить ее на хорошую дорогу уже невозможно».

В довершение к финансовому разорению Владимиру Онуфриевичу был нанесен страшный удар рукой одного его бывшего товарища из радикального лагеря. Опять всплыла необоснованная, возникшая в 1866 году и тогда же опровергнутая гнусная клевета о его службе в III отделении. Ковалевскому прислали номер женевского журнала «Общее дело» со статьей «Нечто о шпионах» публициста-эмигранта В. А. Зайцева.

Статья запрещенного журнала не могла получить в России широкого распространения, но слухи поползли по петербургским гостиным. «Нигилист», находившийся на дурном счету у III отделения, Ковалевский должен был ловить испытующие взгляды своих единомышленников. Такой попытки он выдержать не мог. Силы его надломились.

В поисках спасения Ковалевские переехали в Москву. Юлия Лермонтова нашла для них маленькую квартирку из трех комнат на нынешней Пушкинской улице, № 9.

Ученые супруги рассчитывали как-то устроиться в университете. Но

Софье Васильевне выразили лишь «платоническое» уважение, избрав членом математической секции Общества русских естествоиспытателей, а Владимир Онуфриевич узнал, что получить место доцента или хотя бы консерватора — хранителя музея — невозможно. Кто-то обещал ему должность чиновника особых поручений с палеонтологическими целями при канцелярии кавказского наместника, да директор Тифлисского музея не желал допустить туда русского.

Софья Васильевна хотела сдать магистерский экзамен. Министр просвещения Сабуров, «битый министр», которому студент дал публичную пощечину, отказал ей в разрешении, с издевкой заявив, что Ковалевская и ее дочка «успеют состариться, прежде чем женщин будут допускать в университет».

Разбитый неудачами, Владимир Онуфриевич с ожесточением приходил к выводу, что «пора оставить погоню за призраками, т. е. ученой карьерой». Надо стараться найти место на железной дороге в Одессе, в обществе пароходства или, наконец, поучиться хозяйству и затем стать управляющим большого имения. Впрочем, он и сам понимал, что это пустые мечтания: при его слабых административных способностях «все вокруг него станут лениться и воровать».

И только одна мысль не находила места в его раздумьях — что наука требует жертвенного служения ей, что и брат его Александр и друзья — Мечников, Сеченов и другие русские ученые, — несмотря на равную материальную необеспеченность, стоически продолжали свои исследования.

В Москве Владимира Онуфриевича свели с известным нефтепромышленником В. И. Рагозиным, который первым начал на Волге производить перевозку нефти наливом, первым построил в 1877 году Балахнинский, а затем Константиновский заводы смазочных масел, развил широкую торговлю нефтью в России и за границей.

Размах дел акционерного общества и колоссальные дивиденды ослепили Владимира Онуфриевича. Рагозин предложил ему место технического директора, и Ковалевский уехал сразу же за границу. В августе, вернувшись из поездки, он взял на свое имя десять паев, которые заложил за десять тысяч рублей, и пятнадцать паев на имя Софьи Васильевны. Даже благоразумную Юлию Лермонтову и весьма стесненного в средствах брата Александра увлек он посулами несомненных доходов и приобрел для них соблазнительные паи. Между тем избрание его в университет делалось вполне вероятным, но остановиться Владимир Онуфриевич не мог. Он надеялся «скомбинировать служение геологии со

служением Маммоне», года через три «выбиться из нужды и под конец жизни заняться наукой». В октябре 1880 года он уехал по делам нефтяного товарищества за границу, рассчитывая восстановить свои научные связи. Действительно, куда бы он ни приехал — в Брюссель, Берлин, Мюнхен, Прагу, Вену, Марсель, Базель, Париж, Лондон, — всюду встречали его с «распростертыми объятиями, яко блудного сына, возвращающегося в отчий дом геологии», — как радостно писал он брату.

Экскурсии, музеи с их палеонтологическими сокровищами, беседы с крупнейшими учеными Запада, ценившими его труды, пробудили творческие планы. Владимир Онуфриевич забыл о долгах, о нефтяном товариществе, об университете, где уже произошло утверждение его в должности доцента, и задержался надолго.

Софья Васильевна в это время как член математической секции сблизилась с московскими учеными. Она была счастлива, получив возможность вернуться к научным интересам, и с воодушевлением излагала товарищам неизвестные им идеи Вейерштрасса, глубже знакомилась с направлением русской математической школы. В живом общении с математиками, в спорах и обсуждениях научных вопросов она начала обдумывать темы новых работ. Дискуссия об абелевых функциях заставила остановиться на вопросе, который многократно разбирали П. Л. Чебышев и Е. И. Золотарев — крупный петербургский ученый. Ей захотелось показать москвичам, как абелевы функции помогают ученому в его исследованиях. Другая тема, настойчиво пробивавшаяся, относилась к решению уравнения в частных производных, к которому приводят исследования о преломлении света в кристаллической среде. Эта задача захватывала так властно, что Софья Васильевна с трудом отрывалась от вычислений.

Воспользовавшись отсутствием мужа, когда и она могла отлучиться из Москвы, Ковалевская написала Вейерштрассу о желании повидаться с ним и показать ему свою работу.

Вейерштрасс ответил немедленно. Он жалел, что его ученица не высказалась перед ним с таким доверием раньше. Из-за этой скрытности были потеряны годы, в течение которых он мог бы письмами поддерживать ее в занятиях и подкреплять ее усилия и мужество. Хотя он по-прежнему рад снова увидаться с ученицей после столь долгой разлуки, но вряд ли он сумеет оправдать ее ожидания. Ему, ослабевшему от болезней 65-летнему старику, приходится заниматься множеством дел.

Не стесняясь, он может сказать: его профессорский оклад так недостаточен, а возрастающие расходы так значительны, что он вынужден

брать на себя всякие обязанности, дающие ему заработок. Если можно, пусть Соня приедет весной, а зимой они должны вести правильную математическую переписку.

Этого письма Софья Васильевна не получила: она спешно выехала из Москвы в Берлин, оставив дочку на попечении Юлии Лермонтовой и бонны Марин Дмитриевны.

По дороге она остановилась в Петербурге и встретила с Чебышевым. Продолжительная беседа с великим математиком доставила ей удовольствие. Пафнутий Львович познакомился с трудами Вейерштрасса, признал их значение и теперь с большим уважением отзывался о берлинской школе, а о Миттаг-Леффлере говорил с нескрываемым восхищением. Он поделился с Ковалевской даже намерениями предложить Петербургской академии наук кандидатуру шведского ученого на вакансию академика, а своего ученика послал прослушать курс лекций у Вейерштрасса.

Такой перемене во взглядах очень ценимого ею русского ученого Софья Васильевна обрадовалась, так как считала совершенно необходимым для науки обмен идеями между учеными мира. Но тем больше была мысль, что на родине не нашлось для нее места...

Утром 31 октября Ковалевская приехала в Берлин. А в три часа дня Вейерштрасс был у нее в отеле. Профессор, как и прежде, с усилием склонял львиную голову, держался очень прямо в своем старомодном, тщательно вычищенном сюртуке. Но от взгляда Софьи Васильевны не ускользнула глубокая усталость, поразившая душу большого и сильного человека. Умные, не улыбающиеся глаза под отеками веками отражали такое детское смятение, такую беззащитность, что у нее перехватывало дыхание от горькой жалости... Вот так смотрел иногда и старый ее отец в последнюю, очень сблизившую их встречу.

С преувеличенной живостью она забросала ученого вопросами. Не дожидаясь ответа, шутливо сообщала, что несколько затянувшийся отдых, который был разрешен ей самим учителем, — не правда ли, ведь разрешен? — кончен, и она опять принимается за работу. Она обещает быть прилежной, прилежнее, чем была. И что скажет ей строгий профессор о такой теме, как исследование преломления света в кристаллах? Что думает он о первых результатах?

Вейерштрасс взял мелко исписанные листы бумаги и бегло взглянул на кружевной узор вычислений. Через мгновение для него ничто уже не существовало. То отдаляя, то приближая к глазам бумагу, он вчитывался в черновые записи.

— Я доволен, — сказал, наконец, Вейерштрасс. — Первые результаты этого исследования позволяют думать, что работа может быть очень интересной. И как жалко, дорогая Соня, что ты упустила так много времени! Наука ревнива, как все деспоты. Она не прощает своим слугам пренебрежения.

— И как все деспоты, не очень награждает усердие? — грустно добавила Софья Васильевна, глядя на осунувшееся лицо старого ученого.

А ведь он-то никогда не уклонялся от занятий наукой, которую считал делом своей жизни. Но в этом несовершенном мире не самым преданным достаются блага жизни. Гениальный норвежец Абель погиб в нищете от чахотки. Слава и гордость России — Менделеев, Сеченов, Мечников — растрачивают нужные для науки силы на изнурительную борьбу с постоянными лишениями.

— Расскажите мне о себе. Что вы делаете? — спросила Ковалевская.

«Великий аналитик с берегов Шпре» вынужден был ежедневно читать свой курс перед аудиторией в 250 человек, за деньги редактировал чужие труды, давал частные уроки.

— И, конечно, ваш король, ваши министры спокойно спят и с аппетитом обедают, в то время как необеспеченный профессор не может закончить исследования? — негодуяще отозвалась Ковалевская. — Им все равно, увидит мир или не увидит полное изложение вашей теории абелевых функций. Разве не могли бы они позаботиться о том, чтобы вы пожили, не думая о зарплате, хотя бы год?!

Вейерштрасс только устало улыбнулся и снова взял в руки исписанный формулами листок бумаги.

— Да, я еще об одном очень важном для меня деле хотела посоветоваться с вами, — помолчав, обратилась к нему Ковалевская.

Профессор наклонил голову.

— Я слушаю тебя, Соня.

— Господин Миттаг-Леффлер выражает надежду, что я могла бы получить место приват-доцента в Гельсингфорсе...

— А твой муж? Как относится он к твоему намерению? — спросил Вейерштрасс.

Она зябко повела плечами.

— Очень неодобрительно. Конечно, скучно жить врозь, но честь для меня большая. Я думала...

— Видишь ли, Соня, — твердо произнес Вейерштрасс, — я, старый человек, придерживаюсь такого взгляда: обязанность жены — быть с мужем. Ты ждешь моего совета и позволяешь мне говорить откровенно?

Изволь: мне кажется, ты не должна покидать господина Ковалевского. Конечно, если вас соединяет любовь, преданность и уважение, — добавил он и испытующе взглянул на нее.

— Да, да, вы правы, — торопливо ответила Софья Васильевна и стала расспрашивать профессора о своих берлинских знакомых. Больше они не касались этого вопроса.

Два месяца провела в Берлине Ковалевская, ни с кем не встречаясь, кроме семьи Вейерштрасса. Она просиживала за письменным столом по шестнадцать-восемнадцать часов, не отрываясь: знакомилась с новыми трудами европейских математиков и работала над своим исследованием о преломлении света в кристаллах.

В начале января 1881 года Софья Васильевна вернулась в Москву и написала Миттаг-Леффлеру, что надеется через несколько недель преодолеть последние затруднения в этой работе.

РАЗРЫВ

Москва была прежняя: с сутолокой, тревожностями, от которых Софья Васильевна отошла было немного в Берлине. Владимир Онуфриевич еще не вернулся из поездки по Западной Европе. Рагозины возмущались беспечностью своего технического директора. В университете тоже выражали недовольство: надо было начинать курс лекций. Кредиторы предъявляли векселя. Арендатор петербургских бань оказался мошенником и не вносил денег, которые были необходимы для уплаты процентов по второй закладной.

Ошеломленная Софья Васильевна не знала, что делать. Целыми днями она вела тягостные разговоры с адвокатами, писала всевозможные прошения, заявления, обязательства, письма и телеграммы мужу. Ответа не было. Владимир Онуфриевич вернулся в Москву лишь в середине февраля 1881 года с планом новой палеонтологической монографии. Свой курс лекций в университете он сумел начать только во втором семестре.

С Софьей Васильевной Ковалевский больше не советовался, своими намерениями не делился; обладавшая способностью распознавать людей с первого взгляда, она не могла выносить Рагозина, умоляла мужа оставить службу у нефтяника. Склонить жену на свою сторону ему в этот раз не удалось, тогда он стал скрывать от нее все, что делал. А Рагозин постарался внушить ей, что отчуждение Владимира Онуфриевича вытекает из особых причин, что у нее есть основания для ревности.

Ревность была одним из самых сильных недостатков порывистой натуры Ковалевской. Почувствовав себя жестоко оскорбленной, Софья Васильевна не сочла возможным для своего женского достоинства «выяснять отношения». Если он больше не нуждается в ней, — пусть будет так. Она одна пойдет тернистой дорогой своего призвания. Ее долг — служить науке.

Рассчитывать, что в России позволят это сделать, не было оснований. Царское правительство укрепляло «устой» самодержавия руками жандармов. Каждый новый день начинался слухами об арестах, ссылках. Тысячи взятых на подозрение, административно сосланных, заключенных в тюрьмы, осужденных на каторгу!.. Охранка следила за писателями, юристами, учеными. В гнетущей атмосфере доносов, недоверия, преследований невозможно было сохранять то душевное равновесие, которое необходимо для творческого труда. Надо ехать за границу. На

временной разлуке настаивал и Владимир Онуфриевич.

— Я не буду навязывать тебе свою дружбу, — сказала Софья Васильевна мужу. — Относительно наших взаимоотношений тебе беспокоиться нечего. Наши натуры такие разные, что ты имеешь способность иногда на время сводить меня с ума. Но лишь только я предоставлена самой себе, я возвращаюсь к рассудку и, обсуждая все хладнокровно, нахожу, что ты совершенно прав: самое лучшее — нам пожить отдельно друг от друга. Злобы я против тебя не чувствую и желания во что бы то ни стало вмешиваться в твою жизнь у меня нет. Поверь, что, если только отсутствие денег не обрежет нам крылья, я тебе ни в чем помехой не буду. Но еще раз повторяю: не старайся разбогатеть любой ценой, ты довольно проучен опытом.

— Да, да, это будет лучше всего, если ты поживешь за границей, — только и ответил Владимир Онуфриевич.

И в один из весенних дней тревожного 1881 года, когда после убийства Александра II кончилась пора либеральных заигрываний, так называемая «диктатура сердца» графа Лорис-Меликова, и началась разнузданная реакция, казни, аресты и ссылки, Ковалевские спешно оставили Москву. Софья Васильевна с дочкой уехала в Берлин, а Владимир Онуфриевич, проводив их, сразу же отправился к брату в Одессу. Ничто их больше не связывало.

...Через несколько дней, как совсем недавно, сидел профессор Вейерштрасс в комнате отеля, вслушиваясь в быструю, живую речь своей ученицы. Но только в комнате на этот раз была еще и маленькая Соня, Фуфа.

Она забавлялась картинками, устроившись на коленях бонны, а Софья Васильевна тревожно обрывала свой рассказ на полуслове, если девочка вскрикивала.

— Нет, нет, «Преломление света» я так и не закончила, — глядя на профессора, словно провинившаяся школьница, качала головой Софья Васильевна. — Не журите меня. Я возымела слабость отвлечься тем вопросом, который, вы знаете, вертелся у меня в голове почти с самого начала моих математических занятий. Помните, я еще так боялась, что другие исследователи опередят меня? Но и у них так же, как у меня, попытки оказались бесплодными.

— Неужели это общий случай вращения тяжелого тела? — удивленно спросил Вейерштрасс.

— Да.

— Но мои исследования показали, что с помощью абелевых функции

эту задачу невозможно решить. Почему же ты опять принялась за нее и прервала такое важное сочинение, как преломление света?

— Меня подтолкнули ваши работы об условиях устойчивости мира и аналогия с другими динамическими задачами. Эта тема показалась мне настолько интересной, прекрасной, что я... только не сердитесь... я ни о чем другом не могла думать, я вложила в нее всю горячность и энергию, на какие только способна. Вы посмотрите: путь, которым я следовала, несколько необычен...

Разложив мелко исписанные листочки, Софья Васильевна показывала учителю вычисления, и старый ученый не мог оторваться от них. Затем, откинув голову на спинку кресла, закрыв глаза, он долго сидел, не произнося ни слова.

Нужно было проявить большую смелость, чтобы приняться за задачу, решению которой посвящали себя крупнейшие ученые: определить движение различных точек вращающегося твердого тела — гироскопа.

Гироскоп устроен по принципу народной детской игрушки — волчка, обладающего способностью сохранять устойчивость движения. Можно, зная направление удара, точно сказать, в какую сторону от толчка наклонится ось игрушки. Но, пошатнувшись, волчок затем займет свое прежнее положение. Гироскопические приборы широко применяются в современной технике для определения курса самолетов, кораблей, для стабилизации их движения и т. д.

Путь каждой отдельной точки гироскопа при разных начальных положениях оси и различной скорости представляет собой невероятно сложную кривую. Чрезвычайно трудно полностью рассчитать этот путь и найти положение той или иной точки прибора в определенный момент времени. Математикам приходилось ограничиваться рассмотрением отдельных частных случаев.

До работы Ковалевской было определено только два случая.

В первом случае, наиболее простом, рассматривается движение твердого тела, когда центр его тяжести совпадает с точкой опоры. Петербургский академик Эйлер написал большой трактат по этому поводу, а француз Пуансо дополнил решение.

Второй, более трудный случай относится к движению тела, когда центр тяжести находится в одной из точек его оси симметрии и не совпадает с точкой опоры. Эту задачу разрешил знаменитый французский ученый Лагранж. А затем наступило затишье.

Все, что могли сделать ученые, касалось только доказательства различных геометрических и аналитических теорем, связанных с двумя

рассмотренными случаями. К таким работам относились исследования крупных математиков — Максвелла, Сильвестра, Якоби, Сомова, Дарбу и других.

Ясно было одно: к задаче о вращении следовало подойти с какой-то новой точки зрения, которую исследователи не могли еще установить. Ковалевская и поставила перед собой вопрос: существуют ли в случае движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки общие решения, однозначные и не имеющие других особенностей, кроме полюсов? В двух известных случаях все элементы движения выражались через эллиптические функции времени.

Софья Васильевна решила произвести глубокий анализ задачи о вращении, применяя хорошо изученный ею математический аппарат абелевых функций. Она еще ничего определенного не нашла, только «прозревала» возможность открытия какого-то нового пути. Но даже первые наброски, которые показала ученица Вейерштрассу, поразили его неожиданным подходом к теме и глубиной анализа.

— Как вы находите это, дорогой учитель? — прерывающимся голосом спросила Ковалевская. — Вычисления, к которым я пришла, настолько трудны и сложны, что я не знаю, достигну ли желанной цели.

— Я тоже этого не знаю, — усмехнулся Вейерштрасс. — Могу только вместе с древними сказать; «*Ex ungue leonem*» — «По когтям узнают льва»... Даже в худшем случае ты всегда сможешь обратить задачу и хотя бы определить, под влиянием каких сил получается вращение, переменные которого могут быть выражены в абелевых функциях. Известный тебе Нейман-младший выбрал же аналогичную задачу для докторской диссертации...

— Но она такая то-о-щенькая, — протянула Софья Васильевна.

— Тогда добейся цели, которая ускользает от ученых. Недаром же задачу называют «математической русалкой»: манит, обольщает и не дается в руки, — сказал профессор.

Он успокоился: его многообещающая ученица не потеряна для науки.

В это время происходили очень важные для русской ученой переговоры.

Миттаг-Леффлеру передали, что Софья Васильевна выразила желание приехать в Гельсингфорс в качестве приват-доцента. Профессор начал добиваться приглашения Ковалевской в финский университет. Но его усилия ни к чему не привели.

Правда, в Гельсингфорсе не нашлось ни одного профессора, который возражал бы против женщины приват-доцента только потому, что она

женщина. Все университетские друзья Миттаг-Леффлера знали об исключительном таланте Ковалевской. Ее, несомненно, пригласили бы, будь она финкой или принадлежи к любой нации, кроме... русской.

В Гельсингфорсском университете, полагали они, пока еще не замечалось ни малейших следов «пагубных движений», которые наблюдались в русских университетах. Если же появится Ковалевская, вполне вероятно, что за ней последуют и некоторые учащиеся русские женщины. Можно ли гарантировать, что среди них не окажутся принадлежащие к революционной партии? Миттаг-Леффлер смягчил в своем письме мнение своих коллег. А почтенные профессора именовали Ковалевскую просто-напросто «вредной нигилисткой».

Человек, бесконечно преданный науке и обладавший достаточной широтой взглядов, Миттаг-Леффлер не хотел расстаться с мыслью поработать вместе с таким талантливym товарищем. Он просил Софью Васильевну позволить ему сделать еще кое-какие шаги, чтобы доставить ей официальное положение. В Стокгольме открывался новый университет. Миттаг-Леффлера собирались пригласить туда профессором математики. Он был уверен, что сможет добиться и ее приглашения в этот университет. Шведский язык при лингвистических способностях Ковалевской не представит для нее больших затруднений. Столица Швеции, один из самых красивых городов Европы, даст ей большой круг заслуженных ученых. В Стокгольме есть и Академия наук, организованная по типу Петербургской, и большой медицинский факультет с несколькими выдающимися профессорами, и хорошая политехническая школа, а в Упсале, в двух часах езды от шведской столицы, находится древнейший университет Европы, где живет на пенсии известный математик Мальмстен. Даже такой взыскательный человек, как Ковалевская, сможет найти вполне удовлетворительную духовную среду, убеждал ее Миттаг-Леффлер.

Ему хорошо известно, что Швеция предоставляет женщинам более завидное положение, чем Германия. В консервативном Упсальском университете учится около двадцати студенток; в новом же предполагалось иметь их гораздо больше. Шведские женщины сдают все экзамены наравне с мужчинами. Нет оснований опасаться, уверял Миттаг-Леффлер, что эти права будут отняты.

«Правда, в старинных университетах — Упсальском и Лундском — не было еще женщин-профессоров, но Стокгольмский не намеревался следовать их примеру!»

И пока Софья Васильевна консультировалась с Вейерштрассом и восстанавливала связи в математическом мире Германии, Миттаг-Леффлер

договаривался о ней с директором Стокгольмской обсерватории, бывшим сотрудником Пулковской, профессором Гюльденом и с влиятельным в Швеции физиологом Ретциусом. Оба ученых крайне заинтересовались возможностью привлечь Ковалевскую.

Единственное затруднение заключалось в том, что в первый год работы она не могла рассчитывать на жалованье даже в должности приват-доцента. Ей придется показать, насколько она талантлива, хотя сам Миттаг-Леффлер убежден: если Ковалевская приедет в Стокгольм, то математический факультет шведского университета сможет стать одним из первых в мире.

Так полагал швед, но Софья Васильевна, наученная горьким опытом, на лучшее, чем должность приват-доцента, не рассчитывала. Правда, вопрос о зарплате не представлялся ей насущно важным. Дадут ей жалованье в первый год или не дадут, — главная ее цель — служить делу, которое ей очень дорого, посвятить себя работе среди людей, занимающихся тем же, чем хочет заниматься она. Не будучи богатой, она все же сможет вести независимый образ жизни. Ковалевская не знала еще, что в дела нефтяного общества Владимир Онуфриевич вложил последние средства, которыми она могла располагать, вплоть до драгоценностей, оставшихся ей от матери.

Ковалевская просила шведа лишь о том, чтобы приглашение последовало не прежде, чем она окончит свои работы. Вейерштрасс был непреклонен, считая, что появление женщины в звании доцента на университетской кафедре настолько серьезный шаг, что его можно сделать, лишь доказав научными трудами свой талант... Мужу она самолюбиво объяснила свои намерения: «Ты пишешь совершенно справедливо, что ни одна еще женщина ничего не совершила, но ведь ввиду этого мне и необходимо, благо есть еще энергия, да и материальные средства с грехом пополам, поставить себя в такую обстановку, где бы я могла показать, могу ли я что-нибудь совершить или умишка на то нехватает».

В декабре в Берлине побывал Владимир Онуфриевич и встретился с Вейерштрассом. Он не скрыл своего предубеждения против занятий жены и уехал, оставив ее без денег. Софья Васильевна написала Александру Онуфриевичу Ковалевскому, что чем больше думает, тем яснее видит необходимость создать себе какое-нибудь положение. В Стокгольмский университет она должна приехать, имея свои труды, а кончать исследование с постоянной заботой о Фуфе, о деньгах она не в состоянии. Семья Александра Онуфриевича оказала бы ей большую услугу, если бы на это время приютила у себя девочку. Одна она как-нибудь проживет, а с

окончанием нового сочинения о преломлении света связаны все планы будущего.

Как всегда в беде, Александр Онуфриевич и на этот раз пришел на помощь, взяв к себе племянницу. Софья Васильевна могла располагать собой свободнее.

Воспользовавшись амнистией коммунарам, объявленной французским правительством, Анна Васильевна с мужем переехала из Петербурга в Париж. В России «подозрительной» чете не находилось дела. Анна звала Софью Васильевну к себе: совместная жизнь обойдется дешевле, да и вообще в Париже не так все дорого, как в Берлине.

Вейерштрасс, многое понимая, не стал задерживать ученицу. Он дал ей свои новые труды, чтобы Софья Васильевна повнимательнее их рассмотрела, и единственно, о чем просил, — непременно поближе сойтись с французскими математиками: обладавшим мировой известностью Шарлем Эрмитом и молодыми Анри Пуанкаре, Жюлем Таннери, Пикаром, Аппелем.

— Мои исследования однозначных функций, — говорил он, — дороги мне еще потому, что они указали этим молодым математикам путь к работе в той же области, а это наилучший успех, какого может себе пожелать учитель.

Париж не принес Софье Васильевне нужного покоя. Тревога за девочку, которая жила теперь в Одессе, у Александра Онуфриевича, стыд, что невозможно регулярно посылать на ее содержание деньги, нужда и «студенческое» положение терзали ее. Она страдала молча, ни с кем не делиась. Очень часто целую ночь ходила по комнате, не будучи в состоянии написать ни одной фразы. Не доставило ни малейшего успокоения полученное, наконец, письмо мужа. Владимир Онуфриевич ничего не писал ни о своих намерениях, ни о положении дел. Ковалевская не знала, что ее ждет, не принесет ли завтрашний день какую-нибудь совершенно неожиданную катастрофу. Страх, как бы Ковалевский не попал в беду из-за денег, доводил ее до отчаяния.

— Если бы Владимир Онуфриевич решился успокоиться и ограничиться университетом, — как-то говорила она брату Ковалевского, — то мне, конечно, необходимо было бы вернуться в Россию. Я смогла бы и там заниматься математикой, но только в том случае, если бы он действительно успокоился и не губил себя и меня вечным придумыванием.

Вскоре Владимир Онуфриевич опять приехал в Париж, отправляясь в Америку по делам Рагозиных. Свидание с женой произошло у Анны Васильевны и длилось несколько минут. За эти минуты Ковалевский дал

понять, что он не включает Софью Васильевну в планы своей дальнейшей жизни. Она же не могла, считая себя женой, быть сторонним наблюдателем и решила окончательно порвать с Владимиром Онуфриевичем. «Софу я видел на минуту у сестры, — сообщил Ковалевский брату, — и мы расстались дружно, но я думаю — прочно, и я вполне понимаю это и на ее месте сделал бы то же самое, поэтому не пытаюсь уговорить ее переменить решение, хотя мне и очень тяжело». Для нее, предпочитавшей любую правду, как она ни горька, это было лучше, чем мучительная неопределенность. Только в письме к Вейерштрассу она невольно выдала свое душевное смятение.

Старый учитель давно догадался о неблагополучии в семье Ковалевских. Профессору было достаточно несколько часов знакомства с Владимиром Онуфриевичем, чтобы увидеть: характеры их слишком различны, чтобы она нашла в муже опору и поддержку, а он в ее лице — дополнение к собственному существу. Вейерштрасс не упрекал Ковалевского за то, что он возражал против желания Софьи Васильевны поехать в Гельсингфорсский университет и, может быть, поэтому еще более вооружился против ее математических занятий. Он понимал и его, как мужа, желавшего заполнить собой все помыслы жены, но он не мог осудить и свою ученицу, стремившуюся достигнуть поставленной цели, развить свой талант ученого-исследователя. Профессор лишь дружески советовал Софье Васильевне как можно скорее выйти из того одиночества, на которое она сама обрекла себя.

«Я слишком хорошо знаю тебя, — писал он, — чтобы навязывать какой-нибудь совет. Я убежден, что ты достаточно сильна, чтобы самостоятельно справиться со своей судьбой...»

Профессор знал ее характер, знал, какую власть имеет над ней наука, и в письмах сообщал ей то о новых трудах математиков, то о том, что в связи с ее работой он и сам возобновил прежние исследования. Он подробно рассмотрел на семинаре существующие методы определения движения планет и пришел к выводу, что решать связанные с этим проблемы нужно иными путями. «Но эти новые пути пока представляются мне в тумане... Если бы я имел здесь кого-нибудь, с кем можно было бы ежедневно беседовать о моих попытках, то, пожалуй, многое стало бы мне ясно...»

Учитель говорил ей, подбадривая, что если она не вернула ему рукописей о линейных дифференциальных уравнениях, а значит, еще не достигла успехов в исследовании, смущаться не стоит. Ей встретятся многие трудности, которые надо преодолеть. Но пусть задача оказывает упорное сопротивление — вопрос сам по себе заслуживает основательного

изучения.

Деликатно, не подчеркивая, профессор пытался помочь ей обрести мужество.

ДОРОГА К КАФЕДРЕ

*Живые борются, а живы только те,
Чье сердце предано возвышенной мечте.
Кто, цель прекрасную поставив пред собою,
К вершинам доблести идут крутой тропой
И, точно факел свой, в грядущее несут
Великую любовь или священный труд!*

В. Гюго

ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ

Когда Миттаг-Леффлер собрался в Париж, Вейерштрасс попросил его непременно помочь Ковалевской сблизиться с французами — Пуанкаре, Эрмитом.

— Исследования, начатые Пуанкаре, во всяком случае, приведут к новым аналитическим трансцендентам, даже если он еще и не находится на верном пути... И для Сони знакомство с ним будет полезно.

Миттаг-Леффлер заинтересовал Ковалевскую личностью Эрмита.

— Это удивительный человек, — говорил ей швед. — Когда я во время франко-прусской войны приехал во Францию прослушать курс его лекций, Эрмит сказал мне, что я сделал ошибку, что мне следовало слушать Вейерштрасса, ибо это наш общий учитель. Эрмит был французом и патриотом. Но в этот момент я понял, насколько же он был математиком!

Член Парижской академии Шарль Эрмит с глубоким уважением отнесся к молодой русской ученице Вейерштрасса. С первыми работами ее он был давно знаком и высоко ценил их, как несомненно талантливые исследования. Эрмит познакомил Софью Васильевну со всеми выдающимися исследователями Франции, и они с восхищением отзывались о женщине-математике, покорявшей их острым умом, блеском красноречия и глубиной познаний.

Знакомство с математиками благотворно сказалось на ее работе, внося элемент вдохновляющего соревнования. Соревнования тем более захватывающего, что его приходилось вести первой ученой женщине тех лет с мужчинами, занимавшими признанное положение в науке.

В конце июня Ковалевскую избрали членом Парижского математического общества и просили сделать сообщение об одном ее исследовании. Она разрабатывала его между прочим, посвящая все свое время главным образом «Преломлению света», но оно очень заинтересовало французов.

Софья Васильевна ожила. Ее не смущало почти нищенское существование на 300 франков в месяц в плохой, дешевенькой меблированной комнате, без возможности быть прилично одетой. Что значили эти пустые, суетные соображения перед всепоглощающей радостью творца, пролагающего дороги в науке!

А Миттаг-Леффлер и в этот приезд продолжал разговор о желании видеть ее в Стокгольме.

Софья Васильевна, растроганная таким сердечным участием этого, по существу, малознакомого ей человека, поделилась своими опасениями:

— Дорогой профессор, вы даете мне настолько волнующее доказательство своей дружбы, что я считала бы себя человеком без совести, если бы не предостерегла вас откровенно. Особенности моих личных обстоятельств таковы, что они могут сделать весьма неприятным мое положение в подлинно буржуазном обществе и бросить тень на ваше имя.

— Я не совсем понимаю, о каких обстоятельствах может идти речь? — недоумевающе глядя, спросил швед.

— Во-первых, я русская и тем самым подозрительна по нигилизму, что в данном случае недалеко от действительности, — с плохо скрытой гордостью продолжала Ковалевская, — во-вторых, я не живу со своим мужем...

— Но, позвольте...

— Нет, нет, дайте мне закончить! — резко сказала Софья Васильевна. — Вы сами знаете, что каждая женщина, по каким бы то ни было причинам разошедшаяся со своим мужем, в глазах доброй и благомыслящей матроны является лицом двусмысленным и подозрительным. А в таких случаях об ученых-женщинах судят хуже, чем о других.

— Я не думаю... — неуверенно начал Миттаг-Леффлер, но Ковалевская рассмеялась.

— Нет, нет, я не преувеличиваю, я вижу это совершенно ясно по здешним математикам. Они усердно посещают меня, осыпают любезностями и комплиментами, но никто из них не познакомил меня со своей женой. А когда я шутя обратила на это внимание одной знакомой дамы из их круга, она ответила, что госпожа Эрмит никогда бы не приняла в своей гостиной молодую женщину, которая одна, без мужа, проживает в меблированных комнатах. Вы можете себе представить, что подобные глупости здесь, в Париже, трогают меня очень мало. В Стокгольме же это может стать невыносимо.

Швед заговорил не сразу.

— Благодарю вас за доверие, — поклонился он Ковалевской. — Позвольте и мне быть столь же откровенным. И ваши политические убеждения и ваша борьба с несправедливым отношением общества к женщине глубоко симпатичны мне. И я и моя жена Сигне — ваши преданные друзья. Моя сестра, писательница Анна-Шарлотта Эдгрэн, тоже с достойным мужеством сражается против ханжества и лицемерия общества. Отважным борцом показала себя наша известная публицистка Эллен Кей. Я уверен, что вы встретите в Швеции достаточно людей с

широкими взглядами.

В эти дни душевного подъема, когда Ковалевская почувствовала себя свободной, в ней с новой силой вспыхнул интерес к политическим делам.

Петр Лаврович Лавров как-то пригласил к себе Ковалевскую и свою близкую приятельницу Варвару Николаевну Никитину — писательницу, эмигрантку, выступавшую под именем Барбары Жандр. Он пообещал познакомить их с польской революционеркой Марией Викентьевной Янковской.

Лавров занимал две маленькие комнаты на улице Сен-Жак.

В этот вечер его квартира имела торжественный вид: горели две закопченные лампы, в воздухе носилась пыль после неумелой уборки, а хозяин — седой, постаревший, но по-юношески подвижной — встречал всех нежной, доброй улыбкой.

Пока какие-то студенты распоряжались насчет самовара, ставили на стол стаканы с отбитыми краями и чашки с золотыми ободками — «для дам»; пока сам Петр Лаврович, открыв ящик письменного стола, извлекал из-под обрывков бумаги, из-под пожелтевших, исписанных мелким почерком листов тарелочку, наполненную печеньем, среди которого было и с кремом — «только для дам», женщины приглядывались друг к другу.

Быстрые движения, необыкновенно живой темперамент и блестящие глаза «цвета крыжовенного варенья» Ковалевской сразу же понравились Марии Викентьевне.

А Софья Васильевна заинтересовалась только что вышедшей из Познанской тюрьмы Янковской в большей мере потому, что она была полькой, дочерью свободолюбивого народа, который Ковалевская не переставала любить с дней юности.

Ковалевская без церемоний попросила:

— Расскажите нам о ваших впечатлениях в тюрьме, во время процесса. Расскажите все, все. Пожалуйста, прошу вас.

Такая стремительность пришлась не очень по вкусу Янковской и привела ее в некоторое замешательство.

Софья Васильевна, тут же почувствовав это, быстро перевела разговор на другой предмет и вернулась к общей беседе.

У Лаврова много говорили о социализме, о стремлении к счастью, о праве на него, о просвещении низшего класса, о перевороте, который мог бы разрешить все современные осложнения. Они говорили о своих мечтах как о действительности. И Ковалевская совершенно покорила польку прямоотой, каким-то удивительно честным отношением к делу, искренними поисками правды, без всякого хвастовства или самоуверенности. Было

видно, что она старается что-то понять, ее нисколько не задевали насмешливые замечания по поводу ее подчас наивных вопросов. Она сама очень сердечно смеялась остроумной шутке. Янковская вполне искренне поблагодарила Лаврова за приятный вечер и радость нового знакомства.

На следующий же день Ковалевская нанесла ей визит.

Через несколько дней полька навестила ученую, и у них установились дружеские отношения.

Мария Викентьевна происходила из богатой дворянской семьи Залеских. Родилась в 1850 году в деревне Ротмистровке бывшей Киевской губернии и провела детство в роскоши. Замуж вышла за польского магната из Кодорово бывшего Каневского уезда. Его дворец с тремя десятками слуг ежегодно поглощал 8–10 тысяч фунтов стерлингов. Но жизнь не удовлетворяла Янковскую. Ее брат Александр Залеский, учась в Петербурге, проникся идеями революционных демократов Чернышевского и Добролюбова, вместе с Евгением Михаэлисом и другими депутатами от студентов был арестован во время студенческих беспорядков и заключен в крепость. Он оказал большое влияние на сестру. Мария по его совету читала Прудона, Джона Стюарта Милля. Она видела, что большинство людей, зарабатывающих тяжким трудом кусок хлеба, живет далеко не так счастливо, как представляется это из ее золоченой клетки. И наступил день, когда Янковская села в поезд и отправилась в Женеву, в Союз рабочих, чтобы поговорить с «президентом Интернационала».

— Здесь никто не имеет титулов, — ответил ей один из членов Интернационала.

— Ах, милостивый государь, — сказала Янковская, — не будете ли вы так добры помочь мне. Я из России, хотела бы вступить в Интернационал и что-нибудь сделать для рабочего движения.

— Как, в этих кружевах и шелку?

— Пожалуйста, не смейтесь надо мной, — покраснела Янковская и опустила блеснувшие слезами глаза. И столько искреннего горя и смятения выражало ее лицо, что принимавший посетительницу член Интернационала сказал;

— Я вас не знаю, но хочу вам верить; проведу вас в союз и замолвлю за вас слово.

Свое обещание он сдержал; Янковскую приняли в члены русской секции Интернационала. Позже Мария Янковская познакомилась с Петром Лавровым, который стал ее советчиком и другом. А когда узнала основателя польской партии «Пролетариат» Людвиг Варынского, она стала работать в группе его сподвижника Станислава Мендельсона

настолько энергично и ловко, что за ней принялась охотиться царская полиция.

Летом 1881 года Мария Янковская вместе с Мендельсоном, студентом Кружковским и переплетчиком Константином Янишевским была арестована в Познани и заключена в тюрьму «за принадлежность к тайному союзу».

После тюремного заключения Янковскую должны были привезти в Александрово для передачи русским властям. Но врачи заявили, что ее хрупкий организм не выдержит режима русских тюрем. Приказ о выдаче был отменен. Янковскую отправили к бельгийской границе. Из Бельгии полька уехала в Париж.

В Париже Мария Янковская поддерживала материально еженедельник «Рассвет» и листок «Борьба классов» польской социалистической партии, была тесно связана с лавровским крылом «Народной воли». Ее не пугали ни опасность, ни тюрьма, ни лишения, ни труд. Десятки лет жила она в изгнании, много раз, рискуя свободой и даже жизнью, ездила нелегально в Россию. Для нее не существовало преград, если требовалось выполнить партийное поручение. С 1882 до 1893 года не было ни одной значительной идеи у польских эмигрантов, к которой бы оказалась непричастна Янковская, по второму мужу Мендельсон. Она очаровывала всех своим умом, умела поддерживать в людях веру и безграничную преданность делу.

Софья Васильевна очень высоко ценила ее глубокий интерес к вопросам науки, искусства, социологии, ее отвагу и инициативность, независимость убеждений. Янковская платила ей нежной любовью и доверием, ввела Софью Васильевну в круг польских революционеров, познакомила со Станиславом Мендельсоном, Шимоном Дикштейном, Людвигом Яновичем и другими известными членами польской партии «Пролетариат», рассказывала ей о Варьйском.

Однажды Софья Васильевна пришла к Марии Янковской расстроенная. Казалось, что она не могла владеть собой. Разговор то и дело обрывался.

Наконец Ковалевская не удержалась и сказала хозяйке.

— Простите, но я должна посвятить вас в дело, всецело поглощающее меня теперь. У одного из моих друзей, математика Иосифа Перотта, есть шестнадцатилетняя сестра, желающая изучать математику. Ее родители и слышать не хотят об этом. Можно бы подумать об устройстве фиктивного брака, — добавила она, и болезненная усмешка скользнула по ее лицу, — но нелегко найти человека, который пожелал бы пожертвовать своей личной свободой для того только, чтобы облегчить молодой девушке путь к

науке и высшему развитию. Я посоветовала приятелю увезти девушку тайком и одолжила свой паспорт. Мой приятель собирался телеграфировать мне, как только они очутятся в Пруссии. Меня очень беспокоит, что до сих пор нет никаких известий...

— А вы отдали себе отчет в том, сколько неприятных последствий может повлечь за собой шаг, на который согласился ваш приятель? — спросила Янковская. — Да и вас могут обвинить как соучастницу в похищении несовершеннолетней девушки.

— Все это возможно, — возразила несколько озабоченная Софья Васильевна, — Но я не могла поступить иначе. Ведь на женском пути, когда женщина захочет учиться, нагромождено столько затруднений... Я сама наталкивалась на многие из них и поэтому считаю своей обязанностью по возможности уничтожать их на чужом пути. Кто знает, не выйдет ли из этой девушки выдающаяся ученая?

Через неделю Софья Васильевна пришла к Марии Янковской с молодой красивой девушкой с черными косами и смеющимися темными глазами. Это и была сестра Перотта — Зоя, приехавшая по паспорту Ковалевской. Она восхищалась всем увиденным в Париже и своей прелестной опекуной. Говорила что-то невнятное о любви к науке, о стремлении прослушать лекции в Сорбонне, но было видно, что Париж привлекал ее скорее как город развлечений, а не как средоточие мировой культуры.

Софья Васильевна поселила ее с собой в одной квартире и даже начала обучать математике. Но очень скоро оказалось, что наука эта слишком трудна и суха для Зои. Девушка предпочитала бегать по магазинам, наряжаться и флиртовать с молодыми профессорами и студентами, знакомыми Софьи Васильевны. Однажды Ковалевская с комической озабоченностью шепнула Янковской, глядя на Зою:

— Я, кажется, немножко разочарована: наука вообще, а математика тем более, вряд ли что-нибудь приобретут от моей молодой приятельницы.

Но к девушке она продолжала относиться очень сердечно, посмеиваясь над своим легковерием.

В эту же пору она познакомилась у Лаврова с немецким социал-демократом Георгом Фольмаром. Бывший редактор издававшейся в Цюрихе газеты «Социал-демократ», Фольмар сложил с себя эти полномочия и отправился во Францию. Здесь он установил связь с Петром Лавровичем, который считал, что решительная победа немецких революционеров будет также и победой русских.

Последователь Маркса, Георг Фольмар произвел большое впечатление

на Ковалевскую. Он посвящал русскую шестидесятницу в политические дела, пробудил в ней интерес к выдвигавшемуся на передний край борьбы «четвертому сословию» — пролетариату.

— Не думаете ли вы, — спрашивала она нового приятеля, — что настало время, когда надо вновь вызвать к жизни учреждение, подобное старому Интернационалу, только с более строгой организацией и с более определенными целями?

А в одном из писем к уехавшему в Берлин Фольмару Софья Васильевна, обнаруживая те чувства и мысли, которые ей часто приходилось скрывать, призналась:

«Я убеждена, что при настоящих обстоятельствах спокойное буржуазное существование для честно мыслящего человека возможно лишь в том случае, если он намеренно закроет на все глаза и, отказываясь от всякого общения с людьми, посвятит себя отвлеченным, чисто научным интересам. Но тогда нужно тщательно избегать всякого соприкосновения с действительностью, иначе возмущение несправедливостью, которую можно видеть везде и всюду, будет так велико, что все интересы будут забыты в сравнении с интересами происходящей на наших глазах великой экономической борьбы и искушение самому войти в ряды борцов окажется слишком сильным...

Временами я не могу избавиться от мучительного сознания, что все то, чему я отдала все свои мысли и способности, представляет интерес для немногих, тогда как каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства».

ГИБЕЛЬ КОВАЛЕВСКОГО

В середине апреля Янковская собралась навестить Ковалевскую, которую долго не видела. Дверь открыла Зоя Перотт. Марию встревожили ее красные, распухшие глаза, расстроенный вид.

— Что случилось?

— Софью Васильевну поразило большое несчастье, — сказала Зоя. — Пятнадцатого апреля умер ее муж. Лишил себя жизни.

Известие о трагической гибели Владимира Онуфриевича сразило Ковалевскую. Она пять дней была без сознания. Врачи опасались за ее жизнь.

За все доброе отношение к ней Зоя платила Софье Васильевне самоотверженным уходом, не покидая ее ни на минуту.

На шестой день Янковская снова отправилась к Ковалевской. Зоя выбежала ей навстречу со словами:

— Она спасена, говорит доктор. Сегодня проснулась, поднялась на постели и стала чертить на одеяле какие-то формулы. Потом попросила у меня карандаш и бумагу и совершенно погрузилась в решение математической задачи. Это очень хороший знак у нее. И она желает вас видеть.

Мария вошла в комнату. Софья Васильевна была бледна, очень похудела, глаза ее напоминали глаза умного, послушного ребенка. Она сидела в постели, совершенно поглощенная задачей.

В следующие дни к ней постепенно вернулось полное сознание, но силы восстанавливались очень медленно. Когда, наконец, настал период полного выздоровления и жизнь вошла в свою норму, прошедшее представилось ей в отдалении, как через дымку.

В эти дни Софья Васильевна очень привязалась к Янковской, вела с ней длинные беседы до рассвета. Она мучительно пыталась разобраться в причинах трагической гибели Владимира Онуфриевича — человека, несомненно, доброго, талантливого, способного откликаться на все хорошее.

Силой своего таланта он с непостижимой быстротой не только овладел наукой, но и занял в ней выдающееся место. А кто оценил его талант?

«Такое хорошее было начало, — писал брату Ковалевский, — как вернулся из-за границы в 74-м (году), и так все испортить. Получи я тогда хоть самое малое место консерватора^[9], ничего бы не произошло».

Последние письма Ковалевского к брату — картина его агонии. Рагозины ловко запутали Владимира Онуфриевича. Ему угрожал суд за то, что он якобы умышленно скрывал злоупотребления дирекции, получая взятки паями. Он был подавлен мыслью об этом суде, о позоре, и не смог устоять.

Набранная мелким шрифтом заметка о смерти ученого, имевшего незначительный чин титулярного советника, затерялась в «Московских ведомостях» среди обширных сообщений о коронации Александра III и отчетов о деле 17 народовольцев. Университет принял на свой счет расходы по погребению покойного, так как он «не оставил средств и родных его нет в Москве». Совет утвердил ассигновку в двести пятьдесят рублей, а полиция похоронила Ковалевского, как бездомного бродягу!

Всем сердцем, всем разумом постигла Ковалевская тяжесть своей и Владимира Онуфриевича вины перед наукой, перед талантом.

Взяв карандаш, она быстро стала записывать запросившиеся на бумагу слова:

Если ты в жизни хотя на мгновенье
Истину в сердце твоём ощутил,
Если луч правды сквозь мрак и сомненье
Ярким сияньем твой путь озарил:
Что бы в решенья своём неизменном
Рок ни назначил тебе впереди,
Память об этом мгновеньи священном —
Вечно храни, как святыню, в груди.
Лживые призраки, злые виденья,
Сбить тебя будут пытаться с пути;
Против всех вражеских козней спасенье
В собственном сердце ты сможешь найти;
Если хранится в нём искра святая,
Ты всемогущ и всемогущ, но знай,
Горе тебе, коль, врагам уступая,
Дашь ты похитить её невзначай!

...

Лучше бы было тебе не родиться,
Лучше бы истины было не знать,
Нежели, зная, от ней отступить.
Чем первенство за похлебку продать.
Ведь грозные боги ревнивы и строги,

Их приговор ясен, решение одно:
С того человека и взыщется много,
Кому было много талантов дано.

Талант обязывал к научному труду. Но где она сможет работать?

Как быть дальше? От восхищения крупнейших ученых ее способностями до предоставления ей куска хлеба, чтобы жить, и кафедры в высших учебных заведениях, чтобы отдавать свои знания, в республиканской Франции было так же далеко, как и в монархической России. Ковалевской казались жалкой и презренной ложь и лицемерие республики буржуа. Сытые и жадные торгаши блудливо жонглировали святыми словами, держась за свои кошельки. Бесполезно было оставаться в Париже.

И в начале июля 1883 года Софья Васильевна поехала в Берлин. Она еще была слаба после потрясения, но внутренне вполне собрана. Вейерштрасс встретил ее очень сердечно, просил поселиться у него «как третья сестра».

Узнав о гибели Ковалевского, он написал Миттаг-Леффлеру, что «теперь, после смерти мужа, более не существует серьезных препятствий к выполнению плана его ученицы — принять должность профессора в Стокгольме», и смог порадовать Соню благоприятным ответом из Швеции.

Миттаг-Леффлер заручился согласием влиятельных ученых, заинтересованных в привлечении талантливой русской, и написал Вейерштрассу, что Софья Васильевна может в любое время приехать и начать курс своих лекций. Но, как и раньше, он предупреждал: сейчас пока еще невозможно предложить ей штатную должность с постоянным жалованьем. Она должна будет завоевать это право своим дарованием.

— Как я счастлива, что скоро смогу вступить на путь, который всегда был предметом моих наиболее дорогих желаний! — радовалась Ковалевская, благодарила Миттаг-Леффлера за дружбу и спрашивала его совета. Может быть, ей следует побыть подле Вейерштрасса два-три месяца, чтобы заполнить пробелы, еще имеющиеся в ее математическом образовании, и в кругу начинающих свою деятельность доцентов попробовать читать лекции? Это поможет ей выполнять новые обязанности настолько хорошо, чтобы разрушить существующие в отношении женщин предрассудки.

Софья Васильевна познакомилась и подружилась в Берлине с русским математиком Дмитрием Селивановым и немцем Карлом Рунге, предложила

им обмениваться интересными сообщениями. У нее было что рассказать о новых трудах знаменитых французов, с которыми ей пришлось беседовать; она могла изложить основательно изученную теорию преобразования функций. Такая практика была, бесспорно, полезна. Ведь ей никогда еще не приходилось читать лекции!

Готовясь к поездке в Стокгольм, Ковалевская работала с утра до поздней ночи: разыскивала все появившиеся в печати исследования, делала к своему курсу извлечения из классических трудов, разговаривала с маститыми немецкими учеными — Вейерштрассом, Кронекером, Фуксом, выступала с рефератами перед кружком молодежи. А после бесед о математике часто уезжала к Георгу Фольмару, находившемуся в Берлине, послушать споры немецких революционеров о стоящих перед социалистическим движением задачах.

Исследование о преломлении света Вейерштрасс похвалил и решил отослать его для опубликования в шведский журнал «Acta mathematica».

— Ты прибудешь в Стокгольм, а ученые шведы уже познакомятся с тобой по такой приличной работе, которая может сделать честь любому мужчине-математику!

Ковалевская улыбнулась благодарно и чуть иронически:

— Мне кажется, дорогой учитель, у вас развивается невыносимая «шишка тщеславия». Вы становитесь хвастливым. А это заразительно. Скоро и я начну думать, что действительно большой шик, если женщина, начиная читать лекции, сможет, как о чем-то обыкновенном, говорить о собственных исследованиях...

Вейерштрасс радовался проявлениям жизни в ученице, старался занять ее новыми задачами, давал ей советы, высказывал свои мнения о людях науки — германских ученых, с которыми «маленькая Соня» могла уже общаться, как равная.

Беседуя о Кронекере, Вейерштрасс заметил:

— Ему недостает фантазии (я бы сказал — интуиции), и вполне правильно мнение, что математик, который не является немного поэтом, никогда не станет математиком...

— А я, буду ли я, по вашей теории, настоящим математиком? — серьезно глядя на учителя, спросила Софья Васильевна.

— Возможно, — улыбнулся старый ученый. — Если я и могу тебя в чем-либо обвинить, то скорее в избытке поэтического элемента...

Вскоре учитель нашел, что Ковалевская уже может приступить к новым обязанностям преподавателя высшей школы. И она уехала в Одессу за дочерью, которую надо было отвезти в Москву к Лермонтовой. Свое

пребывание в Одессе Софья Васильевна приурочила к открытию VII съезда русских естествоиспытателей и врачей в надежде повидать товарищей.

Съезд открылся 18 августа 1883 года в здании городской думы. Председателем был избран Илья Ильич Мечников, товарищами председателя, кроме Александра Онуфриевича Ковалевского, были Александр Михайлович Бутлеров и Николай Васильевич Склифосовский, членами-распорядителями — академик Ф. В. Овсянников и Н. Н. Бекетов.

Но напрасно искала Ковалевская среди присутствовавших П. Л. Чебышева и других знакомых математиков Петербурга и Москвы. Никто из них не смог приехать. Встретила она только Николая Егоровича Жуковского.

Организаторы съезда попросили Ковалевскую сообщить делегатам о ее последней работе — «Преломление света в кристаллах». Второе заседание съезда, 20 августа, открылось докладом Софьи Васильевны.

Внутренне сильно волнуясь, она с виду спокойно доложила свою работу. Говорить пришлось долго, обстоятельно: на съезде было мало математиков, преобладали физики. Их больше всего интересовало то, что Ковалевская отбросила гипотезу о невесомом эфире и рассматривала колебания материальной среды.

После доклада Софье Васильевне задали множество вопросов. Она очень подробно ответила на них, проявляя солидные знания и в математике и в физике.

Выступление на съезде было для нее репетицией будущих лекций в университетской аудитории. Здесь-то она не испытывала особого смущения: перед ней находились русские ученые, говорила она на родном языке... А как сложится жизнь в чужой стране?

Впрочем, раздумывать о том, что предстоит, не приходилось. В Москве ее ждали тяжелые дни: хлопоты о восстановлении честного имени Владимира Онуфриевича, устройство дочери у Юлии Всеволодовны Лермонтовой. Везти девочку в Стокгольм, пока не упрочится положение, было рискованно, а обременять Александра Онуфриевича — неприятно.

Все, что только нашлось в бумагах мужа, — письма, документы, записки, проливающие свет на взаимоотношения Ковалевского и Рагозиных, — она представила следователю Московского суда. Разобравшись, следователь изменил свое мнение о Ковалевском:

— Да, теперь я вижу, что Владимир Онуфриевич был увлекающимся, но честным человеком.

Как легко мог опровергнуть Владимир Онуфриевич гнусные измышления Рагозиных, желавших переложить на него ответственность за

свои мошенничества с паями! Но, измученный крушением всех надежд, доведенный до отчаяния угрозой бесчестия, он не нашел сил постоять за себя.

Из Москвы Софья Васильевна направилась в Петербург, откуда должна была выехать в Швецию. Настроение было мрачное.

И Москва и Петербург произвели на нее тяжелое впечатление.

«Кажется, что все находятся под гнетом дурного сна, — писала Ковалевская Миттаг-Леффлеру из Петербурга, — и действуют диаметрально противоположно здравому смыслу. Но это не мешает им думать, что вся наша математика ничего не стоит. Я никогда не видела Чебышева в таком плохом настроении, как сейчас».

Хотела выяснить она, точно ли вернули из Сибири Чернышевского и что с ним? Никто не смог ответить.

Люди переводили разговор на другие темы, едва сохраняя приличие. Казалось, им все равно: вернули — ну и пусть вернули; здоров он, сошел с ума — не их дело.

«Да, впрочем, — сообщала Софья Васильевна в письме П. Л. Лаврову, — если бы общество отнеслось к Чернышевскому иначе, может быть, его и подальше упрятали бы власти предрержащие!»

Над Россией простерлась черная тень Победоносцева и Каткова.

В атмосфере «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции»^[10] правительства нового царя Александра III «почерневшие» либералы проповедовали идеал «малых дел», множилась отвратительная шайка ренегатов, а «золотая молодежь» создала «священную дружину» с добровольными шпионами, провокаторами и убийцами.

И тем разительней звучал в этом страшном мире гневный голос писателя-воина, писателя-борца. Ковалевская взяла с собой в дорогу и прочитывала страницу за страницей новую книгу Салтыкова-Щедрина «Письмо к тетеньке».

С какой прозорливостью вскрывал писатель перед «тетенькой» — русской интеллигенцией — процессы идейного разложения ее буржуазно-либеральной части, «повадливость», легкость, с какой пала она на колени перед кулаком реакции, чуть было всех русских подданных поголовно к сонму «неблагонадежных» не причислившей.

Щедрин рассказывал о черных временах, когда проходило на глазах интеллигентного общества организованное неистовство, туча мрака — без просвета, без надежд, «а мы прогуливались под сенью тенистых деревьев, говорили о возвышающих душу обманах и внимали пению соловья!». Со страстной болью напоминал он о том, что даже лучшие ограничивались

тем, что умывали руки...

И снова бредила душу Ковалевской мысль: а правильно ли поступила она, посвятив себя науке — «делу меньшинства», а не борьбе с самодержавием?

СТОКГОЛЬМ

Пароход шел шхерами. Больше не качало. Ослабевший ветер налетал порывами. Его тонкий свист тонул в глухом шуме кипевшей под винтами воды. Софья Васильевна стояла на палубе, прижавшись к борту. Из серой мглы выступали смутные очертания города — на темном фоне деревьев светлые пятна зданий с острыми, вонзающимися в облака шпилями. Стокгольм...

«Я так благодарна Стокгольмскому университету, который первым из европейских университетов хочет открыть мне свои двери, что я заранее готова привязаться к Стокгольму, к Швеции, как к родной стране, — писала Ковалевская шведскому профессору. — Я надеюсь, что, прибыв туда, я останусь там на долгие годы и найду там вторую родину».

А сможет ли, найдет ли она в себе силы привязаться к этой радушной стране и полюбить так, как любит Россию?

За лесом тонких мачт, за белыми парусами показалась пристань. Софья Васильевна увидела высокую фигуру Миттаг-Леффлера, его худое, тонкое лицо, развевающиеся светлые волосы над прекрасным лбом. Профессор встречал Ковалевскую с женой, Сигне Линдфорс, похожей на подростка, играющего в замужнюю женщину. С букетом цветов Миттаг-Леффлер протянул Ковалевской скатанную в трубку газету.

— О, вы только послушайте, что пишут у нас о вашем приезде! — задерживая руку Софьи Васильевны, возбужденно сказал он, — «Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного высокого, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки...» Слышите? «...принцесса науки, госпожа Ковалевская, почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом — женщиной во всей Швеции». Не находите ли вы, что это добрый знак?

— Да, да, благодарю вас, — Софья Васильевна с трудом произнесла эти слова. Голос не подчинялся ей. Она нежно пожала руку маленькой светловолосой Сигне, восхищенно смотревшей ясными детскими глазами на ученую гостью, и еще раз сказала Миттаг-Леффлеру:

— Благодарю вас, мой мужественный, дорогой друг!

Наверное, сама Швеция встречала ее в образе милой кроткой Сигне и отважного, деятельного Гесты.

— Вы позволите мне называть вас так? И зовите меня Соней. Вам не справиться с русской манерой величать по отцу. Очень длинно!

— Сонья? Красивое имя, — отозвалась Сигне. — Сонья...

В тот же день Геста Миттаг-Леффлер спросил, как Ковалевская отнесется к тому, чтобы он и Сигне пригласили к себе на вечер ученых и познакомили ее сразу со всеми.

— Подождите недели две, пока я не научусь говорить по-шведски, — ответила Ковалевская.

Все рассмеялись над самонадеянным заявлением, а Софья Васильевна попросила порекомендовать ей учителя и стала брать уроки со следующего же дня. Как и все, что делала, она и занималась неистово, с утра до вечера упражняясь в языке. Через две недели Ковалевская, хотя и коверкая безбожно слова, смогла объясняться по-шведски, а через два месяца достаточно познакомилась с современной ей беллетристикой, была захвачена «Сказанием о Фритьофе» великого шведского поэта Эсайи Тегнера. Произведения же Рунеберга вызвали у нее замечание:

— Они мне не особенно нравятся: мне кажется, что у них тот же недостаток, что и в «Сотворении мира» Гайдна. Им недостает дьявола, а без него не существует истинной гармонии в этом мире.

То новое — идеи экономической несправедливости существующего строя, женского равноправия, несостоятельности религии и др., — что проникло в Швецию, было здесь очень бурно принято. Особенно это отразилось на литературе, которую обновляла школа молодых писателей.

Между этими писателями ее внимание привлек Август Стриндберг, которого нашла она человеком чрезвычайно талантливым, но приверженным самому крайнему направлению и в литературе и в жизни, а потому сделавшемуся «страшилищем и козлицем искупления всей благомыслящей части общества». Ее подкупало в этом полном противоречий человеке бесстрашие, с каким бросал он вызов всем закоснелым догмам старого мира. Понравились ей некоторые драмы норвежца Генриха Ибсена, а сестру Миттаг-Леффлера — Анну-Шарлотту Эдгрэн-Леффлер — Софья Васильевна сочла даже «большой революционеркой».

Вскоре Софья Васильевна могла составить некоторое представление о Стокгольме. По первым впечатлениям это была «невероятная смесь новых веяний на чисто немецком патриархальном фоне». Формы правления Швеции делали ее как будто одной из самых свободных стран Европы; в ней, казалось, писали и говорили обо всем, о чем угодно. Но сила традиций и общественного мнения, подобных тем, какие властвовали и в Англии и в Германии, была очень велика.

— Только с тех пор как я живу в Стокгольме, — говорила Софья

Васильевна, в первое время расположенная замечать в приютившей ее стране лишь хорошее, — общественное мнение, представлявшееся мне каким-то мифическим божеством, стало вполне ощутительно. Здесь чувствуешь действительно, что существует известная связь между убеждением и делом. Нелегко уверить в чем-либо шведа, но если это удалось, то он не остановится, подобно славянину, на полдороге, удовлетворяясь нашей славянской беспечностью, думая, что раз истина доказана, значит, нечего о ней беспокоиться. Швед не терпит разлада между словом и поступками, не щеголяет набором пышных фраз.

— Потребность создать себе идеал, а затем всю жизнь поклоняться ему — это ваша национальная болезнь, в этом признается ведь и кто-то из героев «Дикой утки» Ибсена, — смеялась она, поддразнивая своего шведского друга.

И ее сначала очень привлекала способность северян чувствовать себя нравственно обязанными доказывать делом свои убеждения. Ни в одной стране не удавалось с такой легкостью собирать крупные суммы денег на поддержку любого начинания, заинтересовавшего общество. Стокгольмский университет был основан тоже на частные пожертвования, хотя в шведской столице имелось тогда не так много богачей, для которых пожертвовать несколько десятков тысяч крон ничего не стоило бы. Ковалевская с болью вспоминала, с каким трудом удавалось получить в России подпиской очень небольшие, в сущности, суммы для поддержания женских медицинских курсов, которыми, на словах, интересовался чуть ли не каждый образованный русский.

Нравилось ей в Швеции и то, что погоня за наживой и борьба за кусок хлеба еще не приобрели здесь острого, всепоглощающего характера, как в Западной Европе.

— У вас конкуренция на различных поприщах еще не так велика, чтобы давать ход лишь одним блестящим исключениям за счет масс загубленных людей с обыкновенными способностями! — делилась своими мыслями со шведами Софья Васильевна. — У вас даже богачи не устраивают выставок роскоши, не вводят бедных в соблазны, в искушение разбогатеть во что бы то ни стало, как в Париже, Лондоне, Берлине. И поэтому у вас есть досуг, чтобы наслаждаться самим процессом жизни, ее духовной стороной. Вы верите в святость жизни и ее задач, для вас вопросы нравственной правды и ответственности имеют вполне реальное значение!

Помолчав, она добавляла с лукавой усмешкой:

— Видимо, потому что не так резко противоречия, социальный вопрос

не имеет у вас такого всеобщего значения, нет у вас насущной потребности в коренных изменениях общественного строя.

— Да ведь у нас тоже идет борьба, многим приходится в тюрьме сидеть за «оскорбление величества», как, например, Яльмару Брантингу, — возражали шведы.

— О, и у вас «оскорбление величества» карается? Только умы тупые, характеры тиранические, не способные к величию, могут так злобно заботиться о престиже своего ничтожества. Но, несмотря на это, у вас, где так мало, так незаметно все меняется, где нет подобных землетрясению общественных событий, все же можно найти идеальные условия для занятий наукой...

Все шведы, с которыми она встречалась, были настроены весьма либерально, живо интересовались равноправием женщин и социализмом. По крайней мере в теории все относились к социализму с большим сочувствием, не исключая людей, занимающих высокое положение: говорили, что даже король Оскар II не смотрел на него с ужасом, Софье Васильевне казалось, что она вновь переживает пору, десять-пятнадцать лет назад определявшую жизнь общества в России.

Пристальнее взглядеться в происходящие, хотя и волнующие и привлекательные, но уже знакомые процессы не было времени.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Ковалевская проводила целые дни за письменным столом. Лекции, этот «частный курс», должны быть блестящими, должны показать, способна ли женщина к профессорской деятельности.

Записались на ее курс девятнадцать человек — все, кто изучал высшую математику. Софья Васильевна очень боялась страшной минуты — первого своего выступления под испытующими взглядами незнакомых людей. Она и теперь, как в детстве, невероятным напряжением сил преодолевала застенчивость. А кроме этого, ей предстояло встретить еще и неприкрытое недоброжелательство.

Когда в Стокгольме официально объявили о лекциях Ковалевской и студенты «ортодоксального» Упсальского университета вывесили это объявление в своем союзе, оно вызвало взрыв негодования профессоров. Одно заседание Совета университета, длившееся целый вечер, было полностью посвящено очернению женщины-профессора. Маститые ученые отрицали ее научные заслуги, намекали на самые чудовищные по нелепости причины ее приезда в Швецию — словом, проявили столько огня и темперамента, каких Ковалевская и не предполагала у хладнокровных северян.

Сами по себе такие страсти не имели бы значения, но некоторые упсальские профессора пользовались большим влиянием в «высших сферах», от которых зависело материальное положение и нового университета и преподавателей. Говорили, что король, на первых порах покровительствовавший Стокгольмскому университету, убедился уже, что этот рассадник науки способен стать центром вольнодумства и радикальных стремлений. Вряд ли репутация «нигилистки» способна была содействовать успеху замыслов Ковалевской! Да и немногие почтенные мужи науки мирились с вторжением женщины-профессора в «не женскую область».

Даже французский физик Габриэль Липпман, очень расположенный к Софье Васильевне и горячо одобрявший Стокгольмский университет за приглашение Ковалевской, не удержался и с убийственным простодушием заметил: «Франция в этом отношении менее передовая; идея дать кафедру женщине потрясла бы нас всех».

Правда, труды ученой-женщины привлекали внимание независимо от пола автора. Глава французских математиков Шарль Эрмит в весьма

любезных выражениях просил Ковалевскую прислать журналу «Comptes rendus» статью о преломлении света, ввиду большого значения полученных ею результатов для геометров Франции, занимавшихся теорией упругости.

«Вопросы, касающиеся распространения света в кристаллической среде, — писал он, — представляют чрезвычайный интерес для физики, математики и для философий естествознания. Изложение результатов, полученных первоначально Ламэ, а затем полученных вами из применения метода г-на Вейерштрасса, сделано вами, мадам, с такой ясностью и точностью, что я не сомневаюсь, что ваша заметка вызовет громадный интерес в мире математиков и физиков. Она будет напечатана с соблюдением всех ваших пожеланий с таким заголовком: «О распространении света в кристаллической среде», заметка госпожи Ковалевской, представленная господином Эрмитом».

Кроме того, Эрмит желал в специальном докладе ознакомить с этим трудом Французскую академию.

Немецкий математик Кронекер обратился с такой же просьбой: он хотел напечатать эту статью в своем журнале.

Что ж, русская ученая перестала быть «любопытным случаем». Первые труды поставили ее в ряд крупнейших математиков. Теперь осталось лишь завоевать право на кафедру! Софья Васильевна готовилась к лекциям до изнеможения.

У нее не доставало времени на занятия, и она спала не более четырех-пяти часов в сутки, совершенно отрешившись от жизни.

— Представьте себе машину, рассуждающую, считающую и выжидающую, — говорила Софья Васильевна, — и у вас будет мой верный портрет в настоящую минуту. Впрочем, я провела значительную часть моей жизни в подобном настроении и привыкла к нему. Несмотря на все, я верю в прекрасный сверкающий закат солнца в будущем. А разве есть в божьем мире что-либо красивее чудного заката солнца?!

Кто знает, может быть, лет через пять, когда она упрочит свое положение профессора, не одна женщина в состоянии будет заменить ее на кафедре, а сама она... О, тогда она отдастся иным стремлениям!

Наступило 30 января 1884 года. Софья Васильевна поднялась рано, тщательно оделась, собрала записи к первой лекции о теории уравнений в частных производных и стала в лихорадочном волнении ждать Миттаг-Леффлера. Сегодня должна была решиться ее судьба: быть или не быть профессором.

Швед появился, быстрый, веселый, с румяным от мороза лицом, и удивленно посмотрел на Ковалевскую.

— О, вы так бледны, коллега? А я и не подозревал, что вы можете чего-нибудь бояться, кроме... кошек. Прошу вас, успокойтесь. Вы должны предстать перед слушателями и гостями в полном блеске своей учености и самообладания.

Ковалевская не отозвалась на шутку товарища, и они молча вышли на улицу. В мгlistом свете раннего утра город вставал, как живописная декорация. Над островерхими крышами, над каменными громадами дворцов, над темными вершинами сосен и елей беззвучно вихрился мелкий сухой снег и оседал, как хрустальная пыль.

Миттаг-Леффлер, словно не замечая волнения своей спутницы, рассказывал ей о путешествии сестры, которой Ковалевская дала рекомендательные письма к французам и англичанам.

— Анна-Шарлотта при вашем любезном посредстве, — смеялся профессор, — совсем превратилась в восторженную социалистку! Впрочем, я нахожу, что это очень хорошо для нее: социалистические идеи не вредят ее литературной деятельности, как не вредят занятиям наукой моего нового товарища. Не так ли?

Углубленная в свои мысли, Софья Васильевна молчала и встрепелась, только когда увидела трехэтажное здание университета. Скользя в раскрывшуюся перед ней дверь, она взбежала по лестнице на галерею, расположенную над огромным — во всю высоту здания — залом под стеклянной крышей и остановилась, смущенно оглядываясь на Миттаг-Леффлера.

— Опять забыла, куда идти, — растерянно прошептала она.

Точно такая же галерея тянулась и по другую сторону зала. Множество дверей — с вешалками у каждой из них — вело из галерей в аудитории и лаборатории.

Которая же вводит в ту аудиторию, где ждут Ковалевскую студенты, трудно угадать.

— Пожалуйста сюда, — подчеркнуто серьезно произнес Миттаг-Леффлер, помог Софье Васильевне снять шубку и открыл дверь.

В небольшой комнате, где стояли простые трехногие столики и табуреты для слушателей, стол со стулом и черная доска для лектора, все места были уже заняты.

Кроме записавшихся студентов-математиков, пришли любопытствующие молодые люди с других факультетов и почти все профессора.

Ковалевская сдержанно поздоровалась с присутствующими, положила на стол свой портфель, подошла к доске, взяла мел в руку и посмотрела на

собравшихся.

Все взоры были прикованы к маленькой женщине в черном бархатном платье без украшений. Бледная, с широко открытыми глазами, Софья Васильевна казалась спокойной, уверенной, но сама с ужасом думала: вот-вот произойдет катастрофа, или подкосившиеся ноги не удержат, и она упадет, или онемевший язык так и не шевельнется...

Прошла вечность или мгновение? Никто не заметил, каких нечеловеческих усилий стоило этой застенчивой, не переносившей большого общества женщине преодолеть страх, заставить себя заговорить.

— Господа, среди всех наук, открывающих человечеству путь к познанию законов природы, самая могущественная, самая великая наука — математика, — просто и задушевно прозвучал мягкий низкий голос.

Два часа длилась лекция, но никто не почувствовал утомления. С точностью, ясностью и поэтической теплотой излагала Ковалевская трудный вопрос. Слышалось только постукивание мела по доске да шорох бумаги под руками студентов, записывавших слова лектора.

— Сегодня понедельник. Если вы ничего не имеете против, мы могли бы следующее занятие провести в среду, первого февраля, — сказала Софья Васильевна, закончив лекцию.

Профессора устремились к ней, жали ей руку, шумно благодарили и поздравляли с блестящим началом.

— Вы удивительно спокойно держались для первого раза, — отмечали они и недоверчиво покачивали головами, когда Ковалевская откровенно призналась, что, напротив, она была крайне взволнована и даже опасалась, сумеет ли произнести хоть слово.

— Мое волнение понятно: эта лекция не просто первая лекция, но и великий день в моей жизни. Я так благодарна Швеции за отсутствие свойственных многим странам предрассудков в отношении женщин, — с признательностью говорила она. Но вечером в своем календарике — записной книжке отметила:

«Прочитала сегодня первую лекцию. Не знаю, хорошо ли, дурно ли, но знаю, что очень было трудно возвращаться домой и чувствовать себя такою одинокой на белом свете, в такие минуты это особенно сильно чувствуется. *«Encore une étape de la vie derrière moi»*. (Еще один этап жизни позади меня.)

Курс, прочитанный Ковалевской на немецком языке, носил частный характер, но он доставил ей отличную репутацию. После окончания весеннего семестра студенты подарили своему необыкновенному приват-доценту фотографический снимок группы и приветствовали Софью

Васильевну восторженной речью. А несколько почтенных лиц взяли на себя обязательство вносить по 500 крон и собрать четыре тысячи в год на жалованье для нее, лишь бы русскую ученую утвердили штатным профессором университета.

Свершилось то, во имя чего была отдана вся молодость. Ее поздравляли, даже превозносили. Не было слышно только одного, очень нужного, очень дорогого голоса — голоса родины. А без него даже такое долгожданное счастье не обладало окрыляющей полнотой, оставляло вкус горечи.

Снова, как всегда, то, что дала действительность, не походило на созданные воображением картины. Софье Васильевне казалось, что результат бледен, жалок и не стоил мучительной борьбы...

СЕВЕРЯНЕ

И все же университетские успехи сделали свое: Ковалевская воспрянула духом. Как ни добросовестно готовилась она к своим лекциям, как ни старалась наполнить их разнообразным материалом, прочитывая множество трудов, выходявших в России и в Западной Европе, она была настолько хорошо подготовлена, что времени хватало и на другие занятия. Да и по характеру своего ума она не могла ограничиться какой-нибудь одной деятельностью. Ее влекла жизнь, общественные и литературные явления.

На первых порах Ковалевская с нескрываемым любопытством относилась к кружку, группировавшемуся вокруг сестры Миттаг-Леффлера — Анны-Шарлотты. В этом кружке собирались самые интересные люди Швеции, а нередко и гости из Западной Европы. У Анны-Шарлотты любил бывать весьма известный датский критик Георг Брандес. Человек большой культуры, независимого характера и огненного красноречия, он в юности после длительного путешествия по Европе произвел с университетской кафедры нападение на отсталые воззрения своих соотечественников — социальные, политические, религиозные, литературные.

— Главная моя задача, — рассказывал он, — заключалась в том, чтобы посредством множества каналов провести в Скандинавию новые идейные направления, берущие начало в революции и прогрессивных идеалах, и остановить реакцию.

Его лекции завоевали ему пылких приверженцев в среде молодежи и яростных врагов в стане влиятельных ортодоксов. Он разбудил дремавшую мысль в обществе, но сам должен был эмигрировать, провести долгие годы в чужих странах и писать только на иностранном языке.

Георг Брандес с исключительным интересом отнесся к Ковалевской, может быть, еще и потому, что она тоже вынуждена была покинуть родину. Его привлекало и своеобразие ее личности — сочетание логически ясного, «мужского» ума и женской непосредственности, детский смех и тонкая улыбка зрелой, умной женщины, умение высказать мысль наполовину и помолчать так выразительно, что слов больше и не требовалось. Острый, искусный собеседник, Георг Брандес находил в Ковалевской достойного противника для словесных турниров. И ей тоже понравился знаменитый критик с его независимым умом и внешностью Мефистофеля: острый

взгляд глубоких глаз, острая, клинышком, борода, сухие черты лица, резко бороздящие лоб морщины, ироническая усмешка.

Оба они много путешествовали, много видели, наблюдали, сталкивались с незаурядными людьми, оба любили литературу, умели относиться к себе беспристрастно, и оба свято хранили идеалы юности, любовь к свободе и справедливости, без которых не может существовать человечество, как бы оно ни попирало их.

— Кроме этого, — галантно раскланивался Брандес, — я верю в значение великих умов, искрение преклоняюсь перед гением, так как считаю, что только великие люди являются источником культуры.

В один из своих приездов в Стокгольм Георг Брандес познакомил Ковалевскую с Генриком Ибсеном, которым она интересовалась как представителем новой литературной школы в Скандинавии. Софья Васильевна называла его мечтателем.

— О нет, — не согласился Брандес. — Он скорее мыслитель, чем мечтатель. Впрочем, его прекрасные стихотворения показывают, что и ему когда-то был дарован крылатый лирический конь, но Пегаса убили под ним в житейской борьбе.

— А вы не думаете, что в наш стязательный век лирические кони вообще недолговечны? — печально усмехнулась Ковалевская.

Ибсен был невысокий, плотный, с медленной походкой и благородными манерами человек. Одевался он строго и изящно. Его серьезное лицо с сомкнутым ртом и крутым, широким лбом под копной сидящих волос останавливало внимание. От застенчивости Ибсен в обществе почти всегда сурово молчал. Лишь близкие друзья видели его детски нежную улыбку, выдававшую мягкую, легко ранимую душу. Но Ковалевская встречалась с ним не часто. Их отношения не выходили за рамки обычного знакомства. Лишь после ее кончины, узнав, что Анна-Шарлотта Леффлер хочет писать биографию подруги, Ибсен обнаружил свое истинное отношение к русской ученой, сказав:

— Неужели вы собираетесь писать ее биографию в общепринятом смысле?! Не должна ли это быть скорее поэма о Ковалевской? — И добавил — Вы не сумеете выполнить свою задачу, если не придадите биографии поэтического колорита...

Встречаясь со шведами у Миттаг-Леффлера, у Анны-Шарлотты, у профессоров Гюльдена и Лекке, у писательницы Виктории Бенедиктсен, Софья Васильевна и у себя принимала пестрое общество — людей науки, литературы, искусства.

Часто навещала Ковалевская Яльмара Брантинга, в чьем доме могла

«отвести душу», поговорить, не остерегаясь, о политических делах.

В ту пору это был скромный сотрудник социал-демократической газеты, с большой семьей и малыми средствами. Собирались у него запросто, говорили пылко. И чем-то напоминали Ковалевской эти беседы России. Располагал к себе и сам Брантинг — древний викинг по виду: высокий, статный, с темными внимательными глазами, с густой шевелюрой. Он любил и умел спорить, но умел и хорошо посмеяться. У консерваторов он был «на плохом счету», саживал в тюрьме то за «оскорбление его величества короля», то за непочтительные антицерковные высказывания в печати.

Очень заинтересовал Софью Васильевну известный географ-путешественник Адольф Эрик Норденшельд. В 1878–1879 годах он совершил свое знаменитое плавание на яхте «Вега». Выйдя из Гетеборга, он первый через Северо-Восточный проход проник к азиатским берегам с севера и вернулся в Швецию, обогнув Европу.

А совсем недавно, почти перед приездом Ковалевской, Норденшельд попытался пересечь с запада тогда еще не изведенную, таинственную Гренландию и установить, что же там, за гористыми берегами, мертвая ледяная пустыня или вечнозеленая долина? Может быть, не случайно называли этот величественный, суровый остров «Зеленой землей»?

— Но почему же вы, такой опытный полярный исследователь, предположили существование цветущего эдема за стеной ледников? — спрашивала Ковалевская, восхищенно глядя на отважного путешественника.

Его голова была совершенно белой, и седые волосы окружали серебристым сиянием обожженное ветром и полярным солнцем лицо. Улыбнувшись чуть смущенно, чуть иронически. Норденшельд пожал плечами:

— Мне казалось, что горный ледяной заслон преграждает путь холодным ветрам. Почему бы не сохраниться там розам и пальмам от золотой поры нашей планеты? Обнаружил же я на Шпицбергене среди ископаемых растений платаны, тополь, дуб, бук и даже магнолию...

— Я не ожидала, что полярные путешественники немножко поэты, — с восторгом сказала Ковалевская.

Норденшельд склонил голову.

— Да, немного поэты и потому, — выдержав короткую паузу, добавил он, — немного социалисты. И если бы вы познакомили меня с состоянием социализма и нигилизма в России в данное время, если бы порекомендовали литературу, по которой иностранец может составить себе

понятие о целях революционной партии, поэт, отправляющийся на лыжах в ледники искать розы и пальмы, был бы вам очень признателен...

«Я думаю, — писала Софья Васильевна П. Л. Лаврову, — что это очень полезно распространять здесь всеми способами сочувствие к нигилизму, тем более, что Швеция такая естественная и удобная станция для всех желающих покинуть матушку Россию внезапно».

Но самое сильное впечатление на Софью Васильевну произвел Фритьоф Нансен, которого познакомил с ней Норденшельд. Произошло это перед Гренландской экспедицией. Имя Нансена, хранителя Бергенского музея, собиравшегося пересечь недоступный остров, склоняли на все лады и газеты и юмористические листки. «В июне месяце сего года, — издеваясь, писал один из них, — имеет быть дано Нансеном представление — бег на лыжах на материковом льду Гренландии. Место для публики — в трещинах. Обратных билетов можно не брать». Только Норденшельд да еще некоторые ученые поддерживали план молодого исследователя. Старый полярник, четырежды обследовавший Шпицберген, зимовавший в Гренландии, совершивший знаменитый поход на «Веге», Норденшельд мог оценить смелость замысла Нансена. А Нансен платил ему восторженным уважением, еще более возросшим, когда он узнал, что отважного человека царское русское правительство изгнало из Финляндии за политические взгляды.

Софья Васильевна с нескрываемым восхищением разглядывала норвежца, высокого, белокурого, на вид сурового — настоящего северянина. Она нетерпеливо закидывала его вопросами: как он пойдет? С кем? С каким снаряжением?

— Пару превосходных, получивших полярное крещение сапог обещал ему подарить я, — пошутил Норденшельд.

— А копенгагенский купец Августин Гамель берет на себя все прочее, что понадобится, предоставляя в мое распоряжение пять тысяч крон, — в тон продолжал Нансен.

— Но мне хочется знать все подробно, — умоляюще произнесла Ковалевская. — Господину Норденшельду не удалось пересечь этот загадочный остров. А вдруг вам будет сопутствовать удача и за ледяным береговым заслоном вы обнаружите тот неведомый нам теперь мир, который существовал до наступления ледников! Вдруг вы встретите растения и животных, каких мы видим в более или менее удачной реставрации или на картинах ученых фантазеров! А может быть, есть там и человеческие существа, более прекрасные, более совершенные, чем те, что представляются нам в грезах?..

Первый визит Нансена к Ковалевской затянулся вопреки всем понятиям о вежливости. Недурной собеседник и человек, не лишенный подкупающего юмора, Нансен рассказывал Софье Васильевне о своих детских забавах. Когда ему захотелось стать закаленным охотником, он однажды чуть не ослеп от ожога, взорвав с помощью керосина и спичек начиненный порохом полый стебель растения, а на рыбной ловле сам поймался губой на крючок удочки брата, как доверчивая треска.

— Вот видите: шрам — совсем маленький? Мама бритвой разрежала губу и сняла с крючка своего сына-рыбу...

Его первая «полярная экспедиция» — переход через зимнюю реку — окончилась тем, что Фритьоф Нансен вместе с братом провалился под лед.

— Этот шрам на лбу — память о знакомстве со льдиной...

Нансен очень заинтересовался русской ученой. Он бывал у нее, приезжая в Стокгольм, подарил ей свою брошюру: план путешествия в Гренландию.

Романтический образ полярного исследователя захватил и Ковалевскую. Но, читая брошюру — «самое увлекательное и возбуждающее чтение, какое мне когда-либо случалось встретить», — она получила полное понятие о выдающемся человеке: ни для чего «он не отказался бы от поездки к духам великих ледовых людей, которые, как рассказывают лапландские саги, покоятся на ледяных полях Гренландии!»

— Увы, такова жизнь, — иронизируя над своим неожиданным увлечением, говорила Софья Васильевна. — Всегда и во всем получаешь не то, что желаешь, и не то, что считаешь необходимым для себя. Все, только не это. Какой-либо другой человек должен получить счастье, которого я всегда желала себе и о котором всегда мечтала. Должно быть, плохо подаются блюда «le grand festin de la vie» (на великом празднике жизни), потому что все гости берут, точно через покрывало, порции, предназначенные не для них, а для других.

Во всяком случае, Нансен, как мне кажется, получил именно ту порцию, которую он сам желал. Он так увлечен своим путешествием в Гренландию, что нет ничего, что могло бы в его глазах сравниться с этим...

А Нансен признавался, что если бы между ним и Ковалевской не стояли некоторые препятствия личного порядка, эта встреча могла бы иметь значение для их жизни.

Пока Софья Васильевна была поглощена новыми впечатлениями, все окружающие занимались ее дружбой с Анной-Шарлоттой Леффлер — известной писательницей.

АННА-ШАРЛОТТА

Софья Васильевна встретила с сестрой Миттаг-Леффлера на следующий день по приезде в Стокгольм. Они давно, по рассказам профессора, с симпатией относились друг к другу, были готовы к дружбе. Может быть, с большим нетерпением стремилась к этому Ковалевская. У нее, уже осознавшей свои силы в науке, писательский дар все еще вызывал смиренное преклонение. Анна-Шарлотта несколько побаивалась ученой-женщины, как человека, парящего в недоступной ей сфере абстрактного мышления.

Когда шведка осторожно открыла дверь в библиотеку, Ковалевская, перелистывая книгу, стояла у окна. На широком, освещенном солнцем стекле, как нарисованные тушью, темнели ее четкий профиль, волны коротких вьющихся волос, тонкая фигурка в гладком черном платье.

Быстро обернувшись, Ковалевская пошла навстречу Анне-Шарлотте с протянутыми руками. Ее глаза лихорадочно блестели, но заговорила она о самых будничных вещах, пожаловалась на простуду.

Писательница почувствовала даже некоторое разочарование: «Странно, почему брат находит ее необыкновенной?» — и предложила проводить Ковалевскую к врачу.

Они вышли на улицу, перебрасываясь незначительными фразами. Анна-Шарлотта не заметила, как случилось, что, не успев дойти до квартиры врача, она рассказала Ковалевской содержание задуманной ею драмы «Каким образом делаешь добро», план которой был ей самой неясен.

Начала Анна-Шарлотта рассказывать неуверенно, ощупью, пытаясь объяснить неопределившуюся тему. Но Софья Васильевна так быстро и так горячо прониклась ее мыслями, с такой симпатией одобряла и объясняла якобы высказанные ею идеи, что мягкая, податливая шведка увидела вдруг свою драму глазами Ковалевской.

Близость, впрочем, пришла потом, а в эту встречу молодые женщины только приглядывались друг к другу. Софья Васильевна могла судить о чем-либо, лишь зная хорошо предмет. Ей надо было прочитать произведения Анны-Шарлотты, прежде чем составить о ней мнение.

Дружба этих женщин доставляла много удовольствия стокгольмскому обществу, настолько разны и каждая по-своему необычайно интересны были обе подруги. Анна-Шарлотта, высокая, сильная, со светлыми

курчавыми волосами и кроткими голубыми глазами, казалась удивительно спокойной и уравновешенной рядом с маленькой, порывистой русской. Ее внешность обращала на себя общее внимание, но она не была такой прекрасной собеседницей, как Ковалевская.

Софья Васильевна любила спорить во имя спора, нередко сама придумывала для себя возражения, чтобы опровергнуть их. Анна-Шарлотта строго держалась темы беседы, а если ей приходилось отстаивать свою мысль, она делала это со спокойствием, выше всего ценимым Софьей Васильевной в новом друге.

— Есть люди, которые, как Анна-Шарлотта, одним своим присутствием в комнате разливают покой, вносят гармонию, производят впечатление свежести и спокойствия мрамора или мягкости бархата, — говорила она.

На вечерах Анна-Шарлотта больше сама слушала, а если говорила, то всегда старалась давать точные определения. А когда вступала в беседу Софья Васильевна, «Микеланджело разговора», как ее называли, гости умолкали. Все происходило так, как рассказывала Анна-Шарлотта, все могло происходить так, как рассказывала Софья Васильевна, и все было гораздо интереснее, чем в действительности.

Ни одна из способностей Софьи Васильевны не вызывала такого удивления и восторга, как ее психологическая проницательность, ее умение по жесту, интонации угадать характер и судьбу человека. Пришлось ей ехать как-то в поезде с одной женщиной. Ковалевская заговорила со спутницей, расспрашивала ее о планах, а затем сказала:

— Вы, наверное, будете иметь успех. В жизни каждого человека наступает решительный момент, когда вся дальнейшая судьба его зависит от того, пойдет ли он по тому пути, по которому должен идти, или нет. Кто пропустит этот момент, тот губит всю свою дальнейшую жизнь. Вы же принадлежите к числу людей, которые умеют выбрать настоящую дорогу.

— Но как же вы можете знать все это обо мне? — удивилась спутница.

— Я увидела, как вы на станции расставались с вашей матерью, — ответила Ковалевская. — Вы смеялись, прощаясь с ней, а когда поезд тронулся, вы заплакали. Я сразу увидела, что у вас есть и сердце и мужество. А такие люди сумеют в нужное время выбрать истинный путь.

Как-то Анна-Шарлотта произнесла фразу из книги одного датского писателя: «Нужна гениальность, чтобы любить».

Присутствовавшие при этом молодые поэты поняли мысль так, что только гении могут любить. Ковалевская долго не могла заставить их правильно понять это выражение.

Когда они ушли, Софья Васильевна воскликнула:

— Нет, право, невероятно, до какой степени могут быть глупы даже самые даровитые люди, когда дело идет о любви! Эти молодые люди рассуждают и пишут книги о ней, а не понимают, что некоторые люди обладают гением в любви, как обладают гением в музыке или в механике, и для гениев любви любовь превращается в дело жизни, тогда как для других она только один из эпизодов. И обычно бывает — так, что гений любви влюбляется в идиота любви, и это составляет одну из самых запутанных загадок жизни. А юноши даже не заметили этого. Но если существует область, в которой самая глупая женщина умнее самого умного мужчины, так это область любви.

Анна-Шарлотта Леффлер, улыбаясь, слушала пылкую тираду. Наконец Софья Васильевна догадалась, что подруга намеренно вовлекла ее в спор.

— О коварная Анна-Шарлотта! Ты бросила перчатку, а предоставила одной мне выпутываться из беды?!

Леффлер, как и многие другие, не любила прерывать остроумную, образную речь Ковалевской.

Однажды, гуляя пешком по лесу в погожий морозный день, Анна-Шарлотта заговорила о красоте зимы, которая нравилась ей больше лета. Софья Васильевна окинула долгим взглядом прямую высокую фигуру подруги, ее румяное с полуоткрытым ртом и сияющими глазами лицо.

— Ты сама и твои произведения, — сказала она, — похожи на этот ясный, мягкий, морозный день. Но явится любовь, которой ты так боишься, и заставит растаять снег.

— Весьма возможно, — ответила Анна-Шарлотта. — Никто не может предвидеть своей судьбы. Знаю одно: если я и боюсь любви, то только потому, что стоит ей вторгнуться в мою жизнь, и она обратится во всевластную и, быть может, всесокрушающую силу.

Леффлер легко поддавалась влияниям, воспринимала чужие мнения и взгляды.

— Я боюсь людей, — говорила она, — которые имеют глубокие убеждения, противоположные моим. Я похожа на воск, и всякое сильное убеждение оставляет на мне свой отпечаток. К счастью для меня, сильных убеждений на свете очень мало...

Живя постоянно в обществе Софьи Васильевны, Анна-Шарлотта всецело подпала под ее влияние и в своих произведениях отражала взгляды Ковалевской. Ковалевская говорила, что, будь она рядом, Анна-Шарлотта не написала бы драму «Истинная женщина».

— Мне просто противна твоя «истинная женщина», которая вступила

в борьбу с мужем, чтобы сохранить для матери остатки своего состояния, — укоряла она подругу. — Да понимаешь ли ты, что женщина, отдавшая себя любимому человеку, никогда не задумается пожертвовать для него всем своим состоянием до последнего эре!

При этих словах горькие складки вокруг ее рта проступили резче, сумрачные тени приглушили неистовый блеск огромных, чуть косящих глаз. Она-то не задумалась отдать Владимиру Онуфриевичу не только свое состояние!

В «Летней идиллии» Леффлер заставила вступившую в брак с горячо любимым человеком женщину покинуть мужа, так как она не смогла совместить обязанности матери, хозяйки, помощницы в делах мужа со своим призванием. И в повести «Алия» героиня отказывается от личного счастья, видя, что ее самостоятельность не привлекает, а отталкивает мужчину.

Эти произведения вызвали большой шум в обществе, и Анна-Шарлотта говорила, повторяя мысли русской подруги:

— Я знала, что мои слова будут перетолкованы в самом вульгарном смысле: скажут, будто бы я проповедую, что теперь настала очередь мужчин отказаться от своего призвания ради призвания женщин, о чем, конечно, я и не помышляла. Я только хотела сказать, что если кому-либо и приходится отказываться от призвания, то это должен или, скорее, должен бы был делать тот, независимо от пола, который обладает менее выраженной умственной индивидуальностью.

Если супругам придется вследствие этого по временам жить отдельно, то это еще, по-моему, не большая беда. Почему нельзя приравнять совместную жизнь супругов ко всякой другой совместной жизни? Ведь известно, что люди развиваются лучше и свободнее, когда они не живут вечно и неразрывно вместе? Да здравствует путешествие от времени до времени одного из супругов к Северному полюсу! От этого любовь становится свежее, а личность свободнее.

Но когда Анна-Шарлотта полюбила, ей не хотелось больше писать. В сорок лет она жила своим счастьем, «как живут в юности». Софья Васильевна завидовала этой способности отдаваться чувству, забывая обо всем на свете, завидовала тому, что шведка встретила большую любовь.

— Анна-Лотта получает все, чего ни пожелает, — говорила Ковалевская. — Если у нее когда-нибудь явится фантазия совершить путешествие на Марс, наука придет к ней на помощь и откроет воздушный путь на эту планету.

Все словно «само шло» в руки А.-Ш. Леффлер: не задаваясь большими

целями, она, например, написала юмористическую повесть «Густен получит пасторат» которой мать незадачливого Густена становится счастливой, уверовав в неременную удачу сына.

Софья Васильевна сказала, что эта вещь трогает ее несравнимо больше, чем любая драма Анны-Шарлотты, так как в ней изображен весь трагический смысл жизни.

— Мы все живем иллюзиями, умираем от иллюзий и только тогда можем назвать себя счастливыми, если и умираем с иллюзиями, как мать Густена.

— Я вовсе не думала создавать что-нибудь глубокомысленное, когда писала эту повесть, — возразили Анна-Шарлотта. — Я хотела просто изобразить судьбу такого рода людей.

— Но это именно и есть наша общая для всех судьба! — воскликнула Ковалевская. — Поэт по вдохновению дает всегда гораздо больше того, что он предполагал дать. Затем на сцену появляется глупый критик и указывает на философские и социальные тенденции автора. На самом деле вся суть в том, что поэт заставляет других философствовать и морализировать благодаря художественному воспроизведению действительности...

Писательское дело неотразимо влекло ее, и она настойчиво старалась разгадать его сущность.

ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА

*Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми глазами,
Златые омочив края
Своими же слезами.*

М. Лермонтов

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

В конце мая 1884 года Софья Васильевна поехала в Берлин провести каникулы возле учителя, посоветоваться с ним о своих занятиях. Она надеялась, что ей разрешат послушать лекции в университете.

Миттаг-Леффлер дал ей множество поручений, касающихся основанного им два года назад научного журнала «Acta mathematica», в число редакторов которого привлек он и русскую ученую. Она должна была добыть от математиков статьи, а от Вейерштрасса — еще и тему для конкурса на премию шведского журнала.

Вейерштрассу многие уже сообщили об успехах его ученицы.

О выдающемся таланте Ковалевской как преподавателя говорили и ученики и профессора. Она с необыкновенным искусством умела возбуждать и направлять интерес слушателей к любимой науке, считалась с индивидуальностью каждого ученика, относилась очень внимательно ко всем проявлявшим талант. Учитель Ковалевской не скрывал радости и нетерпеливо ждал, когда же ее официально назначат профессором. Ему так хотелось, представляя ученицу, называть ее:

— Фрау профессор Ковалевская!

Софья Васильевна смеялась и пыталась убедить старого друга, что теперь не так важно, произойдет ли это событие днем раньше, днем позже.

— Все равно ведь ваши чиновники не разрешили мне слушать лекции в Берлинском университете, хотя и знают, что я сама читала их в Стокгольме.

— Да, конечно, — сердито возражал Вейерштрасс. — И отказали только потому, что ты еще не имеешь этого звания. Они не посмели бы третировать тебя, как начинающую студентку, будь ты профессором.

Учитель говорил о ее назначении при каждой встрече, а это случалось почти ежедневно.

— Как бы отнеслись в Стокгольмском университете, если бы я пожелал прочитать там лекции? — спросил он однажды, отводя глаза.

— О, вы еще спрашиваете? Да об этом говорят как о неосуществимом желании! Мы были бы просто счастливы послушать вас! — взволнованно сказала она, а затем добавила — Но, признайтесь, вам хочется приехать в Стокгольм только тогда, когда я буду там профессором, не правда ли, тщеславный человек? Если это так, а я уверена, что близка к истине, вы обязаны помочь мне предстать перед шведами всемогущей. Господин

Миттаг-Леффлер поручил мне добиться от вас темы, которую вы могли бы предложить на премию «Аста».

Вейерштрасс вдруг рассердился.

— Ты злоупотребляешь моим отношением! — крикнул он. — Я слышать больше не хочу ни о каких премиях!

Ученица недоумевающе посмотрела на профессора. Но Вейерштрасс, уже овладев собой, с юмором поведал Софье Васильевне, как он был наказан за собственное коварство. Очень занятый — шесть часов в неделю лекции о вариационном исчислении, два раза в месяц двухчасовые занятия на семинаре, — Вейерштрасс на настоятельные просьбы коллег не без умысла предложил для берлинского конкурса вопрос из синтетической геометрии и думал, что на него никто не сможет ответить.

— И представь себе, вопреки моим ожиданиям посыпалось вдруг столько работ, да одна объемистее другой, что мне теперь их хватит недель на семь при самом упорном труде! А ты предлагаешь мне еще новую казнь!

— Все же я думаю, что это великий грех, если вы не поможете советом своему талантливому ученику! Журнал и создан энергией Миттаг-Леффлера и, между нами, только его энергией держится...

В конце концов Вейерштрасс дал себя убедить: он не только обещал подумать о теме, но даже высказал мнение о порядке присуждения премии, очень порадовавшее Ковалевскую.

— Полезнее всего присуждать определенную сумму за наилучшую математическую работу последних лет, — сказал он.

— Да, да, вы правы, — согласилась Софья Васильевна. — В России существует премия на подобных условиях. Премия Бэра в три тысячи рублей. Ее присуждают раз в три года за лучшую работу по анатомии. Я нахожу, что эта премия принесла больше пользы, чем другие, потому что она действительно предоставляет имеющимся у нас в России выдающимся натуралистам возможность продолжать свои исследования...

Ковалевская приходила к Вейерштрассу знакомиться с его новыми работами, с диссертациями молодых и обсуждала с ним свои намерения. По совету профессора Софья Васильевна навещала немецких «богов математики» Кронекера, Кенигсбергера, Фукса.

Восхищавшийся талантом Софьи Васильевны Кронекер за неделю прочитал ей подробный курс лекций по обобщению интеграла Коши.

— По-видимому, это нечто замечательное, — сообщала она Миттаг-Леффлеру. — Я, со своей стороны, особенно поражена аналогией с потенциалом. Я уже раньше предчувствовала нечто подобное!

Удалось Ковалевской узнать о некоторых молодых математиках,

которых можно было привлечь к сотрудничеству в журнале.

«Знаете ли вы что-нибудь о работах Гурвица? — писала она Миттаг-Леффлеру. — Судя по тому, что я здесь слышала, это совсем молодой геометр (26 лет) с очень большим талантом. Его только что назначили профессором в Кенигсберге. Его диссертация о модулярных функциях очень изящна... Это человек, которого нужно непременно привлечь в «Acta»... Минковского также нет в Берлине в настоящее время. Он ничего не создал за эту зиму, но, вероятно, это потому, что ему еще много надо учиться. Подумайте только, ведь ему всего 20 лет!»

Сожаление о напрасно потраченном в Петербурге и Москве времени нет-нет да и закрадывалось ей в душу.

Приехав на этот раз в столицу Германии уже не как ученица — хотя бы даже талантливая, но ученица, — Софья Васильевна теперь независимее рассматривала своих знаменитых ученых коллег и подмечала то трогающие ее, то смешные, то неприятные черты в их характерах.

Она трижды на званных обедах встретилась с Лазарем Фуксом, тем самым ректором Геттингенского университета, с которым Вейерштрассу пришлось вести длительную переписку по поводу защиты ее диссертации. Фукс занимал важное положение в Берлинском университете. Софья Васильевна злословила о нем:

— Наш мэтр окончательно раздавлен тяжестью своего нового достоинства! Он не читает ничего, кроме того, что абсолютно необходимо для его лекций! Мне было совершенно невозможно заставить его говорить о математике. Когда я начинала рассказывать ему что-нибудь, он только время от времени произносил: «Гм, гм». А когда я задавала ему вопросы, он пыхтел, принимал вид мученика и, казалось, говорил мне: «Ради самого неба, дайте же мне спокойно предаваться пищеварению».

Впрочем, это не помешало ей восторгаться тем, что «не прошло и двух недель, как Фукс представил труд в академию, а Пуанкаре уже успел воспользоваться им, чтобы положить в основу своей новой работы, которую он только что доложил в Парижской академии. Теперь, после того как Фукс сообщил идею его исследований, она кажется настолько простой и естественной, что трудно понять, как она никому не пришла в голову раньше».

Но вестей об утверждении профессором все не было. Оказалось, что Миттаг-Леффлеру пришлось бороться за Софью Васильевну даже после того, как правление университета отважилось, наконец, предоставить ей штатную должность.

«У самых худших ночных колпаков, — возмущался он в письме к

Ковалевской, — еще больше открылись глаза на то, какое ужасное дело совершилось! Особенно поражен Дюбен — дурак второго, если не третьего класса. Он предполагает, что вы должны быть нигилисткой и привезете еще неизвестные взрывчатые вещества в наше добропорядочное отечество!»

На трудности этой борьбы Миттаг-Леффлер не особенно сетовал. Он считал, что если хватит сил, вдвоем с Ковалевской за пять-десять лет он сумеет столько сделать, что положение математики «как в Стокгольме, так и вообще на свете» будет несравнимо лучшим, чем теперь. И если он не совершил в своей жизни многого, что в юности намеревался сделать, то уж одно дело — приглашение Ковалевской — будет, несомненно, вписано в его послужной список как «стоящий поступок»!

Прекрасные слова, но до осуществления цели жизни было далеко. Софья Васильевна почти перестала верить, что все обойдется благополучно. Вдруг поздно вечером 24 июня 1884 года принесли телеграмму от члена правления университета барона Уггласа с извещением, что «госпожа Ковалевская назначена профессором сроком на пять лет», а вслед за ней вторую — от Миттаг-Леффлера.

Бежать к Вейерштрассу даже с таким известием Софья Васильевна не решилась. Она ходила по комнате, сжимая в руке драгоценные листки бумаги. Хотелось поведать свою радость кому-то близкому, дорогому. И никого, никого не было в эту минуту возле нее! Она вздохнула, села за стол и написала Миттаг-Леффлеру:

«Дорогой друг! Мне нечего говорить вам, какой радостью преисполнили меня телеграмма от Уггласа и пришедшая несколькими часами позже ваша телеграмма. Теперь я могу признаться вам, что до последней минуты не была уверена, что дело кончится успехом, и все время боялась, что в последнюю минуту появится какое-нибудь непредвиденное затруднение (как это часто случается в жизни)».

Едва дождавшись утра, она отправилась к Вейерштрассу и протянула ему смятые телеграммы.

— Теперь я от всей души желаю обладать силами и способностями, необходимыми для того, чтобы хорошо выполнить свои обязанности и быть достойной помощницей во всех делах Миттаг-Леффлера. Теперь я верю в будущее и так счастлива работать вместе с моим шведским товарищем. Как хорошо, что мы с ним встретились в жизни! И этим я тоже обязана вам!... — сказала она учителю на его поздравления.

Весть о назначении Ковалевской штатным профессором разнеслась по Берлину. С скромная русская стала знаменитостью. Германский министр просвещения фон Госслер выразил желание познакомиться с «фрау профессором», наговорил всяческих комплиментов и разрешил ей — единственной из женщин! — доступ на лекции во все прусские университеты, если она пожелает их посещать. У нее просили математические работы для журнала, ее пригласили на годовое заседание Берлинской академии, а на следующий день во всех газетах было напечатано, что «в числе публики находилась госпожа Ковалевская, профессор математики в Стокгольме».

Сестра Миттаг-Леффлера Анна-Шарлотта написала для шведских газет такую восторженную биографию первой женщины-профессора, так много, со слов брата, сказала о важности научных трудов русской ученой, что Софья Васильевна съязвила:

— О, если бы я была на месте своих врагов, то не упустила бы этого благоприятного случая, чтоб поиздеваться над ученой дамой!

Среди благожелательных голосов прозвучал и враждебный. Это был голос Августа Стриндберга. Еще недавно он выступал в литературе как защитник освобождения и равноправия женщин, а затем, когда под влиянием книг таких писательниц, как Анна-Шарлотта Эдгрен-Леффлер и Агрелль, в обществе стали превозносить женщину, Стриндберг возмутился против «унижения мужчины». Он объявил, что женский пол — враг мужского, что если мужчина теперь не соберется с силами для борьбы с ним, ему придется «подпасть под иго женщин — низменных в своей жажде власти».

Стриндберг написал в газете статью против назначения Ковалевской.

— Он доказал так ясно, как дважды два — четыре, насколько такое чудовищное явление, как женский профессор математики, вредно, бесполезно и неудобно, — шутила Софья Васильевна. — Я лично нахожу, что он, в сущности, прав. Однако возражаю против одного: что меня пригласили лишь из любезности к моему полу.

Злословие писателя не отразилось на отношении Ковалевской к нему. Когда позднее ей пришлось присутствовать на юбилее Стриндберга, кто-то высказал свое удивление, что она оказывает внимание человеку, выступавшему против нее. Софья Васильевна на это ответила.

— Именно потому, что односторонний Стриндберг так несправедливо напал на меня, я счастлива, что могу выразить свое удивление гениальному Стриндбергу. Мы, женщины, должны учиться у мужчин, но не допускать, чтобы их человеческие слабости или ошибки затемняли для нас

истинные их заслуги...

Ей не было нужды обижаться на необъективное отношение большого писателя. Вся ее профессорская деятельность была живым опровержением выпадов Стриндберга. Ковалевская излагала наиболее трудные разделы высшей математики, новейшие исследования видных ученых Германии, Франции, Англии и свои собственные работы. Она читала лекции два-три раза в неделю по два часа. Нередко ей приходилось заменять заболевших профессоров. Однажды она по этому поводу даже написала хворавшему Миттаг-Леффлеру: «Математический факультет было бы правильнее назвать математическим лазаретом. Одна я гожусь на что-нибудь».

Цюрихский профессор Шварц, с которым ей когда-то так хотелось поработать, прислал ей весьма любезное письмо. Шварц восторгался тем, что Ковалевская стоит «на собственных ногах», что благодаря своим знаниям она завоевала себе такое положение, какому могут позавидовать многие мужчины. Он писал о своем желании непременно приехать в Берлин — повидаться и поговорить с ней. Он сообщал, что ему не удалось дать в одной из своих работ строгие доказательства и он надеется, что Софья Васильевна поможет преодолеть затруднения, которые оказались ему не под силу.

— Это слишком уж лестно! — прочитав письмо Вейерштрассу, усмехнулась Софья Васильевна. — Я не могу относиться к Шварцу с прежней приязнью. Мне рассказали, что он строит козни против Миттаг-Леффлера. И уж, конечно, я встану на защиту своего шведского друга!

— Да, мой ученик действительно интригует! — подтвердил Вейерштрасс. — Геттингенская обсерватория намеревалась пригласить на пост директора вашего Гюльдена. А Шварц добивался этого места для своего друга Шеринга, хотя берлинские астрономы утверждают, что избрание Шеринга равносильно исключению обсерватории из списка астрономических учреждений.

— А я очень довольна, что в Германии не решен вопрос об условиях приглашения Гюльдена, — сказала Ковалевская. — Вероятно, Швеция сможет сохранить его. Знаете, в настоящее время, я думаю, есть немного астрономов, которые стоили бы его!

Вейерштрасс насмешливо прищурился:

— Я вижу, ты всерьез занята делами Стокгольмского университета? Это хорошо. Ты проявляешь благородство характера и чувство благодарности. Значит ли это, что ты полюбила Швецию и нашла в ней вторую родину?

— Полюбила ли я Швецию? Нашла ли вторую родину? — задумчиво

повторила Софья Васильевна слова учителя. — Да, я очень, очень признательна этой стране за широкое отношение к нам, женщинам. Но, да простят мне боги мою дерзость, — засмеялась она, — я, кажется, начинаю понемногу затягиваться там нежной, бархатистой, зеленой тиной «благопристойности»!.. Вам известно что-нибудь более мертвящее, чем устоявшееся, властное и непререкаемое так называемое общественное мнение? — спросила она Вейерштрасса, и глаза ее потемнели.

— Гм... — неопределенно отозвался профессор.

— Вы мужчина и можете позволить себе не особенно им интересоваться, — продолжала Ковалевская. — Но как быть женщине? Да еще одинокой? К тому же ученой, что само по себе есть уж нечто выходящее за пределы освященного традициями положения? В Москве перед отъездом в Берлин я получила письмо от жены астронома — Терезы Гюльден. Гюльдены долго жили в России, они ко мне хорошо относятся, мы очень дружны. Но даже Тереза советует мне взять Фуфу в Стокгольм, иначе меня будут осуждать за равнодушие к дочери.

— Но это же вздор! — негодуя воскликнул Вейерштрасс. — Разве можно сравнивать жизнь девочки в России, у добрейшей фрейлейн Юлии, с неустроенной жизнью в незнакомой стране, где ты так занята?

— Вот я и написала Терезе, что готова подчиняться суждению трибунала стокгольмских дам во всем, что касается житейских мелочей. Но в серьезных вопросах, особенно когда идет речь о благополучии ребенка, было бы непростительной слабостью, если бы я подчинялась чужому влиянию из желания предстать хорошей матерью в глазах стокгольмского курятника...

Горячую, подозрительно горячую речь Сони Вейерштрасс слушал, опустив голову на руку. Очень горько будет узнать, что Соня несчастна в благополучной Швеции!

А она, не желая тревожить учителя, призналась только одному из берлинских приятелей, как тяжело ей возвращаться в Стокгольм:

— Скажу вам откровенно, что у меня сейчас примерно такое чувство, как у ребенка, который должен из дому вернуться в школу. Я, конечно, невыразимо счастлива, что мне предстоит такая прекрасная деятельность в Стокгольме. Там имеются люди, которые ко мне очень хорошо относятся и оказали мне за короткое время моего пребывания там много любезностей. Но тем не менее я чувствую себя там совсем чужой. Становится очень грустно, как подумаешь, что придется в течение большого промежутка времени оставаться вдали от людей, которыми я дорожу. Собственно говоря, мне больше чем кому-либо следовало бы привыкнуть к

одиночеству, и тем не менее мне это не удастся. Чем меньше у меня на свете остается друзей, тем труднее мне расставаться с ними... Впрочем, — торопливо добавила она, — мой сплин — это неизбежная реакция. Я была вынуждена слишком много работать...

ЛАВРЫ И ТЕРНИИ

Репутация русской ученой упрочилась. Когда безнадежно заболел профессор механики Хольмгрен, барон Угглас сообщил, что правление университета просит Ковалевскую заменить больного за такое же вознаграждение. Софья Васильевна согласилась, предупредив: если Хольмгрен поправится, то она сочтет это таким счастливым событием, что совершенно не пожалеет о своей работе.

Но противники женщины-профессора не складывали оружия. Вскоре поползли слухи, что правление университета как будто нашло Хольмгрену заместителя по механике в Технической школе, что ректор Линдхаген якобы спросил, а нужна ли вообще механика в университете; профессор зоологии Лекке возражал против передачи курса механики Ковалевской под тем предлогом, что один профессор нигде не должен занимать две должности, хотя бы и временно.

И Миттаг-Леффлера и Ковалевскую очень волновало, кого из математиков Европы можно пригласить в университет.

— Хороший коллега имеет такое большое значение для нашего самочувствия, — говорила Софья Васильевна, — что я ужасно боюсь, как бы вы, господин Миттаг-Леффлер, в спешке не сделали плохого выбора. Я-то поступаю, как мамаша молодого человека в пьесе Анны-Шарлотты: во всех известных мне «барышнях на выданье» я вижу один недостаток и все время надеюсь, что случай приведет мне девушку, которой я еще не знаю, но которая окажется лучше всех. Подумайте только! Если бы удалось найти молодого Вейерштрасса или молодого Гельмгольца. Ведь они где-нибудь существуют на свете. Почему бы нам не найти одного из них?

«Может быть, это Рунге? — размышляла Ковалевская. — Он обладает большими способностями, но мне было бы очень неприятно видеть его в Стокгольме именно потому, что я относилась к нему слишком дружелюбно, а затем несколько фактов убедили меня, что у него безмерно развита «шишка тщеславия»! А что вы скажете о Гурвице? Он очень молод, ему двадцать шесть лет, и он пишет, то есть излагает, очень плохо, но у него много интересных мыслей. Он очень талантлив и получил уже кафедру в Германии, значит, для нас потерян».

Прочитав работу немецкого физика Генриха Герца, касавшуюся вопроса, который Ковалевская рассматривала в течение зимнего семестра, она обрадовалась. Немецкие друзья на ее запросы о Герце подтвердили, что

это одни из самых талантливых молодых физиков Германии.

Но ломать голову дальше не пришлось: козни врагов Ковалевской были расстроены. Ректор университета астроном Линдхаген стал всецело на ее сторону. Как и большинство мужчин того времени, он, не скрывая, считал, что каждая женщина по природе своей должна пытаться освободиться от обязанностей, не относящихся к чисто женской сфере, что сил ее может хватить ненадолго. Но когда он прослушал лекции Ковалевской по элементарной алгебре, он почувствовал еще большее уважение к русской и убедился, что эта маленькая женщина способна читать вдвое больше, чем ей приходится.

Через некоторое время Софья Васильевна, скрывая за шуткой тревогу, могла написать одному из друзей:

«Исходя из того соображения, что раз ты стал профессором, то можно с таким же успехом быть им вдвойне или в квадрате, я приобрела себе, кроме прежней, еще новую профессуру. Не думайте, что это шутка; дело действительно до некоторой степени обстоит так. Моя формула сейчас гласит; «фру^[11] Соня = профессору² (в квадрате)». Я назначена и профессором механики. Останусь им не более двух лет, а затем передам это место одному из моих учеников. Но вы, дорогой мой друг, можете себе представить, что не так-то легко быть дважды профессором».

При такой большой занятости от полного изнеможения Ковалевскую спасала только физическая закалка — неизменные холодные обтирания, ванны, гимнастика и прогулки на свежем воздухе.

Новые стокгольмские друзья охотно занимались спортом. Софья Васильевна тоже следовала им. Зимой среди катающихся на коньках в заливе около Нью-Бруклина почти каждый день видели маленькую женщину в плотно облегающей меховой кофточке, с руками, спрятанными в муфту. Она неуверенно двигалась рядом с Миттаг-Леффлером и Анной-Шарлоттой, тоже не отличавшейся свободой движения. Миттаг-Леффлер время от времени рисовал палкой на льду математические формулы. Софья Васильевна останавливалась, и тут же, на льду, разгорался спор... Наука, которой посвятили себя Ковалевская и Миттаг-Леффлер, не отпускала их ни на один час.

Софья Васильевна все больше углублялась в исследование одной из труднейших задач — о вращении твердого тела.

«Новый математический труд, — как-то сообщила она Янковской, — живо интересуется меня теперь, и я не хотела бы умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся разрешить проблему, которою я занимаюсь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков. По моему

расчету, мне нужно еще пять лет для того, чтобы достигнуть хороших результатов».

В этом письме впервые с такой определенностью шла речь о вращении твердого тела. Это пока был еще тот период, когда ученый, как следопыт, только изучает запутанные и неясные тропы, чтобы отыскать среди них одну верную. Но Ковалевская, наконец проверив все существующие методы решения задачи и отвергнув их как несовершенные, смело применила новые средства и... поверила в успех. Правда, предстояли годы напряженнейшего труда, чтобы приблизиться к цели. А времени не хватало.

Дни наполнялись лекциями, занятиями, встречами с разными людьми. Много сил отнимала подготовка к печатанию последних томов произведений Брема, которые Владимир Онуфриевич не смог издать. После его смерти Софья Васильевна предлагала Суворину приобрести у нее Брема, но разбогатевший издатель предложил ей смехотворно низкую цену. Ковалевской нужны были деньги для уплаты долга друзьям-кредиторам Владимира Онуфриевича, вовлеченным в операции с паями рагозинского общества.

Слава ее между тем росла. «На Ковалевскую» хозяева приглашали гостей, как приглашали «на Нансена», входившего в моду. В обществе ее называли «наш профессор Соня (Sonya)», ее именем называли детей. Может быть, эта «суэта сует» порой вызывала бы у нее беззлобную иронию, порой забавляла бы ее, не будь все так плоско и серо кругом.

Софья Васильевна начинала всем существом своим понимать страстные метания Стриндберга, гневную музу Ибсена, протесты Анны-Шарлотты и Эллен Кей против ханжества и лицемерия общества. Буржуазное самодовольство его «столпов», создававших общественное мнение, давило, как чугунная плита. Ковалевская задыхалась в густых парах фарисейской, своекорыстной благонамеренности, самоублаженной пошлой респектабельности торгашей.

Друзья — умные, милые, добрые к ней — уже не могли дать ей ничего нового, возбуждающего мысль. Она знала наперед все, что они скажут, подумают в том или ином случае. Ей не хватало России — ее гигантских масштабов в добре и зле, постоянного кипения идей, не хватало русских, всегда беспокойных, всегда к чему-то стремящихся.

— Если нельзя доставить себе высшего счастья в жизни, счастья сердца, — говорила она близким друзьям-шведам, — то жизнь, во всяком случае, бывает еще сносною, когда живешь в подходящей духовной среде. Но когда не имеешь ни того, ни другого, жизнь становится просто

невыносимой!

Стокгольмское «общество» требовало жертв: следовало делать визиты почтенным лицам, принимать их приглашения, независимо от того, нравятся они или не нравятся. Это были богатые люди, от благоволения которых зависело существование университета, судьба ученых, ее собственная судьба.

Обед у директора банка Пальме — благотворителя, общественного деятеля — оставил особенно неприятный осадок. В присутствии старой швейцарки-гувернантки и кюре хозяин разглагольствовал о «безнравственности» новой пьесы Анны-Шарлотты, в которой писательница обличала лицемерие буржуазной морали.

— Никогда ничего подобного не могло произойти в Стокгольме, — с апломбом заключил он свои бесцеремонные, невежественные нападки.

— Я, конечно, не могу претендовать на то, что хорошо знаю стокгольмское общество, — сдержанно ответила Софья Васильевна, закипая внутренне, — но мне приходилось уже слышать несколько рассказов о подобных происшествиях, герои которых весьма уважаемые лица.

А сама подумала, не имеет ли и он каких-либо личных причин с таким раздражением объявлять пьесу безнравственной и неправдоподобной? О нем говорили, что его образ жизни вовсе не отличается аскетизмом. Главное же, он убежден, что должен придерживаться тех взглядов, какие исповедуют денежные тузы, которым он служил и которые держали в своих руках его благополучие. А Анна-Шарлотта расшатывала своими произведениями устои буржуазного существования.

— Госпожа Эдгрэн-Леффлер позволила себе воспользоваться для описания вестибюля барона Вольфа вестибюлем моего дома, — с тупым высокомерием объявил Пальме и предложил госте самой убедиться в этом.

Ей ничего не оставалось делать, как обследовать вестибюль особняка, а затем, скрывая свое презрение, утешить хозяина:

— Может быть, вы и правы. Но вы должны быть очень польщены этим, так как госпожа Эдгрэн, безусловно, намеревалась описать наиболее элегантный вестибюль в Стокгольме...

Нет, она не могла больше лицемерить, не могла улыбаться надутым, чванным пошлякам! Тоска, нестерпимая тоска охватывала Ковалевскую.

А жизнь, как нарочно, поворачивалась к ней невыносимо пошлыми сторонами, которых в пору интенсивного труда она не замечала. Из Берлина приходили пустые, мелкие, не поднимающие духа известия. Вот

Кroneker ни за что раскритиковал хорошего математика Кантора, потом обиделся, что его не избрали в состав судей по премиям «Acta» и написал Миттаг-Леффлеру о своем намерении пожаловаться королю Оскару на действительное (!) положение математики в Швеции. Вейерштрасс правильно предупреждал Софью Васильевну, что когда тщеславие этого профессора задето, он теряет голову и способен на величайшие глупости. Но Вейерштрасс так высоко ценил математический талант Кронекера, что ему противно было обсуждать жалкие слабости большого ученого.

И Софья Васильевна советовала Миттаг-Леффлеру сохранять хладнокровие.

— Чтобы хорошо ответить Кронекеру, надо обладать пером француза и суметь подмешать достаточно иронии под покровом безукоризненной вежливости, так, чтобы сам Кронекер понял, насколько он неприличен, не деликатен и некорректен, вмешиваясь в дела чужой страны и чужого правительства, особенно если его положение редактора соперничающего журнала, как в данном случае, с очевидностью выявляет его личные интересы.

Член редакции «Acta» математик Мальмстен и король Оскар II хотели, чтобы конкурсный комитет назначал король, чтобы в первый раз комитет был составлен из главного редактора журнала — Миттаг-Леффлера, одного немецкого или австрийского математика — Вейерштрасса, одного французского или бельгийского — Эрмита, одного русского или итальянского — в первый раз Бриоски или Чебышева, во второй — Ковалевской.

Кронекеру особенно трудно было примириться с кандидатурой русской ученой!

Дразги эти огорчали Софью Васильевну, ей все чаще чудилось, что она задыхается без воздуха, все нестерпимее становилась тоска по России. Она уговорила поэта Г. Энгстрема перевести на шведский язык стихотворение Добролюбова «Милый друг, я умираю», стихи Никитина и помогала шведу правильно толковать произведения русских поэтов.

В смятении и тоске она все нетерпеливее размышляла о своей судьбе, сетовала, что жизнь не дала ей именно того, чего она всегда желала. Она больше не повторяла, что каждый человек — только половина другого и что в жизни может быть лишь одна любовь, оказывающая решающее влияние на судьбу людей. Теперь она говорила о таком союзе, который бы являлся союзом двух умов, поддерживающих друг друга и приносящих зрелые плоды. Она мечтала о встрече с математиком, который мог бы сделаться ее вторым «я», буквально страдала, если возле нее не находился

кто-нибудь, кто вращался бы в сфере тех же идей, что и она.

Однажды в ответ на присланное Анной-Шарлоттой поздравление в стихах Ковалевская по-шведски ответила стихотворением, в котором охарактеризовала себя как хамелеона:

Хамелеона ты знаешь с детских лет,
Когда он сидит одиноко в своем углу,
Он кажется таким незаметным, некрасивым
И серым, но при хорошем освещении
Он может быть и красивым.
У него нет собственной красоты, он только
Отражает, как в зеркале, все, что видит
Вокруг, хорошее и прекрасное...
Он может переливаться и желтым, и голубым,
И зеленым цветом; какими будут его друзья.
Таким может сделаться и он. В этом животном
я как бы вижу самое себя.

Миттаг-Леффлер часто смеялся над подобными утверждениями, которые, как он знал, совершенно не соответствовали истине:

— Такая потребность — проявление женской слабости. Истинно талантливые мужчины никогда не испытывают желания стать в зависимое отношение к другому лицу.

Софья Васильевна тут же с задором приводила множество примеров, когда мужчины лишь в любви к женщине черпали свое вдохновение.

— Да, но ведь то были поэты, люди сердца, а не ума. Среди научных деятелей вы не так легко найдете доказательства этой теории, — настаивал Миттаг-Леффлер.

«Профессор в квадрате» не затруднял себя подыскиванием нужных примеров. Если не удавалось найти, Софья Васильевна тут же их изобретала со свойственным ей искусством и горячо доказывала, какое мучение для глубоких натур — чувство одиночества.

Весна всегда была очень тяжелым временем для Ковалевской, а стокгольмская оказалась вовсе невыносимой. Смутное брожение в природе делало Софью Васильевну беспокойной, нетерпеливой. Особенно тревожили светлые северные ночи.

— О, это вечное северное сияние, — говорила она своим уравновешенным шведским друзьям. — Оно как бы дает массу обещаний и

ни одного из них не выполняет. Земля остается такой же холодной, как и была; развитие идет назад так же успешно, как и вперед, и лето мерещится где-то вдали, как мираж, которого никогда не удастся достигнуть...

НО ГЛАВНОЕ — ТВОРЧЕСТВО

Сразу же по окончании летнего семестра Софья Васильевна собралась в Париж. Ни Петербург, затаившийся под мрачным владычеством Победоносцева, ни Берлин с мелкими интригами в профессорской среде не могли дать успокоения ее перенапряженным нервам. Только Париж, этот мировой перекресток с его стремительным ритмом, бурлящими страстями, с разнообразием и новизной идей, казалось, мог возбудить угнетенный дух. Радовало внимание французских математиков, желавших узнать первые результаты ее новых исследований о вращении твердого тела.

Миттаг-Леффлер, провожая, с неизменным благожелательством ободрял затосковавшего в Стокгольме товарища:

— Дорогая Соня, если бы я по своей природе был завистливым, то очень завидовал бы вашему счастью. Что может быть прекраснее — сделать новое математическое открытие и самой изложить его перед наиболее компетентными слушателями в Европе!

Он поручил ей во что бы то ни стало добиться от французского правительства через влиятельного члена Парижской академии наук Бертрана материального участия в издании «Acta». Многие страны уже выделили определенные суммы.

— Бертран и «Acta»! Теперь вам надо довести дело до благополучного конца, иначе я буду считать вас плохим дипломатом и разочаруюсь во всех женщинах. Завоюйте его для себя самой, для меня, а прежде всего для «Acta». И, дорогая Соня, не ведите себя так, чтобы в вас заподозрили нигилистку. Не забудьте также, что седьмого июля вы должны быть непременно на конгрессе естествоиспытателей в Христиании!

На пристани Ковалевская сияющими глазами смотрела на брата и сестру Леффлер — своих преданных друзей и, торопливо пожимая им руки, смущенно говорила:

— Я, быть может, еще ни разу не чувствовала так живо, как теперь, насколько сильна моя любовь к вам обоим. Вы положительно сделались необходимыми для меня.

Но, и любя своих друзей, она нетерпеливо желала поскорее покинуть Стокгольм. Незадолго до отъезда она умоляла Марию Янковскую приехать в Стокгольм оживить ее. «Мне грозит большая опасность, — писала она, — я превращусь скоро в учебник математики, который открывают только тогда, когда ищут известные формулы, но который перестает интересовать,

когда попадает на полку среди других книг. Я не знаю, удастся ли даже тебе, несмотря на твои большие созерцательные способности, узнать сущность, скрывающуюся между строками этого скучного старого учебника».

Как во сне прожила Ковалевская дни пути и с детской радостью увидела, наконец, знакомые предместья Парижа, непередаваемо нежное пепельно-сиреневое небо столицы мира. Даже легкие стали дышать свободнее в сухом после Стокгольма, ароматном воздухе Франции.

Все было ей мило на этот раз в Париже. Старенький дребезжащий фиакр с огромными фонарями и неподвижной между ними фигурой возчика, издававшего понукающий звук — нечто среднее между старческим кряхтением и коротким смешком, — двигался медленно. Но Софья Васильевна была благодарна за тихую езду. Она словно встретилась после долгой разлуки с близким человеком и не могла наглядеться на его дорогие черты. Взор отмечал новые шрамы на фасадах знакомых зданий, морщины на мостовых, пышность еще недавно маленьких деревьев. Ей понравился и тесный альков салона, полученный за шесть франков в сутки в пансионе госпожи Мове на улице Бонье, 6/8. Она готова была мириться со всем, лишь бы ее ум, ее сердце перестали испытывать голод.

Ковалевская не успела распаковать вещи, как появилась Мария Янковская — нарядная, оживленная.

— О милая, я не позволю тебе здесь оставаться! — сморщив вздернутый носик, воскликнула она — Мы сию же минуту едем ко мне!

— Что ты, Мария! — взмолилась Софья Васильевна. — Я не сабинянка, меня не нужно похищать. Да мне и не очень хочется стеснять тебя и себя.

— Едем, едем немедленно, — настойчиво твердила Янковская и дернула ручку звонка. — Найдите фиакр. Пусть ждет у подъезда, — сказала она появившейся горничной. — Госпожа Ковалевская покидает пансион.

Опустившись на диван, Софья Васильевна беззвучно смеялась. Какое же прелестное создание эта решительная маленькая полька!

Утром следующего дня Ковалевская нанесла визиты своим знаменитым французским друзьям — Эрмиту, Пуанкаре, физику Липпману. На обеде, устроенном в ее честь Пуанкаре, присутствовали Таннери и неперемный секретарь академии Жозеф Бертран.

Математики Франции были чрезвычайно предупредительны с «госпожой профессором». Пуанкаре написал о ней и о журнале «Acta mathematica» лестную статью в газете «Temps». Эрмит, этот французский «патриарх математиков», занимавший во Франции такое же место, как

Чебышев в России, а Вейерштрасс в Германии, с восхищением отзывался о ее трудах и рассказывал, как приняли в Парижской академии его сообщение о ее работе «Преломление света», но, как и прежде, к большой досаде Софьи Васильевны, не приглашал к себе в дом!

Главное же, неприменный секретарь академии охотно откликнулся на просьбу Ковалевской об «Acta». Вопрос о материальном участии Франции в издании зарекомендовавшего себя детища Миттаг-Леффлера был на удивление быстро решен. Мало того, продолжая беседовать с остроумной русской, Бертран вдруг спросил:

— Мне, помнится, говорили о вас, что еще в первые годы учения у господина Вейерштрасса вы проявили большую отвагу, решив поймать неуловимую «математическую русалку»?

— О, это была, бесспорно, дерзость, свойственная крайней юности, великий грех моей молодости, — задумчиво улыбаясь, ответила Ковалевская.

— Приносящий особую честь математику, совершившему этот грех в столь нежном возрасте и повторившему его в годы расцвета, — галантно поклонился Бертран. — Следующей темой для премии Бордена мы как раз предложили проблему вращения тяжелого тела, — продолжал Бертран. — Ведь вы знаете, что несколько конкурсов на эту тему окончились неудачно. Русалочка с истинно женским лукавством смеется над усилиями ученых мужей, расставляющих ей сети...

— Мне кажется, — заметила Ковалевская, — ученые мужи по мужской самоуверенности не хотят допустить мысли, что их сети устарели. Если эти сети и годны для чего-нибудь, то скорее для ловли глупых сардин, чем русалок.

— Вы так говорите, — пристально глядя на Ковалевскую, произнес Бертран, — что я вправе думать, не известно ли уже вам другое орудие лова?

— Известно ли? — покачала головой Софья Васильевна. — К сожалению, пока не окончательно. Но мои попытки вполне убедили меня в том, что не всегда испытанная дорога — самая лучшая...

— Я буду счастлив, если вы, уважаемая госпожа Ковалевская, проложите новый, лучший путь и к этой задаче, как проложили его для женщин в науке, — серьезно сказал Бертран, пожимая руку Софьи Васильевны, и предложил ей встретиться на следующий день, чтобы послушать ее сообщение. А Таннери напомнил, что Ковалевскую будут очень рады видеть девушки, обучающиеся математике в Севре.

25 июня в восемь часов утра Таннери заехал за ней и повез в

Нормальную школу, где их ждали госпожа Таннери и математик Аппель — член экзаменационной комиссии. Ковалевскую усадили за стол экзаменаторов, и она внимательно всматривалась в лица девушек, избравших математику предметом своей педагогической специальности, вслушивалась в их четкие, ясные, выражающие полное понимание ответы. Ей было радостно видеть, как растет отряд женщин, желавших трудиться в такой сложной науке. Но их судьба тревожила: что будет с этими юными существами, получают ли они работу, как сложится их жизнь?

И среди грустных раздумий, вдруг, подобно далекой зарнице, вспыхивала мысль о теме на премию Бордена. Софья Ковалевская еще не знала, станет ли она продолжать свои попытки решить эту задачу, но сердце ее невольно начинало учащенно биться, холодели руки от волнения. Она делала усилие и снова видела перед собой нежные, серьезные лица девушек. На нее были устремлены глаза — серые, карие, зеленые, горящие отвагой и... благодарностью.

Ее судьба для многих женщин — как маяк в бурном море. Да разве есть на свете что-либо выше науки? Личное счастье? Любовь? Природа? Литературные фантазии? Все это пустяки. Поиски научной истины — вот самый прекрасный смысл жизни; обмен мыслями с людьми, преследующими одинаковые цели, — вот высшее из всех наслаждений!

После экзамена Ковалевскую повезли в Вирофле на завтрак к Бертрону. Там собралось много математиков. Ее осыпали комплиментами, ее славил за мужество. И у нее все определеннее зрело решение во что бы то ни стало поработать для конкурса, о котором сказал Бертран.

А он, хозяин дома, стоя возле знаменитой гостьи, протягивал ей подарок — манускрипт великого математика Гаусса.

— Я счастлив передать рукопись в ваши руки, написавшие столько прекрасных работ, — с искренним восхищением говорил он.

И наконец-то сама госпожа Эрмит, это воплощение семейной добропорядочности, «признала» ученую женщину, произнесла все полагающиеся любезные слова и даже пригласила «сомнительную русскую» на обед в свой безупречно респектабельный дом!

Ночью, сидя на уютном голубом диванчике в комнате Марии Янковской, Софья Васильевна рассказывала подруге о своих парижских впечатлениях, а затем, озорно поблескивая глазами, воскликнула с комическим ужасом:

— Но победа над госпожой Эрмит не есть ли мое самое большое поражение? Не проявляю ли я с некоторых пор столь недвусмысленные мещанские добродетели, что даже госпожа Эрмит утратила страх перед

таким неестественным явлением, как ученая-женщина?! О Мария, я могу жить только в России или в Париже, даже если в нем существует мадам Эрмит! Я старею после каждой разлуки с дорогими мне людьми. И я обречена на вечные скитанья. А еще утверждают, что математика требует спокойствия и равновесия!

...Все же она весело распрощалась с друзьями и через Гавр, на четвертый день пути, опоздав к сроку, добралась пароходом до Христиании (Осло), где проходил конгресс естествоиспытателей Скандинавских стран.

Ковалевской нравилась маленькая, трудолюбивая, отважная Норвегия. С печальной гордостью за человека смотрела она на суровые горы под светлым, просторным северным небом и прилепившиеся на их склонах небольшие расчищенные неутомимыми руками поля, на ярко окрашенные домики, прильнувшие к скалам над синими фиордами, на лес легких парусников, уносящих рыболовов в море.

В Христиании ее встретили зеленые бульвары, парки и... друзья — Анна-Шарлотта и Геста Миттаг-Леффлер, прибывшие на конгресс.

Кончались последние торжества, устроенные в честь естествоиспытателей Скандинавии. Софье Васильевне сказали, что конгресс избрал ее председательницей математической секции общества, она почувствовала себя совсем счастливой.

Забылись неприветные штормы Атлантики, утомительный морской путь. Ковалевская едва сдерживала волнение. И снова все чаще мелькала мысль о неуловимой «математической русалке»; только так, только трудом и успехом может русская ученая отблагодарить и французов, и скандинавов, и немцев за товарищество и дружбу.

С радостью согласилась она поехать с Анной-Шарлоттой и Миттаг-Леффлером в Дюфед, расположенный в норвежских горах. Отправились они втроем в экипаже, провели неделю в Телемаркене, а из Сельяна, расставшись с Миттаг-Леффлером, Ковалевская с Анной-Шарлоттой пошла в горы пешком.

Быстро, неутомимо взбиралась Софья Васильевна на крутые скалы, шумно восторгалась прекрасными видами.

Сговорились они проехать через весь Телемаркен, спуститься с гор у западного берега Гауклифие, навестить в Иедерене близкого Анне-Шарлотте человека — Александра Чьелланда, деятеля высшей народной школы. О таком путешествии Софья Васильевна давно мечтала. Она была весела, много смеялась, пела.

Но среди дороги, когда они находились на одном из длинных внутренних озер, Ковалевская внезапно решила оставить подругу и

вернуться в Швецию, чтобы в деревенской тиши заняться математикой: «русалка» притягивала с неодолимой силой...

Эту поразительную смену настроений Анна-Шарлотта наблюдала у Софьи Ковалевской и раньше. Случалось, что в обществе, на прогулке или на вечере Ковалевская с увлечением беседовала, развлекалась, но мгновение — и глаза ее устремлялись в одну точку, она рассеянно, невпопад отвечала на вопросы, тут же прощалась и уезжала домой работать.

Анна-Шарлотта не решилась возражать. По себе знала она властный зов вдохновения, который заглушает все звуки мира.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Весной 1886 года пришли плохие вести об Анюте. У нее обнаружили тяжелую болезнь почек. Состояние было опасным. Софья Васильевна, отложив все дела, немедленно уехала в Россию. К счастью, сестра почувствовала себя лучше, значит, можно было оставить ее и пожить в деревне с дочерью.

Лето под Москвой, в Семенкове, в кругу милых сердцу людей, обещало желанный покой и простые радости. Имение Лермонтовой, находившееся возле станции Жаворонки, было не очень живописно. Но после Стокгольма и Петербурга, насыщенных влагой, дышалось легко.

Возле дома, просторного, светлого, с веселым мезонинчиком и круглой башенкой бельведера, с застекленными, увитыми розами и виноградом террасами, было много зелени — большой парк с прудом, сад, огород, а неподалеку стеной вставал лес.

Жизнь в деревне текла тихо и однообразно. Дочка очень выросла, загорела. Все говорили, что она похожа на мать, что ее можно принять за цыганку. Она лихо ездила верхом на низкорослой лошади, возилась с собаками, посрамляя боявшуюся их мать.

Общество Софьи Васильевны состояло из Юлии Всеволодовны и трех старушек, облаченных в траур по умершей сестре Лермонтовой. Четырехкратные чаепития перемежались по-деревенски простыми и обильными обедами, ужинами, завтраками, полдниками. Ковалевская смеялась, утверждая, что в этом монастырском заключении она скоро превратится в растение.

Никто не говорил с ней о математике, о женском движении. Если приезжали какие-нибудь соседи, Ковалевскую представляли им как «Сонину маму».

— О, сколь понижающим образом это обстоятельство действует на мое тщеславие, — сообщила она Анне-Шарлотте, — и сколько возбуждает во мне женских добродетелей, о которых ты и понятия не имеешь и которые теперь поднимаются вверх, точно пар...

Она забавлялась катаньем на лошадях и однажды, убедив простодушную Юлию Всеволодовну, что умеет отлично править и можно обойтись без кучера, не сдержала лошадей. Экипаж ударился о большое дерево, а пассажирки вылетели вон и упали в грязь. Лермонтова подвернула ногу.

— Вот пример несправедливости судьбы! — восклицала Софья Васильевна. — Бедная Юленька страдает, а я, зачинщица всего, вышла невредимой!

Но чаще, сидя в кресле возле дремотной воды пруда, она читала или вышивала. Всех поражала ее способность ничего не делать в промежутках между интенсивными умственными занятиями и давать полный отдых возбужденному мозгу.

Даже на сообщение Миттаг-Леффлера об открывшейся вакансии на место академика и мечте ее друга, если Ковалевская пройдет в академию, «сделать вместе что-нибудь порядочное для математики», она ответила шуткой.

«Боже мой! — писала Софья Васильевна. — Сколько прекрасных проектов мы рисовали себе. Видение красивого мундира академика постоянно проходит теперь перед моими глазами, и вы можете не сомневаться, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помочь вам достать его мне. Я шучу, милый друг, но вы не можете себе представить, насколько я тронута каждым доказательством интереса и дружбы, которые я получаю от вас. Вы знаете, что я, в сущности, довольно равнодушна к почестям и к внешним знакам уважения, которые приходятся на мою долю, но я тем более чувствительна ко всем доказательствам внимания со стороны моих друзей».

Она просила отложить на будущее «прекрасные проекты», чтобы не вызывать недоброжелательства: «Стриндберг уже говорил, что мне покровительствуют потому, что я женщина... уверена, что даже Гюльден... не возражает против моего избрания только из страха перед женой...»

Да и секретарь академии Линдхаген, по слухам, оторопел от такой кандидатуры, только вздохнул:

— Если академия начнет избирать в свои члены женщин, то на ком из сотворенных богом существ она тогда остановится?!

Надежда Миттаг-Леффлера видеть ее академиком снова поднимала обиду: а вот на родине... не нужна!

Остаток отпуска Софья Васильевна собиралась провести в Иемтланде — дачной местности под Стокгольмом, вместе с семьей Миттаг-Леффлера. На нее был возложен просмотр статей для журнала, и ей хотелось находиться близ главного редактора.

Успокоенная обещанием Лермонтовой приехать с Фуфой в Стокгольм осенью, Ковалевская отправилась в Швецию. Но ее тут же вызвали в Петербург к сестре, которой внезапно стало хуже.

Провожая, Миттаг-Леффлер попросил Ковалевскую переговорить в

Петербурге с бароном Ф. Р. Остен-Сакеном, директором департамента в министерстве иностранных дел, о материальном участии русского правительства в издании журнала «Acta mathematica». В Германии и Франции Софья Васильевна удачно выполнила свою миссию. Петербург оказался не так радушен.

В первый же день по приезде к Софье Васильевне зашел Чебышев и сказал, что ему не удалось снестись по этому делу с графом Д. А. Толстым — министром внутренних дел, шефом жандармов и одновременно... почетным членом и президентом Академии наук. Других возможностей она не имела: круг ее знакомых был очень далек от административных сфер.

На следующий день Ковалевская написала Остен-Сакену, и они встретились.

Остен-Сакен, сам ученый-географ, начал беседу с бурной брани в адрес Делянова — министра народного просвещения:

— Он всегда много обещает и никогда ничего не делает!

Жаловался Остен-Сакен на бедность России, на невыносимую экономию во всем, что касается науки и общественного обучения.

— Вы не можете себе представить, — говорил он Софье Васильевне, — что нам иногда приходится не то что выпрашивать, а буквально выклянчивать какую-нибудь сумму в двести рублей.

Ковалевская старалась со всем доступным ей красноречием доказать Остен-Сакену, насколько страдает ее, Ковалевской, национальная гордость оттого, что Россия не хочет содействовать международному делу, которым заинтересовались другие правительства.

— Если бы речь шла о чем-то другом, — с волнением убеждала она государственного чиновника, — но ведь это математика, в которой Россия стоит во главе других стран! Со всех сторон мне говорят: в России все математические науки так культивируются, и вот одна только Россия отказывается участвовать в этом деле.

Остен-Сакен вскочил со стула и забежал по комнате.

— Все это правда, совершенная правда, но что делать? Что делать? — взывал он к Ковалевской. — Скажите, каким образом можно было бы дать знать здесь, насколько король интересуется журналом?

— Король сам предложил нам, что он напишет господину или госпоже Деляновым, — ответила Софья Васильевна.

— Это ничему не поможет, — поспешил возразить Остен-Сакен. — Делянов только снова пообещает и соврет. Его жена не имеет больше влияния. Может быть, найдется другое средство? Знаете что? — вдруг оживился Остен-Сакен. — Пойдите завтра к Чебышеву, просите его

побывать у графа Толстого и позондировать почву, насколько можно было бы заинтересовать графа в этом деле. В случае, если Толстой не абсолютно против, то надо бы просить короля написать ему. Толстой будет настолько польщен, получив письмо непосредственно от повелителя, что тогда станет все возможно. Да, впрочем, я непременно сам поговорю с Чебышевым. Министр финансов сейчас Бунге, но ему не стоит писать: он так набалован письмами повелителей, что скорее будет склонен показать, что не придает им значения... А Толстой — напротив...

Поднимаясь, чтобы уйти, Софья Васильевна поблагодарила разоткровенничавшегося хозяина, а он просил сообщить ему количество подписчиков «Акта» в других странах, число напечатанных в журнале статей русских ученых.

Ковалевская могла с полным правом сказать: она-то позаботилась о том, чтобы русская математическая наука была представлена в журнале с достаточной полнотой!

Софья Васильевна перевела на французский язык две статьи Чебышева, одна из которых представляла собой математическое письмо к Ковалевской; обе статьи были напечатаны в «Акта». Русские ученые присылали рукописи своих трудов непосредственно ей, вполне полагаясь на ее компетентность, считаясь с ее мнением. Только для сиятельных чиновников ее имя не имело значения!..

Было почти девять часов вечера, когда Ковалевская, усталая и разбитая от этого горького для нее разговора, вышла на улицу. К Чебышеву идти поздно; не отправится же он в такую пору к Толстому!

Пешком возвратилась на Васильевский остров к больной сестре, чтобы завтра начать новый день, полный разъедающих душу забот и хлопот... И хотя Чебышев позднее согласился поговорить с Толстым, ничего не удалось добиться от русского правительства; оно так и не нашло нужным оказать финансовую поддержку одному из крупнейших математических журналов мира. А математики рассказывали Софье Васильевне, что даже для единственного существующего в России общества естествоиспытателей и врачей они не могли добиться ежегодной субсидии в несколько сот рублей!

Ну что ж, видно, ей-то и вовсе нечего надеяться на работу в России. Надо примириться с жизнью в чужой стране, как бы тяжело ни было это фактическое изгнание. Да, Анюта права, когда говорит в своей повести «Записки спирита», что тот, кто пренебрег обычным земным уделом, должен быть по справедливости лишен земного счастья.

Из Петербурга Софья Васильевна снова поехала в Семенково за дочерью. Юлия Всеволодовна не имела возможности привезти девочку. А в

Стокгольме была уже приготовлена квартира с комнатами для Фуфы и для Лермонтовой, нанята кухарка Августа, отдано столько сил устройству на постоянное жительство, хотя самой Ковалевской всегда было все равно, что она ест, что пьет. При ее скромных потребностях никакие лишения не огорчали, лишь бы оставалось право распоряжаться временем по своей воле. Но для удобства дочери и подруги Софья Васильевна сделала все, что было нужно.

«Эти глупые, но неотложные практические дела, — смеясь и досадуя, писала она своему немецкому приятелю Ханземану, — являются серьезной пыткой для моего терпения; я начинаю понимать, почему мужчины так высоко ценят хороших практичных хозяек. Будь я мужчиной, я выбрала бы себе маленькую красивую хозяйку, которая избавила бы меня от всех этих скучных дел. При теперешнем положении вещей, стоит мне на минуту заняться абелевыми функциями и углубиться в них, уйти далеко-далеко от всяких практических забот, меня немедленно возвращает на поверхность какой-нибудь ничтожный вопрос, где мое решение является необходимым».

Несмотря на это, ученая твердо отвергла все советы не брать Фуфу в чужую страну.

— Я уже достаточно освоилась со Швецией, приобрела устойчивое положение, добрых друзей. Теперь я должна сама воспитывать свою дочь.

Лермонтова проводила их до Петербурга, там они сели на пароход.

Через три дня прибыли в Стокгольм перед закатом солнца.

Их никто не встретил на пристани. Софья Васильевна взяла ручную тележку для чемоданов, дала адрес рабочему, а сама с дочкой пошла пешком через большой сад, где на клумбах, к великой гордости северян-шведов, впервые зацвели тропические агавы.

Квартира Ковалевской находилась в Villastraden — районе вилл. Невысокие дома были окружены палисадниками и чистыми дворами: вместо магазинов имелись лишь мелочные лавочки. Жили здесь не богачи, селившиеся на Приморской улице, среди иностранных посольств, а преподаватели высшей и даже средней школы, существовавшие на свой очень тогда скромный трудовой заработок.

Дом, куда привезла Софья Васильевна Фуфу, был серый, двухэтажный, с большим палисадником и двором, усыпанным гравием. От улицы Энгельбрехт, названной так в память шведского национального героя, его отделял ряд деревьев. Из передней две двери вели одна в гостиную, другая в коридор, сообщавшийся с кухней, а из гостиной дверь справа — в кабинет Софьи Васильевны. Там у окна стояли большой письменный стол и две высокие открытые этажерки для книг; у противоположной стены —

кушетка и маленький круглый стол.

Письменный стол был всегда завален бумагами, на этажерках, среди книг по математике, находились сочинения Лермонтова и номера «Северного вестника», издателем которого была подруга сестры Жанна Евреинова, первая русская женщина — доктор права.

До начала занятий в университете Софья Васильевна много времени посвящала дочке: читала ей вслух русские книги, рассказы из журнала «Школа и семья», водила на уроки гимнастики, на прогулки, учила шведскому языку.

Осенью, когда съехались семейные друзья Софьи Васильевны и появились сверстники, Фуфа быстро овладела новым языком. Если мать делала ошибки, отдавая распоряжения служанке, девочка поправляла ее, и Софья Васильевна с гордостью рассказывала знакомым:

— Моя дочь уже теперь превосходит свою мать... в некоторых отношениях!

Но ее очень тревожило сходство с отцом в характере дочери. Ей хотелось предотвратить у девочки роковое безволие Владимира Онуфриевича. Когда в самом начале пребывания в Швеции Фуфа спросила мать: «Отчего умер мой папа?», у Софьи Васильевны сделалось страдальческое лицо, она не строго, но очень настойчиво сказала:

— Фуфа, никогда, слышишь, никогда не спрашивай меня об этом.

Софье Васильевне пришлось приложить большие усилия, чтобы преодолеть вызванную долгой разлукой отчужденность дочери. Помогли ей та восторженная любовь, которую питали к русской ученой ее шведские друзья, почтительность ее учеников и уважение таких известных лиц, как профессор Гюльден, Норденшельд, Ибсен, Нансен, Брандес. Фуфа стала гордиться Софьей Васильевной и вниманием, каким ее окружали.

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ

*Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастье твердишь, — который раз?
Что счастье?*

А. Блок

ТАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЧАСТЬЕ

И только-только расположилась Софья Васильевна по-семейному, с дочерью и служанкой, предвкушая удовольствие того покойного, размеренного образа жизни, которого ей давно недоставало для математических занятий, только решила укротить свое бунтующее сердце работой, как снова вызвали к сестре. Оставив Фуфу на попечение Анны-Шарлотты, Ковалевская среди зимы уехала морем до Гельсингфорса, а оттуда поездом в Петербург.

Жизнь Анюты висела на волоске. В таких случаях Софья Васильевна не испытывала страха, не отступала перед препятствиями. Для Анюты она была готова на любые жертвы. Она написала Миттаг-Леффлеру письмо с просьбой продлить ей отпуск для ухода за сестрой. Но шведский друг, взывая к ее благоразумию, отказался выполнить просьбу, ссылаясь на то, что противники женского равноправия воспользуются этим случаем: никогда мужчина не мог бы получить отпуск для ухода за членом семьи.

Даже зная о тяжелом характере недуга, Ковалевская была потрясена состоянием Анюты: болезнь разрушала не только ее прекрасный физический облик, она убивала в ней человека. Анюта страдала невыносимо, целыми днями и ночами стонала от болей, и ничто уже не могло отвлечь ее от страданий.

Затем вдруг наступало на несколько часов облегчение, и она кротко улыбалась, сравнительно спокойно разговаривала и была снова той бесконечно дорогой, умной, доброй Анютой, которую боготворила Софья Васильевна.

— О, как глупа жизнь! — мрачно твердила Ковалевская. — Как нелогична смерть! Разве я могу потерять Анюту, такую близкую, такую умную?! Зачем же она жила и столько страдала, если смерть смеет унести эту большую жизнь в одно мгновение?..

И в долгие дни и ночи, которые Софья Васильевна проводила у постели больной, она думала о разнице между тем, «как было», и тем, «как могло быть». Она вспоминала, с какими мечтами они, сестры, вступали в жизнь — молодые, красивые, щедро одаренные. Правда, они были участницами больших событий, но в глубине сердца и у той и у другой сестры осталось горькое сожаление о разбитых надеждах. Анюта умирает, не проявив и малой части своего дарования. А сама она, достигшая в науке таких вершин, каких достигали немногие женщины, облегчила ли она путь

своим бесправным сестрам? Она живет, как вырванное из почвы растение, не осыпая семенами своих дел родную почву... Может быть, прояви она в нужный момент усилие воли, не было бы отступления, трагической гибели Владимира Онуфриевича, невозвратимой потери времени.

— Кому не приводилось раскаиваться в каком-то важном необдуманном шаге, — говорила Софья Васильевна, — и кто не желал начать жить сызнова?

Софье Васильевне захотелось написать два параллельных романа, в которых бы изображалась судьба людей с дней юности, когда вся будущность еще впереди. Один из этих романов должен был показать, к каким последствиям привел сделанный ими выбор жизненного пути; другой — что случилось, если бы они пошли иной дорогой.

Вернувшись в Стокгольм, она немедленно поделилась своей идеей с Анной-Шарлоттой и предложила написать эти два романа.

— Я не могу писать одна, — умоляла она подругу, — если бы я только обладала такими способностями!

В это время Анна-Шарлотта готовила роман «о женщинах, не имеющих романа», не встретивших человека, которого они могли бы полюбить, создать семью. Она была всецело поглощена новой работой. Но мягкая Анна-Шарлотта не смогла устоять против жарких просьб Софьи Васильевны и отложила роман. Она отстояла только одно свое желание: воплотить идею не в параллельных романах, а в двух пьесах, которые могли бы идти на сцене два вечера подряд!

Идея Софьи Васильевны захватила шведскую писательницу. Ее письма к друзьям полны пьесой, которую они называли «Борьба за счастье».

Подруги не могли ни о чем ином, кроме пьесы, говорить. Анна-Шарлотта писала одному их общему другу:

«...Мы совершенно одинаково безумствуем обе. Если бы нам удалась эта работа, мы примирились бы со всем, что у нас было неприятного в жизни. Соня забыла бы, что Швеция — самая возмутительная филистерская страна в мире... а я забыла бы все, о чем постоянно думаю. Вы, конечно, совершенно правы. Есть, к счастью, царство лучше всех земных царств, ключи которого имеются у нас, — это царство фантазии».

Они сидели в уютной комнате Анны-Шарлотты, и Софья Ковалевская с пылающими глазами, задыхаясь в торопливой речи, говорила подруге:

— Я невыразимо счастлива этим новым образом своей жизни. Я только теперь понимаю, как мужчина заново влюбляется в мать своего ребенка! Конечно же, дорогая Анна-Шарлотта, ты — мать. Ведь на тебе лежит ответственность произвести на свет ребенка. О бог мой, как я люблю

тебя, как я предана тебе!

Ковалевская изложила подруге сюжет своего романа из русской жизни. Анна-Шарлотта почти всю ночь просидела в кресле-качалке, обдумывая драму, а назавтра предложила законченный план. В пять дней она набросала пролог и пять актов первой пьесы. Анна-Шарлотта восхищалась работой, идея которой принадлежала Софье Васильевне, так как была убеждена, что ученой скорее, чем ей самой, могут приходить гениальные мысли. Ковалевскую же удивляла быстрота, с какой работала Леффлер, живость действия, художественность образов. Сама она не написала ни единой реплики, но обдумала весь основной план драмы, содержание каждого акта, внесла свои психологические наблюдения в обрисовку характеров.

Ежедневно они прочитывали вместе все, что Анна-Шарлотта писала. Софья Васильевна делала замечания, давала советы, придумывала новые ситуации. Она требовала, чтобы Анна-Шарлотта прочитывала ей опять то, что читала раньше, вела себя, как ребенок, которому не надоедает слушать любимую сказку.

Никогда еще Анна-Шарлотта не видела подругу такой буквально светящейся от счастья. На Ковалевскую находили припадки неудержимого веселья. Ежедневно они вдвоем гуляли в прилегавшем к их кварталу лесу. Ковалевская прыгала с камня на камень, продиралась через кусты, танцевала, целовала Анну-Шарлотту и кричала:

— Жизнь невыразимо хороша, а будущее... будущее восхитительно и полно самых чудных обещаний! Ты понимаешь, Анна-Лотта, нашу драму с триумфом встретят во всех европейских столицах! Такое новое, оригинальное произведение не может не показаться настоящим откровением в нашей литературе. Эта драма «Как могло быть» — мечта, которая рисуется мысленным взором всех. Представленная со всей объективностью сцены, она должна непременно всех увлечь!

Захваченная литературной работой, Ковалевская была не в состоянии заниматься задачей о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Профессор Миттаг-Леффлер, который чувствовал себя ответственным за Софью Васильевну и считал, что для нее, как для женщины-профессора, крайне важно закончить эту работу и получить премию, приходил в отчаяние, заставая ее у Анны-Шарлотты с вышивкой в руках.

Подобно тому как Ингеборг из древней саги о Фритьофе, сплетая скатерть, нитями рисовала подвиги своего милого, Софья Васильевна словно вышивала по канве шелками и шерстью образы драмы.

Иголка мерно двигалась вверх-вниз, вверх-вниз, а Ковалевская

мысленно создавала сцену за сценой. И не было предела ее радости, если, работая порознь, оба автора приходили к одному результату.

Софья Васильевна даже перестала писать Вейерштрассу, что делала только в тех случаях, когда уходила в сторону от математики. Миттаг-Леффлер укорял ее за непозволительное отношение к учителю:

— Вейерштрасс обижен тем, что вы так долго не даете о себе знать. Я доверил ему тайну о драме и прибавил, что вы, вероятно, из-за литературных занятий стыдитесь ему писать.

Ничто не могло вернуть Софью Васильевну на землю. Она нашла способ говорить о себе, своих чувствах и мыслях и пользовалась им с увлечением.

В прологе, общем для обоих пьес, составляющих драму «Борьба за счастье», показаны люди в момент, когда все готово для их счастья. Дочь барона Алиса любит инженера-изобретателя Карла и любима им. Он заканчивает машину, которая поможет воспользоваться электроэнергией, чтобы приводить в движение фабричные станки и облегчить труд рабочих. Алиса тоже мечтает о счастье рабочих, об уничтожении эксплуатации человека человеком. Она могла бы стать верным товарищем Карла в его борьбе. Сестра Карла — Паула любит двоюродного брата Алисы — Яльмара, скрипача, мечтателя, а он любит пианистку Паулу за ее нежную душу, за ее тонкий художественный вкус, собирается вместе с ней концертировать в Европе: Третья пара — дочь фабриканта Марта и юный брат Карла Эрнст.

Но в этот мир мечты и любви вторгаются черные силы: предрассудки чванной аристократии, корысть торгашей, зверская жестокость «господина чистогана». Наступает та критическая точка, когда от воли человека зависит, как повернется его судьба.

В первой пьесе — «Как было» — авторы показали, как несчастны все действующие лица, которые не нашли в себе достаточной силы, чтобы противостоять давлению предрассудков, преодолеть нравственную трусость.

Вторая пьеса — «Как могло быть» — рисует поступки героев, в решительную минуту оказавшихся сильными, способными повернуть свою судьбу на путь, ведущий к счастью. Алиса дает деньги Карлу на окончание его машины, доставшийся ей по наследству завод переходит к созданной ею и Карлом рабочей ассоциации. Они вдвоем будут жить с рабочими, «как ровня». Принадлежащий Алисе родовой замок Герргамра тоже отдан рабочим: в гостиной — школьная комната для их детей, в библиотеке — общественная читальня. Алиса порывает со своим классом, с мужем и

уходит к Карлу, к людям труда, в общей борьбе за счастье рабочих находит свое счастье. Она не может быть счастливой, если вокруг нее простые люди несчастны, она убеждена, что есть только один способ улучшить положение рабочих — это заставить их сплотиться в один союз!

В Алисе Софья Ковалевская хотела изобразить себя, в ее переживаниях выражала свою собственную жажду глубокой, цельной любви, заставляющей два существа жить, как одно, и то отчаяние одиночества, то недоверие к себе, к своей способности привлечь любимого человека, которое охватывало ее всегда, когда она видела, что ее любят не так, как ей хотелось бы.

Алиса первой пьесы говорит мужу Яльмару: «Я так привыкла, чтобы всех любили больше, чем меня. В школе говорили, что я самая способная, но я знала всегда, что судьба зло подшутила надо мною, одарив меня такими способностями как бы для того, чтобы я лучше чувствовала, чем бы я могла сделаться для другого, если бы кто-нибудь действительно захотел полюбить меня. Я желала немногого: я хотела только, чтобы никто не стоял между нами, не был тебе ближе, чем я, одного только я и желала всю жизнь — быть первой для другого человека...»

В одной из реплик она откровенно раскрывает свой характер:

«Дай мне только хоть раз показать тебе, какую я могу быть, если меня искренне любят. Бедняжка Алиса не так ничтожна, как кажется... Посмотри хорошенько на меня: хороша ли я? Да, когда меня любят — я хороша, но только тогда, когда меня любят. Добра ли я? Да, когда меня любят, я воплощенная доброта. Эгоистка ли я? О нет, не эгоистка. Я могу совсем отрешиться от себя, слиться всеми мыслями с другими».

Так молила о любви знаменитая, прославленная женщина-ученый. Она никогда не была единственной для другого человека, как ни щедро одарила ее природа. Желание Алисы второй пьесы — «Как могло быть» — разделить труды Карла и резкое, не допускающее компромиссов требование быть верным голосу сердца — это собственные мысли Ковалевской, ее чувства, ее душа — вся она со своим сложным, противоречивым характером.

Датский писатель Герман Банг писал о «Борьбе за счастье», что он любит эту драму, «которая с математической точностью доказывает всемогущую силу любви, доказывает, что только она одна и составляет все в жизни, что только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть». Он не увидел другой стороны произведения.

Не узкого личного счастья добивалась Алиса Ковалевской. Для нее борьба за любимого человека неотделимо сливалась с их совместной

борьбой за то «будущее идеальное общество, где все живут для всех, а двое любящих людей — друг для друга». Впервые в современной ей драматургии «шестидесятница» Ковалевская, сделав шаг вперед, вывела на сцену борющихся рабочих, впервые включила в круг тем художественной литературы «рабочий вопрос». Алиса мечтает о таком обществе, где нет эксплуатации человека человеком, о такой любви, когда двое любящих плечом к плечу борются за справедливое распределение благ земных.

Но в пьесе, приспособленной Анной-Шарлоттой к буржуазному пониманию, эти мечты выглядели детски наивной утопией, осуществлялись благодаря случайному стечению обстоятельств. Сама же Софья Васильевна, хотя и не жила в рабочей среде, понимала, что, как говорит одно из действующих лиц пьесы, рабочих «мало любить — надо жить с ними». Она с достаточной ясностью представляла себе и революционное значение выходявшего на большую арену жизни «четвертого сословия» — рабочего класса и трудности классовой борьбы. Ее политические друзья — Фольмар, Янковская, Мендельсон и многие другие — были тогда верными единомышленниками Карла Маркса; сестра Анна и зять Жаклар не только пропагандировали его учение, но знали лично учителя пролетариата. Еще в 1870 году Карл Маркс писал Энгельсу о том, что «Лафарг познакомился в Париже с одной русской женщиной, весьма ученой (подругой его друга Жаклара, превосходного молодого человека)». А в 1877 году Жаклар в письме к Марксу из России говорил: «...Моя жена, которая не забыла, каким вниманием вы ее окружали, шлет вам вместе со мной свои наилучшие пожелания». Не случайно хранила Софья Васильевна до конца дней своих среди немногих фотографий близких людей — репродукцию портрета Маркса с автографом «*Salut et Fraternité*» («Привет и братство»). Она следовала своей сестре в ее политических симпатиях и антипатиях, отражала ее воззрения.

К необыкновенной драме «Борьба за счастье» Ковалевская дала и предисловие не менее оригинальное, объясняя человеческие поступки примерами из области механики.

Излив свои мысли о любви, о счастье, какого она хотела для себя, Софья Васильевна смогла заняться математикой.

ОДИНОЧЕСТВО

Наступила весна. Анна-Шарлотта продолжала работать и над второй частью «Борьбы за счастье» с не меньшим энтузиазмом, чем над первой. Но Софья Васильевна уже порядком остыла к этому произведению: в руках Анны-Шарлотты оно приобрело такой нерусский характер, что Ковалевская смотрела на героев как на чуждых ей лиц. Слишком уж была различна среда, в какой они обе жили.

Разве выразить русские идеи, рисуя иноплеменных представителей? Несчастливая, любимая, жалкая и великая, неповторимая страна моя, моя родина! Невозможно быть счастливой вдали от тебя...

«Я много думала о нашем первенце, — писала она позднее А.-Ш. Леффлер, — и всякий раз мне, правду сказать, приходится открывать множество недостатков у нашего бедного малютки, в особенности в отношении композиции. Как бы для того, чтобы насмеяться надо мною, судьба свела меня в это лето с тремя исследователями, чрезвычайно интересными молодыми людьми, каждый в своем роде. Один из них, на мой взгляд, самый неспособный, уже сделал кое-какие успехи в жизни. Другой очень даровит в некоторых отношениях и до смешного ограничен в других; этот тоже начал уже свою борьбу за счастье, но к каким результатам она должна привести, никак не могу сказать теперь. Третий, очень интересный тип, совершенно разбит телом и душою. Но для автора он представляет глубокий интерес как тип, достойный внимательного изучения. Историю этих трех исследователей, во всей ее простоте, я нахожу гораздо более богатою содержанием, чем все, что мы сочинили вместе о Карле и Алисе».

Этим письмом она как бы ставила точку на своих литературных отклонениях от дела жизни — математики.

В это время пришли тревожные вести об Анюте: она больна, жизнь ее в опасности, а мужа высылают из России за «вредные» статьи, которые он писал во французскую газету «La justice» и в русские журналы. Ковалевской было невозможно бросить университет и немедленно выехать в Петербург. В отчаянии она пошла против своей совести и попросила вдову Достоевского — Анну Григорьевну — воспользоваться особым покровительством, которое ей оказывал всесильный Победоносцев, чтобы добиться позволения Жаклару остаться подле больной жены.

По письму Достоевской Победоносцев запросил сведения о Жакларе.

Дурново представил справку, что француз Жаклар, бывший участник Коммуны, проживая в Париже, находился в постоянных сношениях с представителем польской революционной партии «Пролетариат» Станиславом Мендельсоном и благодаря своим связям с Россией через жену занимался передачей писем Мендельсона в Варшаву. Он друг Клемансо и других выдающихся французских радикалов. «Прибыв в Петербург, — писал Дурново, — Жаклар сообщал самые лживые и враждебные известия в Париж о политических делах, а после 1 марта сообщения его превзошли всякую меру терпимости». По настоянию Дурново министр согласился выслать Жаклара из пределов империи.

Победоносцев помог французскому коммунару остаться на две-три недели в Петербурге.

Когда Софья Васильевна смогла приехать в Петербург, Жаклар уже увез Анну Васильевну в Париж.

Подавленное настроение прорывалось у Ковалевской в редких письмах к Анне-Шарлотте. Софья Васильевна, которая так много и охотно писала друзьям, больше писать не хотела.

«Теперь пробую работать по мере возможности и пользуюсь всякой свободной минутой, чтобы обдумать свое математическое сочинение, — сообщала она Анне-Шарлотте. — Я слишком изнемогла и нахожусь в слишком дурном расположении духа, чтобы заниматься литературой и чтобы писать что-нибудь по этой части. Все в жизни кажется мне таким бледным, неинтересным. В такие минуты нет ничего лучше математики; невыразимо приятно сознание, что существует целый мир, в котором «я» совершенно отсутствует».

Никакого стремления веселиться у нее уже не было. О летнем отдыхе с Анной-Шарлоттой в Париже она не думала. Ей хотелось поскорее уединиться в глухом месте и заниматься исследованием.

Чувствовала она себя в Петербурге без Анюты настолько одинокой и бесприютной, что собиралась поскорее вернуться в Швецию, к своим книгам, к своему письменному столу, называя себя старым, консервативным, педантичным математиком, который может работать только дома. С братом Федей близости не было: он не оправдал ее ожиданий, проживал наследство и ни о чем не желал думать, математикой не занимался.

В Швеции никто из друзей не заметил ее отчаяния. Она была ровной, как всегда. С мягкой иронией отвечала на сочувственные вопросы.

— Когда шведка устала или в плохом настроении, она дуется и молчит, — говорила Ковалевская, — поэтому бурное настроение входит внутрь

организма и становится хронической болезнью. Русская, напротив, обычно жалуется и стонет настолько сильно, что это производит на нее в моральном отношении такое же действие, как липовый чай при простуде в физическом отношении. Но должна сказать вам, что я лично жалеюсь и стону только при небольшой боли.

...Осенью подруги пытались переработать драму, но прежних иллюзий уже не было. В ноябре они начали печатать пьесу и дали экземпляр в Стокгольмский драматический театр. Пьеса вышла в свет к рождеству, в качестве же «рождественского подарка» авторам появилась резкая критика в «Стокгольмдагблад». А за ней — отказ театральной дирекции от постановки^[12]. К счастью, подруги не были потрясены неудачей: обе любили больше всего замыслы, процесс труда, а не результаты, и в эту пору строили новые планы.

Софья Васильевна все еще мечтала о совместной работе с Леффлер, но Анна-Шарлотта решила расторгнуть авторский союз, хотя и не осмеливалась говорить об этом с подругой. Она не могла больше подчиняться покоряющему интеллекту Ковалевской. Анне-Шарлотте нужна была духовная самостоятельность, которой Софья Васильевна лишала менее ярких людей, входивших в общение с ней. Писательница задумала одна отправиться зимой путешествовать по Италии. Она сделала бы это давно, но Софья Васильевна считала разлуку изменой дружбе.

— Не можешь себе представить, — признавалась она не раз, — до какой степени я подозрительна и недоверчива, когда дело касается отношения ко мне моих друзей! Я требую, чтобы мне постоянно это повторяли, если хотят, чтобы я верила любви ко мне. Стоит только один раз забыть, как мне сейчас же кажется, что обо мне и не думают.

Вскоре Анна-Шарлотта покинула подругу. Этой же осенью Софья Васильевна потеряла сестру. После удачной операции Анна Васильевна неожиданно заболела воспалением легких и умерла в Париже, в квартире Янковской. Похоронили ее на кладбище Пасси, рядом с часовней на могиле другой необыкновенно талантливой русской женщины — художницы Марии Башкирцевой.

Ушел навсегда человек, которого Софья Васильевна любила сильнее всего в жизни, кто был ее путеводной звездой, с кем были связаны самые светлые впечатления шестидесятих годов.

— Никто больше не будет вспоминать обо мне как о маленькой Соне, — говорила она друзьям. — Для всех я госпожа Ковалевская, знаменитая ученая-женщина и т. д. Ни для кого больше я не буду застенчивой, жмущейся ко всем маленькой Соней.

И она надолго замкнулась в себе.

Дни шли, похожие один на другой, как близнецы. С утра лекции или семинары в университете. Дома — рукописи иностранных и русских математиков для «Acta», книги, журналы — русские, шведские, французские, немецкие, английские, по физике, механике, математике, новая беллетристика.

Книги громоздились на столах, стульях, этажерках, подоконниках, а то и на полу. Если друзья заходили к Софье Васильевне в кабинет, присесть было негде, приходилось сначала осторожно расчистить себе место. Хозяйка встречала гостей приветливо, но они ощущали ту незримую перегородку, которая в последнее время отделяла Ковалевскую от окружающего мира. Глаза ее не горели, как обычно, а матово светились, словно взор ее был обращен в себя. Слушала она рассеянно, отвечала невпопад. Посетители не задерживались.

Под видом шутки Миттаг-Леффлер как-то посоветовал:

— Не кажется ли вам, Соня, что ваша квартира гораздо менее походила бы на публичную библиотеку, если бы в ней вился дым крепкой сигары, валялись по всем углам предметы мужского обихода и солидный баритон делал госпоже профессору убийственные замечания из-за плохо сваренного кофе или недостаточно подрумянившегося пудинга?

— А кому бы вы хотели отвести эту завидную роль?

— Кому-нибудь напоминающему директора банка Пальме, для которого вы были бы заурядной собственностью, а не Прометеем, как для восторженного Сильвестра!

Устало улыбаясь, Софья Васильевна качала головой:

— Нет, если я и отважусь выйти замуж, то только за русского и только за математика...

Тогда Миттаг-Леффлер взял с этажерки английский журнал «Природа» и, смеясь, сказал:

— А вот я сейчас уличу вас в неблагодарности, в неумении ценить добрые чувства математика. Надо обладать каменным сердцем и сверхъестественным самомнением, чтобы пройти мимо такого поклонения! Вы забыли, на какой сонет вдохновил ваш талант нашего уважаемого Джемса Сильвестра? В семнадцать лет любой юнец пишет стихи, но написать столь пылко в семьдесят два года... Неблагодарная женщина! Слушайте же:

**Молодой леди, собиравшейся петь на еженедельном концерте
в Бэллиоль-колледже.**

О дева, голос чей — самих небес творенье,
(Тому, кто трудится, найдется ль дар ценней!)
Как смена лун, твое разнообразно пенье
И нежно, как слеза тоскующих очей.

Пусть ложный страх, людских достоинств всех пороки,
Порыв твой не смутит, пусть длится наша радость —
Ведь розы аромат, прохладный ветерок
Нам будут вечно доставлять одну лишь сладость.

О дева, чья звезда над Меларом^[13] сияет,
И та, что берега Изиды^[14] украшает,
Позвольте, вам сплету венок гармоний сей!

Одна мелодией лишь чувства нам пленяет,
Другая же средь цифр немых, как Прометей,
По струнам разума людского ударяет.^[15]

— Что скажете вы, жестокая, о таком славословии?

— То, что всегда говорю: моя слава лишила меня обыкновенного женского счастья. Певица ласкает слух сего поэта, а Прометей в юбке трогает лишь его разум, — печально произнесла Ковалевская.

— А удовольствовались бы вы этим счастьем, Соня? — с состраданием спросил Миттаг-Леффлер.

— Кто знает? — пожала плечами Софья Васильевна. — Мне судить трудно: у меня его никогда не было... Судьба очень добросовестно позаботилась о том, чтобы мое одиночество было возможно совершеннее. Даже Анна-Шарлотта покинула меня...

— Не сердитесь на меня, Соня. Обладая способностью легко приобретать друзей, вы нисколько не заботитесь о том, чтобы их удержать, — возразил Миттаг-Леффлер.

Ковалевская улыбнулась.

— Вы мой старый друг, а судите обо мне не лучше, чем малознающие меня люди. Неужели вы не видели, сколько приходится мне прилагать

энергии, чтобы завоевать чье-нибудь расположение? Никто никогда еще не любил меня просто так, по собственному побуждению... Даже король Оскар II перестал подозревать во мне нигилистку только после того, как я полтора часа потратила на то, чтобы объяснить ему теорию обертонов Гельмгольца, лишив себя катанья на коньках. А вы говорите, что я легко приобретаю расположение! Очень заблуждаетесь, дорогой Геста...

— Соня, вы должны отдохнуть, — серьезно сказал профессор. — Хотя вы и способны работать за десятерых мужчин, мне кажется, что вы еще не отдыхали за эти годы даже как один из них.

ЭЛЛЕН КЕЙ

С дочкой Софья Васильевна проводила обеденное время. Расспрашивала о ее школьных делах, о подругах, читала ей вслух рассказы из русских детских журналов и с отчаянием замечала, что девочка забывает родной язык.

С приездом Фуфы Софья Васильевна более чем обычно заинтересовалась вопросами воспитания. Читала много педагогических книг и близко сошлась с известной в Стокгольме учительницей Эллен Кей.

Ковалевскую влекла эта, прекрасной души женщина, добровольно отказавшаяся от любви, мужественно боровшаяся за свои идеалы общественной жизни и находившая в труде спокойное удовлетворение.

В их внешней жизни было много сходного. Как и Ковалевская, Эллен Кей никогда не училась в школе. С шести лет ее начали дома учить немецкому языку, а с четырнадцати — французскому и шведскому. Но она не любила арифметики и грамматики, а так как мать сама преподавала эти предметы и старалась заставить Эллен учиться успешно, то эти уроки вызвали в душе девочки, не столь податливой, как Ковалевская, неприязнь ко всякому насильственному обучению. В возрасте восьми-десяти лет она восхищалась Гарибальди, в тринадцать-четырнадцать лет — освободительной борьбой поляков. Без всякого внешнего побуждения выбрала она целью своей жизни служение народу.

Эллен Кей много путешествовала за границей. Путешествия имели большое значение для ее умственного развития. Она побывала на Всемирной выставке в Вене с отцом, депутатом риксдага, который изучал исправительные сиротские заведения. Посетив их, Эллен Кей навсегда получила отвращение к подобным учреждениям.

Она видела Берлин, Дрезден, Вену, Венецию, Флоренцию, Париж, Лондон, Кассель и везде осматривала произведения искусства, к пониманию которых была хорошо подготовлена самообразованием, беседами с отцом и лекциями по истории искусства.

Между 1880–1890 годами в Швеции начался сельскохозяйственный кризис. Отец-землевладелец разорился, и Эллен Кей пришлось искать заработка. Она переехала в Стокгольм, поступила учительницей в женскую школу передового педагога Анны Витлок, где потом учились дети Брантинга, профессора Лекке и дочь Ковалевской.

Ученицы любили ее. На своих уроках она не требовала обычной

школьной дисциплины, врагом которой была всегда. Она хотела, чтобы детские наклонности развивались свободно и нормально. Об этом Эллен Кей писала в своей книге «Век ребенка», возбуждавшей интерес во всех странах мира.

Вскоре она начала читать лекции по истории литературы для молодых женщин и девушек. Читала о французских энциклопедистах, о русской литературе, об эпохе Возрождения в Италии, об американской освободительной войне.

Осенью 1883 года доктор Антон Нистрем открыл на собранные средства институт рабочих и пригласил Эллен Кей лектором по истории шведской культуры. Сначала она читала при пятнадцати слушателях, но вскоре зал института на 480 человек не мог вместить всех желающих. В своих лекциях Э. Кей проводила мысль о необходимости вырабатывать самостоятельное критическое отношение к общественным течениям, не преклоняться слепо перед авторитетами.

Кроме занятий в институте рабочих и в школе, Эллен Кей выступала в Стокгольме, Готтенбурге, Христиании, Гельсингфорсе, в различных благотворительных обществах, в рабочих союзах, печатала свои рефераты в газетах. Ее лекции были большей частью исторического характера или по вопросам искусства; читала она и о правовом положении замужней женщины. Своим редким ораторским талантом Эллен Кей приобрела широкую известность.

В восьмидесятых годах молодежь Швеции восстала против гнета всего отжившего. Возникла борьба против догм церкви. Реакционеры воспользовались забытой статьёй старинного закона, каравшей тюремным заключением за богохульство. За многими шведами закрылись тюремные ворота на долгие месяцы. В 1884 году по этой статье обвиняли Августа Стриндберга. Студентов академии лишали стипендии за «лжеучение». Друг отказывался от друга, свобода слова и мысли, казалось, замерла. И вдруг уверенный и спокойный голос прорезал мертвящую тишину. Это был голос Эллен Кей. Она выступила перед шведской публикой, напомнила о недостойном угнетении, наглом заключении в тюрьму людей за взгляды, которые в научной или философской форме открыто высказывались в печати. Она делала доклады о том, «как происходят реакции», в студенческом собрании в Упсале произнесла речь «О свободе слова и печати».

В газетах появились резкие нападки на Эллен Кей; многие от нее отшатнулись. А Софья Васильевна почувствовала к ней горячую симпатию и стала искать встреч.

Эллен Кей положила начало устройству вечеров в созданном по ее инициативе просветительном обществе «Толферн» («Двенадцать»). На эти вечера каждый член общества приглашал двенадцать работниц разных профессий. В общество вошла и Ковалевская.

В 1885 году в Стокгольме образовался кружок лиц для обмена мыслями по научным вопросам и искусству между интеллигентными женщинами, названный «Нья Идун». Кружок содействовал иностранкам-путешественницам в знакомстве их с женщинами Стокгольма. Эллен Кей была основательницей и вице-президентом этого общества. В его работе участвовала и С. В. Ковалевская.

Представительница духовного центра Стокгольма, Софья Васильевна стала вдохновительницей деятельности Эллен Кей. Она рассказывала шведской учительнице о революционной борьбе в России, о роли русской передовой литературы в жизни общества, знакомила со своими друзьями-социалистами, снабжала приятельницу письмами к ним, когда Э. Кей ездила в Западную Европу, сблизила ее с Янковской, Фольмаром, П. А. Кропоткиным.

Эллен Кей очень интересовала Ковалевскую и как педагог, выдвинувший новые идеи. Они часто спорили о методах воздействия на детей. Софья Васильевна, добродушно посмеиваясь над педагогическими принципами Эллен Кей, подарила ей свой рисунок, на котором была изображена плачущая Фуфа, наказанная поборницей свободного развития ребенка, с иронической надписью: «Будущее Эллен Кей»...

Но славная шведская воительница не могла заменить собой широкий мир, которого недоставало русской ученой.

СООТЕЧЕСТВЕННИК

Однажды зимой среди множества писем от родных, друзей и незнакомых людей, обычно просивших о каких-нибудь услугах, от редакций газет и журналов, заказывавших статьи или автобиографию, Софья Васильевна нашла письмо от Анны-Шарлотты.

Путешествуя по Западной Европе, шведская писательница навестила в Италии своего друга, молодого экономиста Лорена. Безднажно больной туберкулезом, он знал о близком конце и решил оставить свое состояние — 200 тысяч крон — для распространения общественно-политических знаний.

В созданный комитет, который должен был распоряжаться «фондом Лорена», вошли известные стокгольмские профессора, писатели, в числе их Леффлер и Ковалевская.

Лорен просил приятельницу позаботиться о том, чтобы комитет, не откладывая, начал свою деятельность.

Анна-Шарлотта сообщила Ковалевской, что, познакомившись в Лондоне с соотечественником и однофамильцем Софьи Васильевны — Максимом Ковалевским, опальным профессором Московского университета, покинувшим родину, задумала пригласить его в Швецию как лектора. Она просила подругу заручиться согласием остальных членов комитета.

Профессора Максима Максимовича Ковалевского Софья Васильевна немного знала по Москве, а год назад возобновила с ним знакомство в Париже у Лаврова. Обаятельный, высокообразованный, остроумный и «пострадавший», экс-профессор вызвал симпатии Ковалевской, он был у нее несколько раз с визитом.

Широкая эрудиция, умение ценить шутку, иронию делали беседы с ним необыкновенно интересными. Главное же — это возможность говорить по-русски! Софью Васильевну больше всего угнетала обреченность разговаривать на чужом языке, не иметь никого, кто вспоминал бы с нею вместе Россию — каждый день, каждый час!

— Я не могу передать вам самые тонкие оттенки моих мыслей, — жаловалась она шведским друзьям, — я всегда принуждена или довольствоваться первым пришедшим мне на ум словом, или говорить обиняками. И потому всякий раз, когда я возвращаюсь в Россию, мне кажется, что я вышла из тюрьмы, где держали взаперти мои лучшие мысли.

О, вы не можете представить себе, какое это мученье быть принужденным всегда говорить с близкими на чужом языке! Это все равно, как если бы вас заставили ходить целый день с маской на лице!

Конечно, ей будет много легче, если Ковалевский приедет в Стокгольм именно теперь, когда так томит тоска по родине, так невыносимо угнетает одиночество. Она была бы рада любому русскому, лишь бы слышать родной язык, хотя, сталкиваясь с самыми блестящими людьми своего времени, Софья Васильевна очень взыскательно относилась к новым знакомствам, говоря:

— Кто хоть раз пришел в соприкосновение с человеком гениальным, у того духовный масштаб изменен навсегда, тот пережил самое интересное, что может дать жизнь!

Максим Ковалевский был человеком яркой судьбы. Родился Максим Максимович 27 августа 1851 года в Харькове. Первоначальным образованием и воспитанием его занималась мать, Екатерина Игнатьевна, а затем были приглашены французская и немецкая гувернантки, гувернер-швейцарец, учителя музыки и живописи. В гимназии Ковалевский проявил выдающиеся способности, но независимость нрава и некоторая строптивость вызвали столкновения с начальством. Директор гимназии часто журил его за «свободомыслие» и говорил ему с украинским акцентом: «Ковалевский, Ковалевский, ваше поведение доведет вас до выведения из заведения».

— К счастью, — смеялся Максим Максимович, — эта угроза тогда не осуществилась. Только будучи профессором Московского университета, я испытал, что значит «выведение из заведения».

В 1868 году он поступил в Харьковский университет на юридический факультет, где читал Д. И. Каченовский.

— Его эрудиция была обширна и основательна, — рассказывал Ковалевский, — изложение талантливо и красноречиво. В России я не слышал лучшего профессора.

Наиболее блестящая эпоха его профессорской деятельности относится к концу царствования Николая Палкина и к первым годам правления Александра II. Тогда Каченовский по целым месяцам излагал историю отмены торгога неграми, а сотни слушателей в его прозрачных намеках справедливо видели атаку на крепостное право...

В первый год студенчества Ковалевский не очень усердно отдавался наукам, поглощенный удовольствиями светской жизни. Но, будучи на втором курсе, сошелся с кружком либеральной молодежи в доме Ковальского — магистра физики, женатого на женщине, увлекавшейся

Лассалем. На этих вечерних собраниях бывали люди, изучавшие естественные науки, медицину, историю, юриспруденцию. Все они интересовались общественными вопросами, правда не выходя из круга чисто теоретических, если не считать участия в потребительском товариществе. Ковалевский посвятил себя науке. Под руководством Каченовского стал изучать историю английских местных учреждений и продолжил эти занятия в Париже, Берлине и Лондоне. Обе его диссертации — и магистерская и докторская — посвящены истории английского общественного строя средних веков и истории местных учреждений в английских графствах.

К магистерскому экзамену Максим Максимович готовился за границей в Берлинском университете, сначала на юридическом, а затем на филологическом факультетах. В Париже слушал лекции в университете, в «Коллеж де Франс», в высшей свободной школе политических наук, а в Школе хартий ознакомился с техникой исследования старинных памятников. Диссертацию он писал в Лондоне: в библиотеке Британского музея и в государственном архиве. От Григория Николаевича Вырубова, известного философа-позитивиста, жившего в Париже как эмигрант, Максим Максимович получил рекомендательное письмо к Люису, мужу Джордж Элиот.

Джордж Элиот по воскресеньям собирала у себя писателей и общественных деятелей; с ее помощью Ковалевский попал в члены известного литературного клуба «Атенеум», что для иностранца было большой честью. В «Атенеуме» встретился со старшиной клуба Гербетом Спенсером.

В Лондоне Ковалевский сблизился с Карлом Марксом и Энгельсом. Маркс в первую встречу принял его в своем салоне, украшенном бюстом Зевса Олимпийского. Нахмуренные брови и, как показалось, суровый его взгляд невольно вызвали в уме сравнение с этим бюстом. Но Карл Маркс в обычном общении с людьми знакомыми становился простым, даже благодушным, неистощимым в рассказах, шутках, полных юмора, готовым подшутить над самим собой. Почти два года — до своего отъезда в Москву — Максим Максимович бывал на воскресных обедах у Маркса, который относил Ковалевского к числу своих «научных друзей», и на воскресных вечерах у Энгельса. Он был обязан Марксу тем, что начал заниматься историей землевладения и экономического роста Европы.

Маркс внимательно прочитывал работы Ковалевского и откровенно высказывал свое мнение о них, направляя интересы русского ученого к изучению прошлого земельной общины, развития семьи. В своем труде

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельс пользовался исследованиями Ковалевского, изложенными в его «Очерке происхождения и развития семьи и собственности».

Вернувшись в Россию, Максим Максимович читал в Московском университете историю государственных учреждений, характеристику современных политических порядков на Западе, специальные курсы истории американских учреждений, сравнительной истории семьи и собственности, сословий на Западе и в России, древнейшего уголовного права и процесса.

В середине восьмидесятых годов Ковалевский находился в зените своей славы как профессор. Имя его было настолько популярно, что многие поступали на юридический факультет университета только затем, чтобы слушать его лекции. Огромный актовый зал, где он их читал, всегда заполняли студенты, среди которых было много медиков, филологов, математиков, естественников.

Университет переживал эпоху мрачной реакции. Как говорили тогда, «на студентов надели намордники». От прежней академической свободы не осталось и следа. Снискавший себе печальную славу инспектор Брызгалов выслуживался сыском и доносами. Высшая наука была взята под подозрение. Курс государственного права западноевропейских держав тщательно очистили от всего того, что могло оказаться «соблазнительным».

Но даже такой выхолощенный курс Ковалевский сделал интересным: по существу, он излагал учение о конституциях, само название которых было тогда чуть ли не запретным.

Едва появлялась атлетическая фигура Ковалевского на кафедре, едва раздавался его звучный голос, аудитория замирала. Профессор пересыпал свою речь остроумными сопоставлениями, меткими сравнениями, красивыми образами. Лекции его изобиловали фактическим материалом, говорящим об исключительной эрудиции Ковалевского. Порой он отвлекался от главной темы и рассказывал какой-нибудь эпизод из практики правительственных учреждений, приправляя рассказ язвительной шуткой. Вся аудитория хохотала, на кафедре тоже раздавался раскатистый смех. Привлекал к себе Максим Максимович и своей добротой, широкой помощью, какую оказывал необеспеченным студентам.

Талантливость Ковалевского сочеталась с необыкновенной работоспособностью: он был членом многочисленных ученых обществ — юридического, психологического, любителей российской словесности и т. д. Ковалевского называли «сверхъестественным феноменом» за его блестящие выступления на публичных диспутах.

М. М. Ковалевский стоял во главе кружка, объединившего лучшие силы московской интеллигенции. Его квартиру на Моховой, сплошь заставленную книгами, посещали А. И. Чупров, И. И. Янжул, С. А. Муромцев. На его «четвергах» бывали И. С. Тургенев, Н. К. Михайловский, Н. В. Шелгунов, П. Д. Боборыкин, А. И. Эртель, В. А. Гольцев и многие другие известные в Москве писатели, ученые, общественные деятели.

В министерстве народного просвещения к Максиму Максимовичу относились подозрительно. Делянов считал его «опасным».

«Уничтожать» Ковалевского начали с того, что исключили его предмет из числа обязательных, но и на «необязательный» шли толпы студентов. Рассказывали, что Ковалевский, начиная свою лекцию, однажды произнес такие слова:

— Господа, я должен вам читать о государственном праве, но так как в нашем государстве нет никакого права, то как же я буду вам читать? Но так как читать приходится, то я буду читать вам про право, более подходящее к тому, которое практикуется у нас.

Понятно, что, воспользовавшись столкновением студентов на лекции Ковалевского с подслушивавшим у дверей инспектором Брызгаловым, министерство решило «очистить» университет от «вредного» профессора.

Добровольно подать прошение об отставке Ковалевский не согласился. Тогда в министерство представили тенденциозно подобранные фразы из его лекций, записанные агентами охраны, и он был уволен.

Министр народного просвещения Делянов предложил попечителю Московского учебного округа графу Капнисту немедленно заменить Ковалевского другим лицом ввиду его «отрицательного отношения к русскому государственному строю», которое хотя и не выражается прямо, но вытекает из «неуместного сравнения английских порядков с нашими и подкрепляется соответствующей *интонацией*».

Граф Капнист отвечал, что «едва ли можно найти кандидата настолько подготовленного, чтобы он немедленно мог занять кафедру в университете, и, кроме того, мера эта может оказаться вредной... Не только между студентами, но и между профессорами сложится взгляд, что профессор смнен вследствие газетной статьи и происков инспектора, каковое впечатление может подействовать в смысле нежелательном для правительства гораздо сильнее, чем лекции профессора Ковалевского».

На эту защиту министр ответил: «Не лишним считаю присовокупить, что если вы имеете в виду заместить эту кафедру посредственностью, то, по-моему, лучше иметь преподавателя со средними способностями, чем особо даровитого человека, который, однако, несмотря на свою ученость,

действует на умы молодежи растлевающе...»

И даже всесильный князь Долгоруков, запрашивая, на какой срок установлено наблюдение начальства за лекциями Ковалевского, предостерегал: «...как бы то ни было бдительно упомянутое наблюдение, но при известных способностях Ковалевского, его уме и диалектическом таланте, с одной стороны, а с другой — при чуткости его аудитории, настроенной в известном направлении идей, едва ли можно быть уверенным, что от наблюдения не ускользнет ничего существенного».

Максим Максимович был очень возмущен таким актом насилия и заявил, что он уезжает за границу и не вернется в Россию, покуда в ней не будет введен конституционный строй.

Ему легко было приспособиться к западноевропейской жизни. Он владел свободно английским, французским, итальянским, немецким, слабее — испанским и шведским языками. Кроме того, он знал классическую и средневековую латынь, старонормандский язык, которым пользовался при изучении древнеанглийских памятников. Максим Ковалевский читал лекции во Франции, Англии, Италии, Соединенных Штатах.

С нетерпением ждала его приезда Софья Васильевна, и даже досадная путаница, связанная с этим событием, вызвала веселое настроение. Собираясь в Швецию, Максим Максимович распорядился, чтобы всю его корреспонденцию и посылки из книжных издательств направляли в Стокгольм, до востребования, «господину профессору Ковалевскому». Но почтовое ведомство Швеции знало только одного профессора с такой фамилией!

Каково было удивление Софьи Васильевны, когда она, вернувшись с каникул, зашла на почту, а служащие с любезными поклонами сложили перед нею целую гору писем и пакетов с книгами.

— Бог мой! — воскликнула Софья Васильевна. — Я же не смогу ничем больше заниматься, если вздумаю быть добросовестной и прочитать все это!

Внимательно взглядевшись, она обнаружила, что вся корреспонденция адресована не госпоже, а господину Ковалевскому. Значит, действительно, блестящий соотечественник собирался скоро пожаловать!

Он приехал в феврале, тотчас дал об этом знать Софье Васильевне, и она послала ему в отель записку: «Многоуважаемый Максим Максимович! Жаль, что у нас нет на русском языке слова *Völkommen* (шведское приветствие), которое мне так хочется сказать вам. Я очень рада вашему приезду и надеюсь, что вы посетите меня немедленно. До 3-х часов я буду дома. Вечером у меня сегодня именно соберутся несколько человек

знакомых, и надеюсь, что вы приедете тоже».

ЛЮБОВЬ ЛИ ЭТО, ИЛИ ДРУЖБА ЭТО?

Едва Максим Максимович вошел в гостиную Ковалевской, как сразу же показалось, что комната и вещи уменьшились в размерах.

Софья Васильевна с нескрываемой радостью и... веселой иронией встретила долгожданного русского гостя. Его облик «старого казака, победившего турок, но побежденного жиром», она описала потом в отрывке «Романа, происходящего на Ривьере»:

«Массивная, очень красиво посаженная на плечах голова представляла много оригинального и превосходно годилась бы для пресс-папье, — говорила Ковалевская. — Всего красивее были глаза, очень большие даже для его большого лица, и голубые при черных ресницах и черных бровях. Лоб, несмотря на все увеличивающиеся с каждым годом виски, тоже был красив, а нос — для русского носа — был замечательного очертания. Щеки были слишком велики, а нижняя челюсть непомерно развита. Недостаток этот скрывался, впрочем, в значительной степени небольшой французской бородкой — черной с проседью, и только в минуты гнева нижняя губа, да и вся нижняя челюсть, вдруг выдвигалась вперед и сообщала лицу что-то свирепое».

Одет он был в костюм из очень хорошей английской ткани, от первоклассного портного, сидело же платье на его тучной, огромной фигуре нескладно, обвисая некрасивыми складками. Но даже это понравилось Софье Васильевне, как одна из черт «истинно русского» интеллигента. Она завладела гостем, ожила, развеселилась, блеснула остроумием и очаровала Ковалевского.

— Ну рассказывайте, рассказывайте, что там, за морем, в России? — то и дело просила Софья Васильевна. — Целую вечность ничего не слыхала о своем отечестве.

И беседа текла, как вода среди камней: отклоняясь, рассыпаясь брызгами, вспыхивая слепящими радугами. Неохотно поднялся Ковалевский с дивана, чтобы дать хозяйке отдохнуть перед вечерним приемом в честь одного норвежского математика. А ей, наконец заговорившей в Стокгольме по-русски, тоже не хотелось расставаться с интересным собеседником.

— Я жду вас сегодня непременно, — приглашала Софья Васильевна Ковалевского. — Мы еще не поговорили о ваших лекциях...

Проводив гостя, Софья Васильевна занялась убранством комнаты:

зажгла все лампы, расставила цветы, разложила по вазам варенье собственного приготовления, которое так нравилось шведам, и надела свое самое нарядное платье из голубой шуршащей тафты, в котором ездила во дворец на бал.

Гостей собралось человек десять. Шведские друзья — Гюльден, Брантинг, Эллен Кей — искренно радовались, увидев «нашего профессора Соню» снова радостной, красивой, приветливой, восхищались и гордились ею, выражали вслух похвалы ее талантам. Они были очень внимательны и к Максиму Максимовичу, занимавшему много места не только за столом, но и в мыслях собеседников. А ему было нетрудно заметить, как одиноко себя чувствует Ковалевская, как дорого ее сердцу все русское. Миттаг-Леффлер шепнул ей:

— Вы говорите ведь и по-французски, как на родном языке, я бы предпочел, чтобы вы вышли замуж за француза Липпмана и встречались с ним лишь во время каникул. А это знакомство меня пугает: вы, русские, способны разговаривать сутками. Что будет с исследованием для конкурса?

— Не волнуйтесь, Геста, — смеясь, ответила Ковалевская. — Вот наговорюсь вдоволь и начну работать с удесятенными силами. А что касается Липпмана, то его матушка оценила свое сокровище в миллион франков. Я не уверена, что он стоит такого калыма...

Опасения Миттаг-Леффлера подтвердились. Ковалевский приходил к Софье Васильевне каждый день. Они говорили и о политике, и о науке, о театре и литературе. Максим Максимович с изумлением смотрел на ученого-математика, который так основательно разбирался не только в функциях, физике и оптике. Софья Васильевна свободно обращалась к зоологии, ботанике, геологии и палеонтологии, к истории, литературе и театру. И обо всем она высказывала собственные, оригинальные суждения, проявляя большую трезвость материалиста, способность критически относиться ко всяческим туманам метафизики.

Редкая память позволяла Софье Васильевне быстро схватывать то, что другим давалось длительным изучением. Ковалевский, встречавший в своей жизни много выдающихся людей, ни у кого больше не наблюдал такого дара проникать в глубь вещей, ясно отличать главное от второстепенного и безошибочно направлять в спорах удар на самое слабое место доводов противника.

Ему было интересно спорить с ученой-женщиной даже по вопросам, в которых она не была достаточно подготовлена. Софья Васильевна открывала в теоретических построениях, казавшихся бесспорными, такие зияющие бреши, что ошеломленный Максим Максимович только высоко

поднимал брови.

Он занимался в это время разработкой материалов сравнительной этнографии и истории права и учреждений для будущей книги. Софья Васильевна почти ничего не читала по этим вопросам, но так как в разговоре невольно приходилось касаться и таких тем, она через несколько дней смогла уже дельно критиковать существовавшие теории и строить собственные гипотезы. Иногда горячая фантазия уводила ее так далеко, что Ковалевский даже как-то пошутил:

— Вы с полным правом могли бы повторить слова госпожи Дюдеван (Жорж Санд): если факты не укладываются в мою схему, тем хуже для фактов.

Подхватив шутку, Софья Васильевна заявила:

— Без фантазии нет высшей математики, а как же, не фантазируя, представить историческое развитие семьи и права?

— Да, кстати, о математике, — вдруг спросил Максим Максимович, — не пострадает ли ваша работа? Я так много отнимаю у вас времени, а лишать себя наслаждения беседовать с вами мне трудно.

— О, это все пустяки! — беспечно воскликнула Софья Васильевна. — Я вычисляю по ночам. Думаю, что справлюсь к сроку. Наши беседы для меня, как хлеб для алчущего.

С его посещениями у нее связывалось чувство чего-то отрадного, какого-то праздника. Сам крупный, Ковалевский любил все большое и привозил огромные коробки конфет, Фуфе дарил кукол величиной с ребенка, пасхальные яйца, вмещавшие несколько фунтов засахаренных фруктов!

Со свойственной ей проницательностью Софья Васильевна уже разобралась в Максиме Максимовиче и нашла в нем отличного приятеля, с которым так много было говорено о самих себе с предельной искренностью и откровенностью. Впечатление ее от русского профессора могли выразить стихи Мюссе.

Il est très joyeux — et pourtant très maussade.
Détestable voisin — excellent camarade,
Extrêmement jutille — et pourtant très posé,
Indignement naïf — et pourtant très blasé.
Horriblement sinsère — et pourtant très rusé.

(Он очень веселый — и, однако, очень угрюмый:
Отвратительный сосед — и великолепный товарищ;

Чрезвычайно ничтожный — и, однако, очень солидный;
Постыдно наивный — и очень пресыщенный;
Чрезмерно искренний — и, однако, очень хитрый.)

Но сочетание столь противоречивых, высоких и непривлекательных свойств делало его необыкновенно интересным, а главное — он был настоящим русским с головы до ног.

— У него в мизинце больше ума и оригинальности, — доказывала Ковалевская друзьям, — чем сколько можно было бы выжать из обоих супругов Х., даже если бы поместить их под гидравлический пресс!

Увлекаясь беседами с соотечественником, Софья Васильевна старалась не запускать и свое исследование, просиживая за рукописью до поздней ночи. Она уверяла, что ей часто приходится принуждать себя к работе, что только благодаря строгости гувернантки ей удалось «одолеть природную лень, которая совсем погубила ее брата». Как бы то ни было, а она истощала себя ночным трудом, выходила из кабинета с осунувшимся лицом и замечала, что Ковалевскому не нравилось, когда работа становилась между ними.

— Певица или актриса, осыпаемые венками, — заметила как-то Софья Васильевна с иронией человека, дорого заплатившего за опыт, — могут легко найти доступ к сердцу мужчины благодаря именно своим триумфам. То же самое может сделать и прекрасная женщина, красота которой возбуждает восторги в гостинной. Но женщина, преданная науке, трудящаяся до красноты глаз и морщин на лбу над сочинением на премию, чем может она быть привлекательна для мужчины? Чем может она возбудить его фантазию?

Миттаг-Леффлер был до крайности встревожен непрекращающейся ни на день «словесной вакханалией». Успев сблизиться с Ковалевским, он товарищески откровенно попросил его переехать в Упсалу и дать Софье Васильевне возможность окончить важный труд, от успеха которого зависит ее будущее. Ковалевская посмеялась над «пустыми волнениями» своего друга, а потихоньку призналась ему:

— Эта перемена очень счастлива для меня, потому что если бы Максим остался в Стокгольме, я не знаю, право, удалось ли бы мне окончить работу... Он такой большой, что в его присутствии положительно ни о чем другом, кроме него, думать невозможно

ТРИУМФ УЧЕНОГО

*На что надеешься, чего ждешь ты сегодня?
После триумфа и пальмовых ветвей
Только одно осталось душе —
Печаль, и жалобы, и слез реки.*

Торкватто Тассо, «Торрисмондо»

ЧЕТВЕРТЫЙ ИНТЕГРАЛ

Ковалевский уехал, и, облегченно вздохнув, Софья Васильевна заперлась в своем кабинете. Через неделю она сообщила отправившемуся в Италию лечиться Миттаг-Леффлеру, что пришла к определенному результату — очень радостному: ее случай в задаче о вращении интегрируется действительно посредством ультраэллиптических функций, как она и думала. Теоретические трудности преодолены.

Вейерштрасс, которому Софья Васильевна писала и раньше о своих догадках и после того, как нашла, что проблема решается через ультраэллиптические функции, серьезно думал об открытии ученицы. Но он не смог проверить решение. Профессор даже написал ей, что это вещь невозможная, что, вероятно, Соня ошиблась в своих рассуждениях.

Задача о вращении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки сводится к интегрированию некоторой системы уравнений, которая всегда имеет три определенных алгебраических интеграла. В тех случаях, когда удастся найти четвертый интеграл, задача решается полностью. До открытия Софьи Ковалевской четвертый интеграл был найден дважды — знаменитыми исследователями Эйлером и Лагранжем.

За пятьдесят лет, которые прошли с момента учреждения премии Бордена «за усовершенствование в каком-нибудь важном пункте теории движения твердого тела», ее присуждали всего десять раз, да и то не полностью, за частные решения. А до открытия Софьи Ковалевской эта премия три года подряд вовсе никому не присуждалась.

Ковалевская нашла новый — третий — случай, а к нему — четвертый алгебраический интеграл. Полное решение имело очень сложный вид. Только совершенное знание гиперэллиптических функций позволило ей так успешно справиться с задачей.

Позднее великий русский математик А. М. Ляпунов писал, что Софье Васильевне Ковалевской удалось получить известные положительные результаты именно потому, что она нашла четвертый алгебраический интеграл.

И до сих пор четыре алгебраических интеграла существуют лишь в трех классических случаях: Эйлера. Лагранжа и Ковалевской.

Летом 1888 года Софья Васильевна не смогла по-настоящему, с присущей ей тщательностью, завершить все вычисления, чисто механические, которые был бы в состоянии выполнить за неделю любой

человек, привыкший с ними обращаться.

«Самое худшее — это то, что я так устала, — жаловалась она Миттаг-Леффлеру, — так изнемогла, что я сижу и размышляю в течение целых часов о какой-нибудь простой вещи, которую при других обстоятельствах легко могла бы решить в полчаса».

Не отважившись послать литературно не завершенную статью прямо в Парижскую академию, Софья Ковалевская направила ее Эрмиту, подробно изложив причины задержки в работе, поделилась с ним мыслями о некоторых, как ей тогда уже казалось, «удивительных и интересных результатах», попутно найденных ею относительно общего случая, и просила Эрмита посоветовать, что делать дальше со статьей на конкурс.

Эрмит успокоил ее. Он передал ей слова члена конкурсной комиссии Дарбу и неопременного секретаря академии Бертрана, что, так как комиссия не будет заседать до октября из-за летнего отпуска академиков, госпожа Ковалевская имеет право до этого срока сделать в своей работе любые литературные изменения, внести любые дополнения.

К этому сообщению французский математик добавлял, что сам он жаждет только одного — поскорее узнать те прекрасные и важные результаты, к которым пришла Ковалевская в знаменитом вопросе. «Мне будет приятно подбирать колосья со сжатого вами поля. Я уже мечтаю об изучении частных случаев, в которых ваши гиперэллиптические интегралы приводятся к эллиптическим функциям, подобно тем примерам, которые дали Якоби и другие», — писал пользовавшийся широкой известностью Эрмит, ставя ученую-женщину в самый высокий ряд математиков своего времени.

Получив такой благоприятный ответ, позволявший немного отдохнуть, Софья Васильевна подписала свой труд девизом — несколько расширенная старофранцузская пословица — «Dis ce que tu sais, fais ce que tu dois, advienne se que pourra» («Говори, что знаешь, делай, что должен, будь что будет») — и послала в Париж, конкурсной комиссии. Она не хотела отделять работу в состоянии изнурения, так как предчувствовала, что дальнейшие исследования обещают новые приятные неожиданности. А для этого надо было накопить сил.

Максим Ковалевский, возвратившись в Стокгольм, поразился переменой, происшедшей в Софье Васильевне: она похудела, лицо ее так осунулось, побледнело, глаза так угасли и запали, что она выглядела состарившейся на несколько лет.

Но даже в состоянии предельного изнурения Ковалевская оставалась неотразимо интересной собеседницей. Максим Максимович настойчиво

просил ее совершить с ним путешествие, чтобы она смогла отдохнуть перед конкурсом. Он предлагал отправиться на Кавказ, через Константинополь, уверял, что поездка обойдется ей очень недорого. «Но, — сообщала Софья Васильевна Анне-Шарлотте, которая собиралась, как и Миттаг-Леффлер, ехать с ними, — относительно этого пункта у меня существуют сомнения, и я думаю, что мы поступим благоразумнее, если будем держаться цивилизованных стран».

Сама она иначе планировала свой отдых. Софья Ковалевская отказалась от приглашения приехать в Болонью на празднование 800-летия университета, где должны были собраться крупные ученые мира. Знаменитая женщина-профессор не могла позволить себе лишних расходов на необходимые туалеты, так как ей приходилось расплачиваться со старыми долгами Владимира Онуфриевича и она жила в обреш. Да и не в ее вкусе были скучно-торжественные собрания такого рода. Кроме того, для нее было очень важно побывать в Париже. Софья Васильевна предлагала Анне-Шарлотте встретиться в половине июня в Италии и там решить, где провести лето. Ей самой было бы приятнее всего поселиться «в каком-нибудь тихом и красивом месте и начать вести спокойную идиллическую жизнь», работая над не удовлетворявшей ее литературной стороной исследования о вращении твердых тел.

Да и вообще после напряженной математической работы ее, как обычно, тянуло к литературе. «...Мне ужасно хочется, — делилась она с подругой-писательницей, — изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове... Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М., потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, нисколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра божья».

По обыкновению, план тихого, «созерцательного» отдыха в обществе добрых друзей, в литературных фантазиях не осуществился.

Максим Ковалевский уехал из Швеции в Англию по своим научным делам, а также для переговоров с профессорами, которых он рекомендовал Лореновскому комитету как лекторов. Софья Васильевна и радовалась его отъезду и печалилась: работать стало несравненно спокойнее, но разлука позволяла «уяснить себе вполне, до какой степени она, Ковалевская, одинока». Одиночество было терпимо, пока заполнялось работой над

исследованием для конкурса. А как только исследование было отправлено и окончился семестр в университете, Софья Васильевна тут же собралась к Ковалевскому.

С дороги она написала Анне-Шарлотте: «Я сижу теперь в Гамбурге в ожидании поезда, который должен увезти меня в Флиссинген, а оттуда в Лондон. Ты вряд ли в состоянии представить себе, что это за наслаждение принадлежать вновь самой себе, сделаться опять властелином над своими мыслями и не быть более принужденной насильно, *par force*, концентрировать их на одном и том же предмете, как мне приходилось это делать в течение последних недель».

...Лондон встретил ясной погодой, прозрачным воздухом. Максим Ковалевский был весел и приветлив. Он рассказывал об интересных материалах эпохи первой английской революции и движении «левеллеров», которые изучал в архивах. Софья Васильевна слушала с нетерпеливым желанием поскорее самой проникнуть в увлекательный мир древних документов. Она попыталась было посвятить приятеля в существо своего математического открытия, но Ковалевский добродушно развел руками:

— Я ничего не понимаю в вашей науке и думаю, что даже ваше пылкое красноречие окажется бессильным перед моей бесталанностью во всем, что касается цифр! Забудьте о них, дайте отдых вашему мозгу, тем более, что в Лондоне есть много приятного, чем можно занять свою голову.

Жил в Лондоне Ковалевский вместе с профессором Юрием Степановичем Гамбаровым, в ту пору передовым ученым, пытавшимся дать социологическое обоснование гражданскому праву и делавшим некоторые шаги к марксизму. Это был суховатый, малоподвижный человек, которого Максим Максимович шутил именовал «глубокомыслящим».

Ковалевский и Гамбаров заходили за Софьей Васильевной в отель. Втроем отправлялись они гулять по городу, посещали музеи, картинные галереи, ездили в окрестности Лондона, в Оксфорд и Кембридж, где у Максима Максимовича были знакомые профессора.

— Не знаю, как вы, историки, привыкшие запросто оперировать тысячелетиями, — говорила Софья Васильевна, глядя на потемневшие здания средневекового Оксфорда с его тихими каналами, осененными вековыми деревьями, — но я, подобно одетому только в пояс из пальмовых листьев полинезийцу, исполняюсь трепета и смирения перед древностью английской цивилизации. Подумать: Тацит писал о Лондоне как о городе с историей! Лишь зная это, можно по достоинству оценить анекдот, который рассказывал Тимирязев. Вам не случалось его слышать от Климентия Аркадьевича? Американец спросил лондонского садовника, как получить

газон, подобный английским. На это садовник ответил, что если траву поливать три-четыре раза в день и аккуратно подстригать, то лет через триста-четыре гazon станет точно таким! Все отлито здесь в формы солидные, долговечные — от полицейского на Риджент-стрит, которого, мне кажется, я видала еще в свой первый приезд на том же самом месте, до сложенного из камней камина в доме фермера. Даже морщины на лицах стариков имеют установившийся «английский» характер. Одна из моих любимых литератур — английская. Она с замечательным достоинством показывает как глубокую человечность своего народа, так и его положительный ум и очень светлый юмор...

Прогулки и ничегонеделанье скоро надоели Ковалевской. Она хотела быть полезной Максиму Максимовичу, не могла чувствовать себя невежественной в вопросах его научной специальности и занялась изучением архивных документов. С увлечением знакомилась она с событиями первой английской революции XVII века, которую изучал Максим Максимович. Ее внимание привлекли индипенденты («независимые») и особенно левое крыло этой партии — левеллеры с их вождем Джоном Лильберном. Левеллеры выработали свою программу — «Народное соглашение», в которой — два столетия назад! — требовали широкой демократии, религиозной свободы, защиты крестьянских интересов. Об этом моменте жизни английского простого народа Ковалевской захотелось написать исторический роман. Но, как всегда, немного отдохнув, она опять вернулась к математике: стала отказываться от прогулок и общества Максима Максимовича, а затем и вовсе уехала из Англии, так как под рукой не было нужных книг.

Максим Максимович не удерживал ее, он понимал, что никогда она не смогла бы бросить науку для литературы, которая служила ей приятным отдыхом после крайнего умственного напряжения. Да и сама она говорила об этом писательнице А. С. Шабельской, удивлявшейся, как Ковалевская может совмещать столь разные виды деятельности:

— Многие, которым никогда не представлялось случая узнать более математику, смешивают ее с арифметикой и считают ее наукой сухой и aride (бесплодной). В сущности же, это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время поэтом. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен сочинять несуществующее, что фантазия и вымысел — это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.

О себе, о своем тяготении к литературе она заявляла:

— Что до меня касается, то я всю мою жизнь не могла решить, к чему у меня больше склонности: к математике или литературе. Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам и, наоборот, в другой раз вдруг все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, — задумчиво произнесла она, — что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно. Но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться окончательно...

23 июля Софья Васильевна уже была в Вернигероде на Гарце, где Вейерштрасс с сестрами и усыновленным маленьким Францем жил в одном из отелей.

— Он не очень роскошный, — сказал Вейерштрасс Ковалевской, — но достаточно хороший, в особенности для такой нетребовательной дамы, как ты... Прекрасно, что ты отослала работу. Да и Эрмит дал тебе дельный совет — посидеть над литературной стороной сочинения до октября. Работа очень ценна, но изложение действительно неряшливое, ниже всякой критики...

— Я это знала, но от усталости ничего больше не могла сделать, — мрачно ответила Софья Васильевна.

Вернигероде так уютно расположился у подножия гор, вокруг все так соблазнительно цвело, что невозможно было удержаться от долгих прогулок. А по-новому изложить исследование — значило опять засесть недели на две-три за письменный стол.

— Дорогая, — улыбнулся старый учитель, — это еще не самая большая из жертв, которых требует наша наука!

К досаде Ковалевской, возле Вейерштрасса как раз в это время собралось много молодых математиков: Гурвиц, Шварц, Кантор, Хеттнер, итальянец Вольтерра, приехал и давний почитатель Поль Дюбуа Реймон. Они вели оживленные беседы, горячие споры, а Софья Васильевна должна была уединиться в своей комнате и писать, писать, пока не темнело в глазах.

В таком напряжении она провела полтора месяца, почти до конца переделала мемуар и натолкнулась на новые интересные результаты, которыми поспешила немедленно заняться. Позднее она получила за это дополнительное исследование премию Шведской академии.

6 декабря 1888 года Парижская академия известила Ковалевскую о том, что ей присуждена премия Бордена, и просила прибыть в понедельник,

12 декабря, ровно в час дня, на публичное заседание, на котором будут оглашены результаты конкурса. А Миттаг-Леффлеру сообщили по телеграфу, что «хвалебную речь президента Жансена, отмечавшую высокую оригинальность работы Ковалевской, все ученые встретили горячими аплодисментами». Но даже такое событие не вывело Софью Васильевну из подавленного состояния. Она была настолько истощена чрезвычайным напряжением сил, что не могла даже радоваться. Как всегда, ее воображение рисовало совсем иные картины. Глядя на провожавшего ее Миттаг-Леффлера, она повторила его вопрос:

— Счастлива ли я? Не знаю. Человек, видимо, получает не самое счастье, а лишь его бледное отражение.

— Мужайтесь, мой друг, — нежно, как больному ребенку, сказал швед. — Все-таки жить стоит именно так, чтобы предъявлять к ней самые высокие, может быть, даже непомерные, как у вас, требования. И, знаете, когда-нибудь она все же даст нам желаемое, ибо она в конце концов и прекрасна и добра!

— Мне будет недоставать вас, Геста. Я так много обязана вашему товарищескому участию, — поблагодарила Ковалевская, прощаясь.

Как хорошо он знал ее — противоречивую, подчас непонятную самой себе! И потому так легко и просто было работать и общаться с ним.

В Париж она прибыла утром и, едва успев переодеться с дороги, должна была тотчас отправиться в академию. Ее сопровождал Максим Максимович, который приехал на торжество оглашения результатов конкурса. Когда Софья Васильевна вошла в ярко освещенный, битком набитый гостями зал, ее встретили шумным гулом приветствий, аплодисментов.

Президент академии, астроном и физик Жансен, галантно предложив руку, проводил Софью Васильевну на предназначенное ей место и открыл заседание:

— Господа, между венками, которые даем мы сегодня, один из прекраснейших и труднейших для достижения будет возложен на чело женщины, — сказал он. — Госпожа Ковалевская получила в этом году большую премию по математическим наукам.

Наши сочлены по отделению геометрии, рассмотрев ее мемуар, присланный на конкурс в числе пятнадцати работ других ученых, признали в труде этом не только свидетельство глубокого, широкого значения, но и признаки ума великой изобретательности.

Жансен поздравил Ковалевскую и сообщил, что ввиду серьезности исследования премия на этом конкурсе увеличена с трех до пяти тысяч

франков.

Ученые не поскупились на рукоплескания. Софья Васильевна, несколько ошеломленная успехом, с трудом овладела собой и произнесла приличествующие случаю слова благодарности.

Более лучезарной славы никто не мог бы себе пожелать. Первая женщина-профессор, Софья Ковалевская, казалось, обладала всем, что нужно для счастья: ее ум и талант были признаны высшим судилищем мировой науки, с нею был человек, которого она считала достойным любви и хотела бы любить. Она получила все, к чему стремилась. Но получила не тогда и не так, как представляла. Максим Ковалевский появился в самый разгар работы на премию, которая была для нее делом жизни. Она истощала себя бессонными ночами, чрезмерными усилиями и видела, что Ковалевский теряет к ней интерес именно в эти минуты, когда она со страстью работала. Человек большого интеллекта и широких взглядов, он не сумел преодолеть в себе «ветхого Адама» в отношении к женщине. С прямотой, какой требовала от всех прямая Ковалевская, он говорил ей, что свою жену предпочел бы видеть занятой более женственными обязанностями: хозяйки салона, литературными делами и т. д.

Человек долга, она не могла изменить своему предназначению.

В Париже, где она была героиней дня, где в ее честь давались многочисленные празднества, обеды, ужины и произносились восторженные тосты, где с утра до ночи она принимала и отдавала визиты, для Ковалевского у нее не оказалось свободной минуты. Он находился с ней рядом, но был более далеким и чужим, чем любой из поздравлявших французов. Софья Васильевна не мирилась с мыслью, что женское счастье она могла бы приобрести, лишь отказавшись, как ставил условием Максим Ковалевский, от научной деятельности, от своего с таким трудом завоеванного положения женщины-профессора. И расстаться с мечтой о любви тоже казалось нелегким.

После торжеств Ковалевский уехал в Ниццу. А Софья Васильевна, возвращаясь с какого-нибудь вечера, устроенного в ее честь, ходила по комнате всю ночь напролет. Ослабленная работой, она не имела сил справиться с собой.

В одну из таких бессонных ночей Ковалевская написала Миттаг-Леффлеру: «Как я благодарна вам за вашу дружбу! Да, право, я начинаю думать, что это единственно хорошее, что было послано мне в жизни, и как мне совестно, что я до сих пор так мало сделала, чтобы доказать вам, как глубоко я ценю ее. Но не вините меня за это, дорогой Геста: я, право, совершенно не владею собой в настоящую минуту. Со всех сторон мне

присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, еще никогда не чувствовала себя такой несчастной, как теперь. Несчастлива, как собака! Впрочем, я думаю, что собаки, к своему счастью, не могут быть никогда так несчастны, как люди, и, в особенности, как женщины.

Но я надеюсь со временем сделаться благоразумнее. По крайней мере употреблю все усилия, чтобы приняться вновь за работу и заинтересоваться практическими вещами, и тогда я, конечно, отдамся всецело под ваше руководство и буду делать все, что вы захотите.

В настоящую минуту единственное, что я могу сделать, это сохранить про себя свое горе, скрыть его в глубине своей души, стараться вести себя возможно осмотрительнее в обществе и не давать поводов для разговоров о себе... Сохраните мне вашу дружбу: я в ней сильно нуждаюсь, уверяю вас».

Мысль о возвращении в Стокгольм с его монотонной жизнью страшила. Ковалевская понимала, что при таком состоянии нервов угнетающее однообразие существования в добропорядочной Швеции могло привести к тяжелой болезни. Если не Россия, где не на что рассчитывать, то пусть будет Париж с его возбуждающей умственной деятельностью.

Но ни Эрмит, ни Бертран ничего обнадеживающего не сказали. Они не были уверены, что удастся подыскать для нее достойное место в Париже. Главное препятствие Бертран видел в том, что Ковалевская не француженка. Тогда Софья Васильевна, чтобы крепче связать себя с Францией, решила получить и здесь докторскую степень и попытаться найти место преподавателя в женской школе.

Вейерштрасс решительно восстал против ее планов — покинуть кафедру профессора и стать рядовой учительницей математики.

«Я узнал от Миттаг-Леффлера, — писал он, — что ты в настоящее время наметила себе другой план, а именно, ты хочешь еще раз защитить докторскую диссертацию в Париже, с тем чтобы таким образом открыть себе доступ на французский факультет... Но я уверен, что если ты представишь свою работу для защиты, то найдется какой-нибудь забытый параграф, согласно которому женщины не допускаются к защите».

Оставалось одно: просить отпуска на весь весенний семестр, полечиться, собраться с мыслями и в более спокойном настроении принять какое-то решение. Миттаг-Леффлер согласился с доводами Софьи Васильевны, хотя этот отпуск был очень некстати: срок ее профессорства кончился в июле, на новое же пятилетие она могла быть утверждена только по конкурсу. Врагов и завистников из-за премии прибавилось. Не исключено, что ее и не изберут как чужестранку! Правда, Миттаг-Леффлер

послал работы Ковалевской на отзыв самым авторитетным прославленным ученым: физику-немцу Герману Гельмгольцу, англичанину-физику сэру Уильяму Томсону (лорд Кельвин) и итальянцу-геометру Евгению Бельтрами, чтобы, прочитав полученные от них блестящие отзывы, клеветники не могли повторять басню о «пристрастии» к Ковалевской. Да и король Оскар с восхищением говорил о победе русской женщины-профессора, принесшей славу Стокгольмскому университету, интересовался, когда Ковалевская вернется «домой» — в Стокгольм.

Миттаг-Леффлеру было обидно, что не состоится задуманная в университете торжественная встреча увенчанного лаврами товарища. Из-за этого Стокгольм не послал Ковалевской поздравлений! Швед советовал Софье Васильевне поскорее обратиться к знаменитому Шарко или к доктору Вуазену, которые сделают все возможное, чтобы вылечить ее.

Но во второй половине января, когда кончилась утомительная полоса званных вечеров, непременных визитов, когда Миттаг-Леффлер пообещал добиться для нее отпуска на весенний семестр и необходимость вернуться в Швецию не висела с неотвратимостью дамоклова меча, Софья Васильевна почувствовала себя лучше. Она даже отнеслась с юмором к тому, что ни одна газета не поместила ее имени, когда министр народного просвещения Франции назначил русскую ученую офицером народного просвещения — высшая степень отличия в этом ведомстве; между тем как имена награжденных мужчин были напечатаны.

Ее мозг был снова в рабочем состоянии. Она начала думать о дальнейшем исследовании задачи о вращении, просила Миттаг-Леффлера забыть все глупости, которыми наполняла прежние письма: «Я немного отдохнула, и жизнь снова представляется в более светлых тонах, а голова полна проектов».

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК

В первых числах февраля 1889 года Софья Васильевна спешно покинула Париж, даже не простившись с друзьями: Ковалевский попросил свою приятельницу пожить на юге Франции, где ей никогда не случалось бывать.

Ницца после дождливого Парижа показалась райским уголком на неприютной планете. В лучах весеннего солнца сверкало синее Средиземное море, сверкало синее безоблачное небо, переливались нежными красками розы, одуряюще пахло цветами, лимонами и апельсинами. Пальмы, которые Ковалевская видела только в кадках в ресторанах, здесь росли на улицах, высоко поднимая свои сквозные веера, будто вырезанные из темно-зеленой плотной бумаги. Ковалевский встретил гостью на вокзале и отвез ее в отель.

— Начинается масленица, — сказал Максим Максимович, — а с нею знаменитые карнавалы. Забудьте о математике, о сухих отвлеченных формулах — отдыхайте. Я не знаю на земле лучшего места для спокойной созерцательной жизни и превосходных прогулок.

Они вышли на балкон, и Софья Васильевна всплеснула руками. Перед ней простирались, мягко вздымаясь, как океанские волны, заросшие садами холмы со светлыми зданиями вилл и отелей, тянулись плантации цветов, оливковые, апельсиновые, лимонные рощи.

— Мы непременно пойдем и в эти долины и в горы. Как давно я не ходила по траве! — говорила Ковалевская, не отрывая взгляда от зелени.

Никогда еще она так не веселилась, так беспечно не отдавалась радостям бездумного существования. В дни карнавала Ковалевский приезжал в Ниццу с гостившими в Болье, где находилась его вилла «Батава», русскими приятелями — профессорами Чупровым и Иванюковым, — в домино и полумасках, с мешками, наполненными конфетти, с совочками для них и с корзинами цветов. Они усаживались на балконе отеля и любовались карнавальным шествием.

Улицы заполнялись толпами пестро одетых людей, прикрывших сетками лица, хохочущих, поющих, танцующих под звуки музыки, осыпающих друг друга конфетти, — пылящими известковыми горошинами, или — в день битвы цветов — тугими букетиками.

В дни битвы цветов Ковалевский возил своих друзей в экипаже по набережной. Двигаясь навстречу один другому, экипажи катились двумя

бесконечными потоками. От аромата цветов, которые украшали лошадей, сбрую, колеса и дверцы колясок и сыпались непрерывающимся пьянящим дождем, кружилась голова, как от вина. Веселый азарт, с каким вели цветочную баталию оживленные мужчины и женщины, заражал, и Софья Васильевна с озорством парижского гамэна целилась в самых красивых декольтированных дам, в лоснящиеся цилиндры их кавалеров, забавляя своих спутников детской непосредственностью.

В последний день масленицы, когда на большой площади сжигали начиненную несколькими тысячами ракет фигуру «карнавала» и устраивали пышный фейерверк, Софья Васильевна, как продавщица из какого-нибудь парижского магазина, отплясывала полку на мостовой.

— Наверное, сейчас дух цыганки, которая была в числе моих предков, побеждает влияние немецкой благовоспитанной крови, дарованной мне матерью, — шутила Ковалевская. — Много раз в жизни я собиралась совершить какое-нибудь безумство, но это не удавалось мне никогда! Я так страшно, так неисправимо рассудительна! В минуты, когда я именно хотела совершить безумную выходку, я сама замечала, что собиралась только сыграть роль сумасброда и ничего больше.

После карнавала Максим Ковалевский пригласил Софью Васильевну в Болье, где жила целая колония русских, заполняя местный отель. В этом отеле поселилась и Софья Васильевна.

Вилла Ковалевского «Батава» приютилась на гребне узкой, вдающейся в море косы, утопая в зелени лимонных и апельсиновых деревьев, пышных цветов. В темные южные ночи земля и небо сливались, невозможно было отличить свет звезд от света фонарей. Софье Васильевне порой казалось, что она заключена в огромный стеклянный шар, повисший в космических просторах.

Она была счастлива, слыша постоянно русскую речь. Минутах в двадцати от Болье, в Виллафранш, находилась устроенная киевским профессором Коротневым зоологическая станция, где всегда работало несколько ученых. Сюда приезжал Александр Онуфриевич Ковалевский, а в Ниццу — русские литераторы, художники, профессора. Все они считали приятным долгом нанести визит Максиму Максимовичу, и Ковалевская часто встречалась с соотечественниками.

По утрам Софья Васильевна с неизъяснимой радостью выходила в сад, окружавший отель, сорвать к чаю лимон с дерева; днем бродила по холмам, не переставая удивляться чистейшей синеве неба и моря. Вечерами у Ковалевского собиралась вся «русская колония» для задушевных бесед.

Как-то в один из таких вечеров Софья Васильевна рассказала

несколько эпизодов из своего детства. Она так живо описала барский быт начала шестидесятых годов, что слушатели единодушно стали просить ее непременно записать эти воспоминания и издать их.

— Вряд ли кто другой сумеет с такими выразительными деталями воскресить последние годы «дворянских гнезд», как это сделали вы! — высказал одобрение и Максим Ковалевский, который прежде, когда заходила речь о том, не заняться ли ученой женщине литературной деятельностью, позволившей бы жить в России, откровенно выражал сомнение в ее писательских способностях.

— Вы обладаете слишком трезвым умом, слишком синтетическим направлением мысли, — говорил он. — У вас вообще нет тех свойств, которые так счастливо выступают у Тургенева, Толстого, Чехова: способности совершенно отрешиться от самого себя, войти в плоть и кровь изображаемого лица, полюбить его, смотреть на мир его глазами и говорить его языком. В ваших произведениях каждый герой — это вы сами с вашим строем мыслей, с вашей манерой говорить... Так мне кажется...

Такое мнение сложилось у него, когда он наблюдал, как работает Софья Васильевна. Очень часто в каникулярное время она неделями занималась математикой, отказываясь от прогулок, театра и музыки, ничего так не желая, как одиночества. И лишь когда наступало утомление, она стремилась к легкому чтению, развлечениям и литературным попыткам.

Находясь в Болье, Софья Васильевна хотя и чувствовала, что она исцеляется от изнеможения, к которому привела работа над задачей о вращении, но новые исследования, становясь все яснее, были еще ей не по силам. Она с готовностью ухватилась за предложение русских друзей и немедленно засела за работу.

За три недели Ковалевская сумела описать события своего детства, жизнь в Палибине, искания сестры, встречу с Достоевским, эпизод из польского восстания. Каждую главу она прочитывала своим товарищам, слушала их советы, замечания и вносила поправки.

Отдых, о каком она прежде могла только мечтать, к сожалению, кончился. Ковалевского вызвали в Россию неотложные дела, связанные с продажей его имения на Украине. Софье Васильевне не хотелось оставаться в Болье одной. Она окрепла в благодатном климате Средиземноморского побережья, и ее снова властно позвала к себе математика.

В Париж Ковалевская вернулась «окончательно благоразумной». Ее не мучили больше раздумья об отношениях с Максимом. Если ей в пору усталости и казалось, что она испытывает к блестящему человеку нечто

более нежное, чем дружбу, теперь, при ясном сознании, она способна была видеть истинный характер их отношений.

Их тянуло друг к другу, как людей, равных по силе интеллекта, одиноких изгнанников, тоскующих по родному языку, по родине. Его изумляла необыкновенная одаренность Софьи Васильевны, ясный ум, доброта. Он преклонялся перед незаурядным человеком. Но он хотел иметь своей женой женщину, а не ученого. А Ковалевская в требованиях к любви опередила свой век, пожелала получить то, чего не мог дать ей мужчина того времени, еще не научившийся смотреть на женщину как на равного ему товарища.

В апреле, поздравляя Анну-Шарлотту, которая обручилась с итальянским математиком Дель Пеццо, Ковалевская написала, напоминая о совместной работе над пьесой «Борьба за счастье»: «Нам уж на роду было, по-видимому, написано, что из нас двоих ты будешь счастьем, а я, по всей вероятности, останусь навсегда борьбой...

Я чувствую всем моим существом, что как бы сильно я ни боролась, как бы сильно ни желала, я не могу переменить ни одной йоты в своей судьбе».

Немного позднее, на парижской выставке 1889 года, где Софья Васильевна присутствовала как корреспондент шведского журнала, издававшегося Монтаном, у нее произошла встреча с кузеном Мишелем, которого она не видела с юности.

Крупный землевладелец, кузен жил в деревне счастливой семейной жизнью с любимой женой и детьми. Узнав о триумфе Ковалевской, он почувствовал сожаление о своих несбывшихся мечтах: она достигла всего, чего хотела; он не стал ни художником, ни «вождем масс», замкнувшись в своем маленьком мирке.

В отрывке неоконченной повести «На выставке» Софья Васильевна описала эту встречу и высказала мысль, которая руководила и ею, когда надо было решить — или брак с не разделяющим ее взглядов на общественный долг Ковалевским, или наука без него:

— Если у человека была хоть минута в жизни, когда он серьезно мечтал о деятельности, выдающейся роли, если он когда-нибудь ощутил наслаждение творчества на каком бы то ни было поприще, трудно ему потом примириться с ролью безличного зрителя.

Сомнительному счастью с Ковалевским она предпочла творческий труд. Что ж, «никогда пророкам не дано было узреть земли обетованной». Счастье, о каком она страстно мечтала, найдут женщины грядущих поколений. Она и для жизни их сердца сделала асе, что могла, оплатив

опыт непомерно дорого. Нет ничего, что не начиналось бы с мечты. «Тот, кто мечтает, предтеча того, кто достигает». Прежде чем создать прекрасное изваяние, приходится обтесывать грубую глыбу камня. Разве можно избежать кровавых ран?! Пусть будет так...

ПЕРО ПУБЛИЦИСТА

Софья Васильевна поселилась близ Парижа, в Севре, на одной даче с семьей русского эмигранта, старого товарища Владимира Онуфриевича — врача-психиатра Павла Ивановича Якоби, которого Ковалевский спас во время польского восстания. Она поручила Миттаг-Леффлеру привезти к ней дочь.

Ковалевская решила продолжить дополнительное исследование о вращении твердых тел для конкурса на премию Шведской академии наук, попутно писала новые главы «Воспоминаний детства», закончила введение к «*Vae victis!*» («Горе побежденным!»), думала о повести «Привидения», набросала начало «Романа, происходящего на Ривьере», в котором хотела описать себя и Ковалевского. «Я теперь так поглощена моими трудами, — сообщала она Миттаг-Леффлеру, — что пренебрегаю всем остальным; визиты буду делать после пасхи».

В этот приезд во Францию Софья Васильевна часто встречалась со своим зятем Виктором Жакларом. Каждое воскресенье она заходила к нему за племянником Юрием, с которым ездила на могилу Анны Васильевны. Как-то в связи с рассказами об успехе лечения гипнозом, которое применяли знаменитый медик Шарко и член медицинской академии Люис, Софья Васильевна вспомнила совет Миттаг-Леффлера обратиться к французскому светилу. Она попросила Жаклара, работавшего в газете «*La justice*», помочь ей проникнуть на сеансы гипнотизеров, чтобы можно было составить представление об этом методе лечения.

Через несколько дней Жаклар повез Софью Васильевну в больницу бедняков «Шарите». Один из врачей проводил почетных посетителей в палату для нервнобольных. Через всю палату тянулись в два ряда довольно опрятные койки. Возле пациентов, в большинстве молодых женщин с очень бледными лицами, уже собрались студенты, готовившиеся к экзамену. Вскоре показался и сам доктор Люис — огромного роста здоровяк с эластичной, как у большого, откормленного кота, походкой, в широкой полотняной блузе, перетянутой передником, с ермолкой на седеющих кудрях. Чем-то напоминал он Софье Васильевне не то повара, не то ярмарочного колдуна-итальянца. Она подала ему свою визитную карточку, и Люис любезно произнес:

— Нам очень приятно, когда знатные иностранцы посещают нас с целью убедиться, что мы не шарлатаны! Что же касается печати, —

обратился он к Жаклару, — о, печать — это сила! Ну, Эстер, нам придется сегодня поработать, дитя мое! — крикнул он одной из пациенток, очень хорошенькой девушке с подвижным, как у обезьянки, лицом. — Это мой лучший «сюжет», — шепнул он Ковалевской.

Эстер очень долго отнекивалась, несмотря на уговоры, пока Люис не заявил ей:

— Видишь ли ты эту даму, Эстер? Это очень ученый профессор Стокгольмского университета. Если ты хорошо поработаешь, она будет говорить о тебе на своих лекциях. Как? Ты не знаешь, что такое Стокгольм? Да ведь это очень большой город далеко отсюда. Ты можешь гордиться, если о тебе заговорят в Стокгольме.

Нелепая приманка подействовала, и сеанс состоялся в приемной Люиса, увешанной фотографиями загипнотизированных мужчин и женщин, загроможденной столами с колокольчиками, шариками, экранами, странного вида приборами.

До сеанса с Эстер доктор Люис занялся двумя другими «сюжетами». Один из них был юноша, типичный парижский бродяга с веселыми, бесстыжими глазами.

— Он уже третий год у нас, — объяснял Люис. — Как будто здоров, но как только его выпишут из больницы, с ним начинаются припадки эпилепсии, и дня через два полицейские приводят его к нам. Работать он не хочет. Я решил воспитывать его гипнотическими внушениями. Это требует времени, а глупое начальство мешает. Очень трудно делать добро во Франции, сударыня!

«Сюжет» стоял якобы в гипнотическом сие, неподвижный, как каменный идол. Но Софье Васильевне сдавалось, что это бродяга, плут, который решил не покидать больницу с ее даровым коштом.

«Превосходный актер!» — заключила Ковалевская про себя.

Пока длился сеанс, Эстер с гримасой недовольства ревниво следила за юношей, видно, ею овладела такая же зависть, «какую должна испытывать примадонна, когда первому тенору начинают аплодировать уже с первого акта, прежде чем она выступила на сцену».

Да и последующее ее поведение во время гипноза все более склоняло русскую ученую к выводу, что Эстер и юноша артистически дурачат доверчивого Люиса.

— Довольны ли вы тем, что видели? — спросил Люис гостью.

— Мне кажется, — решила намекнуть Софья Васильевна, — что эти опыты следовало бы производить под более строгим контролем, то есть обставить их так, чтобы пациентка не могла знать, что ей преподносят...

— Да как же ей знать, если она спит! — нетерпеливо воскликнул Люис, и Ковалевской ничего иного не оставалось делать, как поблагодарить.

— Приходите завтра, я представлю вам еще один интересный «сюжет», одну русскую даму! — пригласил Люис.

Сопровождавший гостей врач рассказал Ковалевской и Жаклару историю русской пациентки. Лет пятнадцать назад она приехала с небольшими деньгами в Париж учиться медицине. Училась бестолково, влюбилась в француза, чистейшего завсегдатая бульваров. Пожили они вместе, пока не спустили ее состояние, а затем муж ушел. Но она привязалась к ненавидевшему ее человеку, с ожесточением и упорством преследовала его, сделалась притчей во языцех в Латинском квартале. С нервным заболеванием она попала в другую больницу для бедных — «Сальпетриер». Знаменитый Шарко нашел ее болезнь интересной и стал проводить над ней гипнотические эксперименты. Гипнотизм входил в моду, пациентка оказалась восприимчивой.

Тогда муж вздумал извлечь из этой ее способности пользу, превратившись в антрепренера жены-«сюжета» и устраивая частные гипнотические сеансы, за которые ему платили до пятисот франков в вечер.

Но Софье Васильевне не хотелось видеть соотечественницу в такой унижительной роли, и она предпочла пойти в эту больницу лишь на клиническую лекцию Шарко.

В женской больнице «Сальпетриер» число пациентов доходило до пяти-шести тысяч человек: больных раком и другими болезнями, а больше всего нервных и умалишенных.

Шарко в этом скорбном царстве был властелином. Вид его, важный, генеральский, действительно внушал почтение, доходившее до раболепия.

Скупой на слова, резкий, он нисколько не напоминал добродушного Люиса. Для лекций он сам выбирал больных — «иллюстрацию», выбирал крайне бесцеремонно, словно они только «медицинские препараты», лишенные способности чувствовать, и тут же, при них, определял болезнь и выносил смертные приговоры.

— Разумеется, если эти больные бесплатные, они должны таким образом расплачиваться за советы светила, — с отвращением сказала Ковалевская Жаклару и не могла заставить себя отнестись благожелательно к парижской знаменитости.

— Где кончается научная правда, где начинается надувательство во имя придуманных «коньков» врача? — как будто уловив ход мысли Ковалевской, сказал сопровождавший гостей врач. — Гипнотизм, —

несомненно, великое открытие, но, поверите ли, бывают минуты, когда самое слово «гипнотизм» выводит меня из себя.

Софья Васильевна порадовалась, что отдохнула, окрепла и нет надобности отдавать себя в руки эскулапов. Но виденное и слышанное в больницах не давало ей покоя. В ней заговорила журналистка, и Ковалевская, не удержавшись, написала два живых, остроумных, едко критических очерка о посещении парижских больниц, послала их в «Русские ведомости», где они и были напечатаны под псевдонимом Софья Нирон.

Вскоре ей снова пришлось проявить свой публицистический талант, но по другому — трагическому для русских демократически настроенных людей — поводу.

28 апреля 1889 года умер М. Е. Салтыков-Щедрин.

Шестидесятник-эмигрант Е. В. де-Роберти и П. Л. Лавров попросили пользовавшуюся большой популярностью в русской колонии Софью Васильевну взять на себя инициативу подписки на венок Салтыкову-Щедрину и посылки сочувственной телеграммы его вдове от различных русских кружков в Париже.

Софья Васильевна с готовностью взялась за это. Но оказалось, что многие из соотечественников, находившихся во Франции, выразили опасение, как бы в подобном акте изъявления скорби по поводу смерти великого писателя царское правительство не усмотрело «потрясения основ». К телеграмме Ковалевская не смогла собрать и десяти подписей и, разгневанная, написала Максиму Максимовичу:

«...Какую массу пошлости я насмотрелась в эти два дня, вы представить себе не можете! В результате — почти полная неудача, усталость, невероятная досада на самое себя, зачем я связалась с этими пошляками, и почти физическое ощущение, что я эти два дня провозилась с чем-то очень неопытным...»

С именем великого писателя-борца для нее связывались самые светлые, самые незабываемые воспоминания о революционном подъеме в России. Произведения Салтыкова-Щедрина звучали как страстный голос неподкупной совести в черные годы реакции. Софья Васильевна хотела рассказать о нем французам так, чтобы они поняли, кого потеряло человечество со смертью русского писателя.

«Еще одно блистательное имя вычеркнуто из списка имен той плеяды великих писателей, которые родились в России в первую четверть нашего века и которые стали известны и любимы за границей почти столь же, как и в своей стране», — так начала Софья Васильевна очерк о благороднейшем

представителе поколения революционных демократов, чью правдивую, протестующую речь могла заставить умолкнуть одна только смерть.

«Талант Щедрина, — писала Ковалевская, — с большой силой проявил себя в разных литературных жанрах, но главное призвание писателя была сатира, жанр, более других связанный с родной почвой: слезы повсюду одинаковы, но смеется каждый народ по-своему. Вот почему сатирика с трудом понимают в другой стране. А главное, что мешает иностранцу оценить силу дарования Щедрина — это «Эзопов язык», к которому он вынужден был прибегать, чтобы голос его мог прорваться через барьеры запретов и достичь слуха читателя. И как поразительно умели читать между строк в России люди, подготовленные к этому прессом царской нетерпимости к свободной мысли. Нечто вроде незримого единения и таинственного понимания установилось между публикой и любимым автором!»

Да и сам Салтыков-Щедрин не скрывал того, что он приучил себя писать как можно больше слов, чтобы из множества их хоть что-нибудь осталось, дошло до сознания. «Моя манера писать, — говорил он, — есть манера — рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов доведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ни при чем».

С. В. Ковалевская подробно разобрала произведения Салтыкова-Щедрина, трогавшие ее сильнее всего по созвучию с ее мыслями. Взяв рассказ «Больное место», она раскрывала гнусность той государственной системы, которая слабого, по-своему даже не злого человека, способного к любви и нежности, превращала в негодяя. Писатель-сатирик показал мрачную драму, разоблачавшую полицейский режим, не употребив ни разу слова «сыщик». Но русский читатель, даже малообразованный, не мог ошибиться.

Ковалевская говорила, что была бы счастлива, найдись во Франции литератор, который бы понял Щедрина так, как понимаем его мы, русские, и истолковал его своим соотечественникам. Тем более что Щедрин выражал самую пылкую симпатию к стране Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана, Жорж Санд. «Оттуда, — писал он в статье «За рубежом», — лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все

желанное, любвеобильное — все шло оттуда».

Особо выделяла Ковалевская тот факт, что именно Салтыков-Щедрин, в отличие от других писателей, изображавших несчастную судьбу крепостных крестьян, первым указал на губительное, растлевающее влияние, которое оказывало крепостное право и на самих господ.

Она охарактеризовала «Историю одного города» — «на самом деле беспорядочно шумную историю Российской империи» — как одно из значительных произведений Щедрина, которое не утратит интереса и для будущих поколений.

Глубокого предвидения были исполнены заключительные слова ее очерка, спешно написанного, хранившего теплоту сердечной взволнованности: «Его имя останется в истории не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли... Кто живет для своего времени, тот живет для всех времен».

И еще одно событие до боли разбредило у Ковалевской неутихающую тоску по родине. 14 июля, в столетнюю годовщину взятия Бастилии, в Париже открылся Международный рабочий конгресс, на котором, по выражению Фридриха Энгельса, была представлена «вся Европа». Софью Васильевну пригласили на конгресс как представительницу русских женщин — выдающуюся поборницу женского движения. Она присутствовала на исторически важных заседаниях, на которых был дан идейно подготовленный Энгельсом бой оппортунизму в рабочем движении.

Открывая конгресс, друг Виктора Жаклара Поль Лафарг отметил социалистический характер этого съезда марксистов всех европейских стран и Америки. А от имени русских социал-демократов выступил Г. В. Плеханов, провозгласив, что «революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может».

То, что сказал конгресс по одному из основных вопросов — рабочему законодательству, — мало походило на смутные предчувствия Ковалевской, которые она пыталась выразить в пьесе «Борьба за счастье».

Конгресс заявил, что освобождение труда и человечества может исходить лишь от классового и интернационально организованного пролетариата, который завоевал для себя политическую власть с целью добиться экспроприации капитализма и осуществить захват обществом средств производства.

Как далеко ушел в своем самосознании подлинный рабочий от тех тружеников, каких изобразили писательницы в своей громоздкой драме! Но

Софья Васильевна была довольна, что смогла в бушующем океане борьбы угадать выходящую на первый план главную революционную силу — рабочий класс, который называла «четвертым сословием».

Да, он поднимается, великий «девятый вал». Отодвигаются в глубь времен светлые тени первых народников, с жертвенной экзальтацией выступавших против несправедливости. Здесь, на конгрессе, и женщины не отважные одиночки. С какой уверенностью говорит эта маленькая немка, Клара Цеткин, от имени рабочих о роли и значении женщин в революционном движении пролетариата. Как убеждены в своем праве требовать все эти женщины-ораторы, впервые поднявшиеся на международную трибуну на равных началах с мужчинами как делегаты своего класса! Очевидно, наступает новая эра в социальной борьбе, а она, Ковалевская, с такими потерями отвоевывавшая каждый шаг вперед, сидит как гостья, как почетная представительница — и только...

ОБРАЗЫ РОДИНЫ

К началу осеннего семестра в университете Софья Васильевна вернулась в Стокгольм в тяжелом душевном состоянии. Работала она с какой-то отчаянной решимостью, заканчивая свое дополнительное исследование о движении твердого тела. Ей надо было успеть представить его на конкурс. За эту работу Ковалевской была присуждена Шведской академией наук премия короля Оскара II в тысячу пятьсот крон.

Успех не радовал ее. Не успев по-настоящему отдохнуть, полечиться, она опять надорвала здоровье.

В таком состоянии Софья Васильевна не могла заниматься математикой и обратилась к литературе. Она отдала «Воспоминания детства» перевести на шведский язык, прочитала их в литературном кружке «Нья Идун»^[16], и встретила единодушное одобрение. Но стокгольмские друзья не советовали издавать воспоминания от первого лица: «Здесь общество найдет неприличным, что молодая женщина столь откровенно рассказывает об интимной жизни своих родителей». О, этот самодовольный, непогрешимый господин директор Пальме! Это всемогущее «общественное мнение»... Софья Васильевна вынуждена была последовать совету друзей и издать воспоминания как повесть «Сестры Раевские».

Книга принесла Ковалевской славу писательницы. Героиня повести Таня Раевская стала любимым литературным образом шведских читателей. Повесть была перепечатана почти во всех европейских странах и вызвала восторженный отзыв критики, как одно из лучших произведений, рисующих дворянско-помещичий быт России пятидесятых-шестидесятых годов XIX столетия. Ковалевской писали незнакомые люди — читатели, благодарили за повесть и просили продолжить воспоминания.

Но ей хотелось, чтобы «Воспоминания детства» прочитали русские в России. Она послала рукопись двоюродному брату Н. Г. Чернышевского академику А. Н. Пыпину для журнала «Вестник Европы». Пыпин вскоре сообщил, что воспоминания понравились издателю журнала историку М. М. Стасюлевичу и будут опубликованы.

В это же время, когда печатались в Швеции «Сестры Раевские», Софья Васильевна предприняла еще одну совместную работу с Анной-Шарлоттой. Из последней поездки в Россию она привезла найденную в квартире Анны Васильевны рукопись драмы. Пьеса Анюты произвела

впечатление произведения очень талантливого. Но весь колорит ее, все ее глубоко грустное настроение были настолько «русские», что подруги решили приспособить драму к шведскому пониманию. Софье Васильевне очень хотелось, издав хотя бы таким образом пьесу сестры, поставить «духовный памятник» той, чьи богатые дарования были загублены тяжелой жизнью преследуемой революционерки.

Ковалевская сама составила план драмы, написала весь первый акт и продиктовала остальные. Пьеса получила название «До смерти и после смерти» («Ante mortem, post mortem»). В кружке «Нья Идун» ее нашли слишком мрачной и предрекали неприменный провал. Ни один стокгольмский театр не принял драму. Пьесу Анны Васильевны Жаклар поставили только датчане в Копенгагене.

После этой неудачи Софья Васильевна еще больше ушла в себя, уединилась, стала избегать знакомых. Она думала о судьбах людей, которых знала в дни юности, о России. Единственным человеком в Стокгольме, с которым делилась Ковалевская мыслями, была Эллен Кей. Ей открывала Софья Васильевна свои литературные замыслы. Занятия литературой отвлекали от скорбных дум, давали успокоение нервам и мозгу, словно бы переносили на родину, окружали милым воздухом. За душной, давящей пеленой филистерского бытия стокгольмского «общества» она видела мысленным взором немеркнувший свет далеких лет молодой революционной России. Как факелы в ночи, пылали, озаряя дорогу свободы, юные, чистые сердца жертв царского произвола. Софья Васильевна собиралась написать большой роман «Vae victis!» («Горе побежденным!»), показав бурный весенний разлив революционной России шестидесятых-семидесятых годов, незабвенную пору великого подъема, которая навсегда осталась для нее самым светлым временем. Многие из тех замечательных самоотверженных юношей и девушек, которых она знала, погибли в тюрьмах, в ссылке, на каторге. Она хотела воздать им славу. Они олицетворяли Россию, родину.

Переделав введение к «Vae victis!», Софья Васильевна отдала его перевести с русского на шведский язык и напечатала в стокгольмском журнале «Норден». А память воскрешала все новые картины заветного прошлого, выводила из подернутого пеленой забвения героические образы юных борцов за свободу и справедливость. Припомнились нашумевшие на весь мир судебные процессы над народниками — «50», «193», проведенные вскоре после возвращения Ковалевской в Россию из Берлина. Свыше двух тысяч пропагандистов, виновных только в том, что они «ходили в народ», собрали царские прислужники в тюрьмы Петербурга. Среди арестованных

было много друзей Ковалевских, родственников Софьи Васильевны, между ними — двоюродная сестра, когда-то начинавшая в Гейдельберге заниматься математикой и покинувшая науку для революционной работы, Наташа Армфельд. Софья Васильевна собирала деньги по подписным листам для семей арестованных, хлопотала у адвокатов, приятелей — присяжных поверенных Спасовича, Ольхина. Через Достоевского и А. Кони добилась разрешения на брак Веры Гончаровой, племянницы А. С. Пушкина, с заключенным Павловским, которому угрожало тяжелое наказание. Многие девушки-революционерки вступали в брак с незнакомыми им людьми, чтобы облегчить их участь, так как женатым смягчали условия каторги.

О них, жертвах царской злобы, должна написать Ковалевская — она знала их, она видела их, измученных, но сильных духом, на процессах. Она видела и знала тех, кто судил этих «преступниц» и «преступников», похожих скорее на первых христианских мучеников, брошенных на растерзание зверям.

И она начала писать историю Веры Гончаровой, повесть «Нигилистка», изданную в Швеции под названием «Вера Воронцова». Она дала яркую картину суда, как бы в ответ на грязь и клевету, которых не жалели жандармы для революционеров. С убийственным сарказмом описывала она судей — впавших в детство сенаторов, на чьей груди орденов больше, чем волос на голове, карьеристов-прокуроров с их беспардонно-гнусным, оглушительным красноречием; зрителей — представителей высшего общества, потерявших способность чему-нибудь удивляться и проникших в зал суда из любопытства, как на пикантное зрелище. Но даже этих дам и господ потрясли ум, энтузиазм и нравственная красота подсудимых, во имя высокой идеи отказавшихся от обеспеченной жизни. Забыв о привитой воспитанием чопорной сдержанности, светские барыни неистово аплодировали «этим отвратительным нигилистам», которые вдруг предстали в ореоле святости, чистоты, героизма.

В полном оцепенении слушали они последнее слово рабочего Петра Алексеева, неожиданно для них оказавшегося человеком интеллигентным, и Софьи Бардиной — маленькой, с глубоко сидящими умными глазами и строгим ртом двадцатидвухлетней девушки. Недавняя цюрихская студентка, товарищ Натальи Армфельд по московской революционной группе, Софья Бардина бросала фразу за фразой, как камни.

— ...Собственности я никогда не отрицала, — говорила она. — Напротив, я осмеливаюсь даже думать, что я защищаю собственность, ибо

я признаю, что каждый человек имеет право на собственность, обеспеченную его личным производственным трудом, и что каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продуктов... Преследуйте нас, — с гневом и презрением закончила Софья Бардина свое выступление, — за вами пока материальная сила, господа, но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, увы, на штыки не улавливаются!

Ее приговорили к каторжным работам — через пять лет отважная девушка бежала из Сибири, работала нелегально в России, а затем перебралась в Швейцарию. Тюрьмы довели ее до неизлечимой болезни, превращавшей деятельного человека в беспомощного инвалида. Жить вне революционной борьбы Софья Бардина не смогла и покончила с собой.

Никогда не забывала Ковалевская этих людей — жертв тупого ожесточения царских приспешников. Отговаривая Марию Янковскую, за которой охотилась русская охранка, от одной ненужно рискованной нелегальной поездки в Россию, Софья Васильевна писала ей: «...Я не могу хладнокровно представить себе тебя, такую нервную, полную жизни, где-нибудь в глубине русской тюрьмы, осужденной на много лет изгнания в Сибирь, — одним словом, подверженной мучениям медленной и неизбежной смерти, ожидающей политических преступников в России. Эта смерть хуже смерти на виселице, так как она гораздо мучительнее, а надежда на бегство, в сущности, минимальная».

И, отвечая настоятельной потребности сердца, Софья Васильевна задумала возложить венки на самую дорогую среди множества могил — на могилу Н. Г. Чернышевского, написав повесть «Нигилист».

«...Теперь я заканчиваю еще одну новеллу, — сообщала она Марии Янковской, — которая, надеюсь, заинтересует тебя. Путеводной нитью ее является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы и филистеры читали ее с волнением и интересом. Я окончу ее через несколько дней, и если ты пожелаешь перевести ее на французский язык, то я пришлю тебе рукопись».

С нескрываемой преданностью показала Софья Васильевна под именем Михаила Гавриловича Чернова — Н. Г. Чернышевского — обаятельный облик, благородство, глубокий ум и большое литературное искусство вождя революционных демократов.

«...Вообще в те редкие случаи, когда Михаил Гаврилович вступал в разговор, — писала Ковалевская, — он тотчас овладевал всей беседой и подчинял себе всех слушателей. Красноречие у него было какое-то

особенное, совсем не цветистое: он никогда не искал фраз, слов, и доводы являлись сразу и становились в ряды, как хорошо дисциплинированные солдаты, причем у слушателей обыкновенно являлось приятное самообольщение, что мысль Михаила Гавриловича стала им ясна сама собой, прежде чем он успел ее развить. Несмотря на обычную сдержанность Чернова, молодежь его обожала, и личное его влияние равнялось почти влиянию его журнальных статей».

Ковалевская запомнила рассказы о Чернышевском его двоюродных брата и сестры — А. Н. Пыпина и П. Н. Фандер Флит, жены — Ольги Сократовны, сыновей — Михаила и Александра, доктора П. И. Бокова и других. По этим воспоминаниям она смогла восстановить атмосферу, царившую в «Современнике».

«...Разговор в кабинете, — рассказывала она об одном из очередных собраний в редакции, — был очень оживленный, и, как следовало ожидать, предмет беседы составлял новорожденный, в честь которого собрались сегодня: новая книжка журнала. Все присутствовавшие уже успели просмотреть ее, и все были согласны, что этот номер по составу своему был даже удачнее прежних». Ковалевская описывает содержание литературного отдела: первая глава повести Слепцова казалась, по ее словам, выхваченной прямо из современной жизни; новая поэма Некрасова так и забирала за живое. Даже переводная часть, и та была интересна: печатался новый роман Шпильгагена «От мрака к свету», способный задеть в душе русского читателя живые струны. Но не в литературном отделе, однако, была главная сила: интерес был весь сосредоточен на внутреннем обозрении.

«И вот тут-то Чернов превзошел себя. Его статья «Логика истории» — это такая прелесть, такая гениальная вещь, равной которой давно не появлялось у нас в России. Да, она расшевелит умы, заставит людей подумать и помыслить!» — восклицает автор повести. И описывает Чернышевского-литератора. С восторженным удивлением Ковалевская говорит о его способности все сказать: коснуться самых жгучих современных вопросов, высказать все, что лежит на сердце у молодежи, доказать не только законность ее надежд и ожиданий, но и неизбежность их существования; и сказать все это так, что цензура ни к чему и придраться не может. «А статья, — пишет Ковалевская, — по-видимому, не что иное, как панегирик правительственным мерам: она вся пересыпана восхвалением царя. Чернов все время имеет вид, как будто он говорит не свои слова, а только развивает царскую мысль, только поясняет смысл и значение недавнего переворота — эмансипации крестьян — и показывает

последствия, долженствующие проистечь из него неизбежно, неотвратимо, в силу неопровержимой исторической логики. После всякого существенного, внезапного переворота в судьбе народа status quo немыслимо. Должно произойти одно из двух: либо силы, вызвавшие переворот, продолжают действовать, и тогда одна реформа неизбежно влечет за собой другую, либо наступает ретроградное движение, реакция. Но эта последняя может быть вызвана лишь противной партией, а не тем правительством, которое само произвело переворот этот и должно неизбежно стремиться и к развитию всех последствий. Уничтожить, затормозить можно только путем новой революции. И вот на основании этих логических доводов Чернов развивал картину будущей России: полная автономия Польши и Финляндии, земля в руках народа и русский народ, свободно высказывающий свою волю и беседующий с царем при посредстве земских соборов. Вот что увидит Россия в день своего тысячелетия, которое она через два года собирается праздновать».

Ковалевская описала в «Нигилисте» первых цюрихских студенток — Суслову, Яковлеву, Корсини, сподвижников Чернышевского — Добролюбова и Слепцова, поэта Некрасова, брата М. Янковской — А. Залеского. Для характеристики каждого нашла она идущие от сердца слова, обнаруживая свое преклонение перед великим подвигом революционных демократов. Единственный, кого не смогла она понять и «принять», был Н. А. Некрасов. В обрисовке его образа она повторила все, что говорили о нем недруги из либеральной партии. Отдав должное огромной силе воздействия стихов Некрасова, Ковалевская со свойственным ей ригоризмом не прощала великому поэту ни действительных, ни измышленных его врагами личных ошибок и недостатков.

Но она так и не окончила повести «Нигилист». Эллен Кей по памяти записала содержание заключительной главы, как рассказала ей Ковалевская. В этой главе, как и в предшествовавших, также изменены имена, факты, смещено время подлинных событий. «Чернышевский вышел из своей неизвестности, — передает Эллен Кей замысел Ковалевской, — стал внезапно знаменитым в кругах молодежи, благодаря своему социальному роману «Что делать?». На веселой пирушке его приветствовали как надежду и вождя молодежи, и он вернулся в маленькую мансарду, где жил со своей молодой женой.

Она спит, когда он возвращается домой. Он подходит к окну и смотрит вниз, на спящий Петербург, где еще мерцают огни. Он про себя говорит с громадным городом — приютом насилия, бедности, несправедливости и угнетения. Но он завоюет его; он воьет в него свой дух, постепенно все

начнут думать его мыслями, как это делала молодежь. Ему вспомнилась молодая одухотворенная девушка, симпатия которой так же горячо неслась к нему. Чернышевский начинает мечтать, но отрывается от мечтаний, идет поцеловать жену, чтобы таким образом разбудить ее и сообщить о своем триумфе. В этот момент раздается резкий стук в дверь. Он открывает — и оказывается перед жандармами, которые пришли арестовать его».

При жизни Ковалевской «Нигилист» не был напечатан, а «Нигилистку» царская цензура не позволяла ни издавать, ни ввозить в Россию из-за границы. На протяжении долгих лет повесть «Нигилистка» была предметом обсуждений в цензурном комитете, кончавшихся неизменными резолюциями — «запретить».

Кроме этих повестей, Софья Васильевна собиралась переделать свое первое литературное произведение — «Приват-доцент», не найденное до сих пор. Она говорила Анне-Шарлотте:

— Я думаю, что если я его совершенно переработаю, то смогу сделать нечто замечательное. И каким великолепным случаем это может быть для проповеди социализма! Или же, во всяком случае, для того, чтобы развивать тезис, что демократическое, но не социалистическое государство представляет величайший ужас, какой только может быть...

С чем бы ни сталкивалась Софья Васильевна, все напоминало ей о России, все возвращало ее мысли к родной земле.

«КРЕСТЬЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

По приглашению ректора высшей народной школы Александра Холмберга Ковалевская приехала однажды посмотреть необыкновенное для русского человека явление — «крестьянский университет» в деревне.

С. маленьким чемоданчиком в руках появилась она ранним утром на Стокгольмском вокзале, возбужденная мыслью о путешествии, ярким солнцем, расцветившим стеклянную крышу дебаркадера тысячами крохотных радуг, невольно улыбаясь, разглядывая предотъездную суету, приветливые лица многочисленных провожающих. Нигде не встречала она так укоренившегося обыкновения провожать отъезжающих по железной дороге всеми чадами и домочадцами, друзьями и знакомыми.

Начались двухнедельные каникулы, и в глубь страны отливали массы школьников, студентов, чиновников, литераторов. Заметнее всех были члены парламента — крупные землевладельцы и крестьяне. Не раз приходилось Ковалевской слышать в риксдаге и видеть в газетах и журналах портреты наиболее выдающихся депутатов. В одном из вагонов третьего класса она заметила группу худых, костлявых, со скуластыми лицами далекарлийских крестьян в длинных коричневых, из домотканого сукна кафтанах, с клетчатыми бумажными платками на шее. А среди них — сухопарого старика с пискливым голосом. Она узнала Лисс-Улофа-Ларсона — личность настолько популярную, что школьники даже сложили о нем песню.

Один из богатейших крестьян Далекарлии, землевладелец и обладатель капитала миллиона в полтора крон, он не любил болтать о своем богатстве; сыновьям образования не дал, кроме обязательного тогда трехклассного; одевался и заставлял всех в семье носить платье из домотканой материи, есть простую пищу и работать не покладая рук наравне с батраками.

Сам Ларсон учился тоже недолго, но природный ум, крестьянская смекалка превращали его выступления в риксдаге чуть ли не в чрезвычайное событие. Сила его — в умении «считать копейку», когда дело касалось государственного бюджета. В эти обсуждения он вносил грошовую бережливость мужика-скряги, немилосердно торговался со всеми, кто просил денег на дороги, школы, науку, торговался из убеждения, что «с казны всяк готов лишнее сорвать».

Ковалевской забавно было видеть, как за этим сухоньким, упрямым

старичонкой ухаживали важные сановники, профессора, доказывая ему значение их замыслов.

На станции, где сошла Софья Васильевна, ее поджидал молодой крестьянский парень со светлыми волосами и такими лазоревыми глазами, каких Ковалевская нигде, кроме Швеции, не встречала. С широкой улыбкой юноша подал гостье большую с мозолями руку: когда учащиеся крестьянского университета узнали о намерении женщины-профессора посетить их, они жребием решали, кому достанется честь ее встретить.

Лошади тащили тарантас по проселочной дороге среди невысоких сосновых и еловых деревьев, между которыми иногда, напоминая родину, белели стволы березок и красные — в пушистых шишечках — вербы. Иногда подступала к дороге скала, облепленная лишайниками и папоротником. Попадались среди леса пахотные участки с избой под ярко-красной крышей в центре усадьбы. И эти дворы, раскинутые на большом расстоянии один от другого, придавали особое своеобразие ландшафту, а земля, на вид тощая и скупая, говорила о том, что человеку здесь надо очень упорно бороться, чтобы вырвать у нее какое-то благо. Как же могли зародиться высшие школы для крестьян в такой обделенной богом стране?

В серых сумерках перед Ковалевской возникло массивное каменное здание, окруженное большим садом. На крыльце ее ждали: ректор — доктор философии Лундского университета, писатель, педагог Александр Холмберг, его жена-писательница, хорошенькая, белокурая, розоволицая женщина с чистыми голубыми глазами, сестра известного поэта Бота, и несколько девушек-родственниц, которые, по обычаю, достигнув совершеннолетия, приехали на год-два приучаться хозяйничать.

После ужина, когда гостью привели в гостиную, раздался стук в дверь. В комнату вошло человек десять молодых крестьян. По приглашению хозяйки они уселись за общий стол.

— Так у нас заведено, — объяснил Ковалевской ректор. — Часть учеников проводит вечера с нами. Всем не вместиться здесь, поэтому они чередуются между собой. Иногда мы беседуем о том, о сем, иногда я читаю вслух, а иногда занимаемся музыкой. Все они учатся пению у учителя, жена моя аккомпанирует им на фортепьяно, так что подчас из хороших голосов составляются даже квартеты. Ну, а остальные развлекаются гимнастикой, борьбой.

Со двора и в самом деле доносились крики, смех, топанье десятков ног.

Холмберг рассказал Софье Васильевне, что первую высшую народную школу для крестьян основал в Дании теолог и философ Грундвиг из чисто

религиозных побуждений. Он говорил, что человек необразованный не может быть сознательным христианином, что должны существовать такие заведения, куда бы мог обратиться юноша из простонародья в момент, когда он в состоянии выработать мировоззрение, когда наиболее восприимчив к новым впечатлениям.

Школа Грундвига имела успех, нашла последователей. Скоро на создание подобных школ стали смотреть как на род христианского подвига. Число их увеличилось на пожертвования богатых лиц. Многие выдающиеся научные деятели отказались от ученой карьеры для места учителя высшей школы.

Со временем, под давлением жизни, теологический характер школ заметно ослабел. В программу преподавания наряду с историей были введены математика, естественные науки и другие полезные предметы.

В Швеции высшие народные школы открывали не на частные, а на государственные средства, (так как крестьянская партия в парламенте включила их строительство в свою программу.

— У нас в Швеции крестьяне далеко не так богаты, как в других странах, например, во Франции, — говорил Холмберг внимательно слушавшей его рассказ Ковалевской. — Исключая южную часть, земля всюду требует затраты большого труда. Но зимой у крестьян остается досуг. Крестьянские университеты, не отрывая человека от земли, не вырабатывая из него специалиста, должны пробуждать в нем сознание, давать общее понятие о накопленном человечеством сокровищах науки и искусств, приобщать к умственным наслаждениям, доступным интеллигентному слою общества.

— Но ректор и учителя должны себя полностью посвятить этому делу? — заметила Ковалевская, вспоминая юношей и девушек, стремившихся работать в деревнях России.

— Да! — воскликнул Холмберг. — От ректора зависит очень многое. Вот скоро пятнадцать лет, как мы с женой сосредоточили на школе все наши заботы и помышления.

— Мужу предлагали более выгодные места, — добавила госпожа Холмберг. — Он отказался и от научной и от литературной карьеры, и никогда еще нам не пришлось об этом пожалеть, так как никакая деятельность не дала бы ему, вероятно, такого удовлетворения, как эта.

В следующие дни Софья Васильевна присутствовала на уроках, беседовала с учениками, входила во все мелочи их быта, занятий, игр и развлечений.

На уроке истории, который вел Холмберг, она даже позавидовала: вряд

ли какому-нибудь профессору удавалось так наэлектризовать свою аудиторию!

В воскресенье, когда занятий в школе не бывает, Ковалевская с супругами Холмберг посетила несколько семей окрестных крестьян и фермеров, терпеливо выпивая в каждом доме традиционную чашку кофе с черствыми бисквитиками, дожидаясь гостей по нескольку месяцев.

С грустью сравнивая с русскими избами, разглядывала она двухэтажные дома, состоящие из пяти комнат, убранных скромно, но содержащихся очень чисто. Правда, не нашла она здесь кустарных вещей: городские торговцы выудили их у крестьян как «рухлядь», обменяв на фабричные безвкусные побрякушки. Но ее поразило ужасающее отношение крестьян, владеющих пусть даже буквально жалким лоскутком земли, к совершенно безземельным торпаре — поденщикам, испольщикам, ремесленникам. Пожалуй, ни одна титулованная девушка так высокомерно не относилась бы к незнатному человеку, как относились крестьянки к труженикам-торпаре.

С облегчением перевела Софья Васильевна дыхание, вернувшись в школу, где терпеливым воспитанием уничтожали или смягчали даже такую отвратительную рознь среди учащихся.

«Лежа в эту ночь в постели, я долго не могла заснуть: все вертелись у меня в голове мысли о далекой родине, — так заканчивала Ковалевская свой очерк для русского журнала «Северный вестник» о трех днях в крестьянском университете в Швеции. — Думалось мне: придется ли мне когда-нибудь в жизни в какой-нибудь заброшенной, глухой русской деревушке рассказывать кучке русских молодых крестьян о Швеции, как я рассказывала сегодня шведам о России...»

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ

Литературными рассказами о русских людях, о России Ковалевская пыталась заглушить тоску по родине. После научного триумфа, какого она достигла, стало еще невыносимее скитаться по чужой земле! Но надежд на место в русских университетах не было.

Еще летом, встретившись в Париже с двоюродным братом Андреем Ивановичем Косичем, Софья Васильевна поведала ему с желанием во что бы то ни стало вернуться в Россию, посвятить ей те знания, которые ученый мир Европы признал бесспорными. Разве не родной стране служила она все эти безмерно тяжелые годы? Почему же не дают ей права работать в России?

Косич по своему почину обратился к президенту Петербургской академии наук великому князю Константину Константиновичу с просьбой вернуть Софью Васильевну Ковалевскую России в качестве члена академии. «Всякое государство, — привел он слова Наполеона, — должно дорожить возвращением выдающихся людей более, нежели завоеванием богатого города».

Августейший президент поручил непременно секретарю Академии наук К. С. Веселовскому выяснить возможности возвращения Ковалевской.

«Большое, большое вам спасибо за ваши письма и за ваши хлопоты по столь горячо интересующему меня вопросу, — ответила Софья Васильевна А. И. Косичу на его сообщение. — Получив сегодня ваше письмо, я решила сама написать Чебышеву (с которым, впрочем, и вообще довольно часто переписывалась этот последний год по разным научным вопросам). Я написала ему, что слышала от вас, что Веселовский недоумевает, вернулась ли бы я на родину, если бы мне представилась на это возможность, и что поэтому я пишу ему, как моему старому другу, чтобы сказать ему, как меня, несмотря на долгое жительство за границей, все же тянет в Россию».

Увы, ответ Веселовского Косичу был очень вежлив, но не оставлял никаких иллюзий. Августейший президент императорской Академии наук приказал Веселовскому сообщить, что Софья Васильевна Ковалевская, приобретая за границей громкую известность своими научными работами, пользуется не меньшей известностью и между русскими математиками. Блестящие ее успехи за границею тем более лестны для

русских, что «они всецело должны быть приписаны ее высоким достоинствам, так как там национальные чувства не могли служить для усиления энтузиазма в пользу ее».

Особенно лестно для России то, говорилось в ответе, что г-жа Ковалевская получила место профессора математики в Стокгольмском университете. Предоставление университетской кафедры женщине могло состояться только при особо высоком и совершенно исключительном мнении об ее способностях и знаниях, а госпожа Ковалевская оправдала такое мнение своими поистине замечательными лекциями.

Позолотив таким образом пилюлю, непременный секретарь не сделал менее горькими свои заключительные слова:

«Так как доступ на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и познания, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места столь же почетного, как то, которое она занимает в Стокгольме».

Так ответила императорская академия...

Поддержка пришла с другой стороны.

Иначе, чем правительство, отнеслись к женщине, талантом, энергией и беззаветным служением науке поставившей себя в первые ряды математиков, русские ученые.

Академики-математики П. Л. Чебышев, В. Г. Имшенецкий и В. Я. Буняковский сами предложили физико-математическому отделению Академии наук «к избранию членом-корреспондентом Академии, в разряд математических наук, доктора математики — профессора Стокгольмского университета Софью Васильевну Ковалевскую». 7 ноября 1889 года произошла баллотировка первой русской женщины в члены-корреспонденты Академии наук. Софья Васильевна получила четырнадцать белых и три черных шара.

Избрание Ковалевской должно было утвердить общее собрание, так как до сих пор, объяснял непременный секретарь академии К. С. Веселовский, «еще не было примера избрания в члены-корреспонденты лиц женского пола», а избрание таких лиц по одному какому-либо разряду наук «установило бы собою пример, на основании которого могли бы быть предлагаемы такие лица и по другим разрядам наук».

Вопрос Ковалевской, таким образом, перерос в неслыханно смелый вопросу — о праве допускать женщин к избранию в академию. Свершилось то, к чему так самоотверженно стремилась всю жизнь Софья Васильевна, что считала своим долгом и назначением.

Чрезвычайное это событие было вновь обсуждено на общем собрании

академиков в той же форме — о возможности избирать лиц женского пола в члены-корреспонденты. И к чести русских ученых, вопреки воле властей, кандидатура Ковалевской (а значит, и принципиальный ответ о правах женщин-ученых) при голосовании прошла двадцатью утвердительными шарами против шести отрицательных!

Пафнутий Львович Чебышев немедленно телеграфировал Ковалевской, что Петербургская академия только что избрала ее членом-корреспондентом, допустив этим нововведение, которому не было до сих пор прецедента, и что он счастлив видеть исполненным одно из самых пламенных и справедливых своих желаний.

Люди русской науки завоевали признательность лучшей, передовой части общества всех стран мира таким благородным актом.

Судьбы же самой Ковалевской это избрание не изменило. Звание члена-корреспондента было не более как почетным титулом ученого. Оно не давало Софье Васильевне права занять профессорское место в высшем учебном заведении, не предоставляло даже относительной материальной возможности жить на родине.

Конечно, было очень приятно, что русская академия, наконец, решилась впустить к себе женщину и, если откроется вакансия на место действительного академика, не откажет ученой в избрании только потому, что она женщина. Но Ковалевская больше не могла жить вдали от России. Она хотела работать с русскими математиками, ее томила тоска по родине.

В одну из последних встреч с Шарлем Эрмитом она откровенно призналась ему в этом. Французский ученый отнесся с большим сочувствием к Софье Васильевне и написал П. Л. Чебышеву:

«Пользуясь вашей добротой, я выражаю пожелание, чтобы вы смогли вызвать к себе в С.-Петербургскую академию наук г-жу Ковалевскую, талант которой вызывает восхищение всех математиков и которая в стокгольмском изгнании хранит в сердце сожаление и любовь к своей родине — России. Я узнал от нее о том участии, которое вы приняли в ее избрании членом-корреспондентом Академии, в то же самое время она сообщила мне о своем тяжелом душевном состоянии в связи с ее пребыванием за границей, и я решаюсь просить вас, по мере возможности, оказать ей нужную поддержку».

ТАНЯ РАЕВСКАЯ

Зима 1889 года казалась Софье Васильевне нескончаемой. Как и прежде, профессор Ковалевская тщательно готовилась к лекциям, добросовестно вела семинарские занятия, щедро оделяя учеников сокровищами своих глубоких и блестящих знаний. Но профессорская деятельность в чужом краю больше не радовала: выхода из замкнутого круга не было. С таким трудом завоеванная слава первой женщины-ученой ни на йоту не приблизила к осуществлению цели жизни — открыть дорогу женщинам к университетской кафедре. Софья Ковалевская, казалось ей, была только «случаем», не более. А лишенная широкой общественной арены, она отдавала слишком много сил тревогам о личной судьбе.

Не отвлекала от этих мыслей и Анна-Шарлотта, пребывавшая в мрачном расположении духа из-за своих обстоятельств. Ее брак с итальянским математиком Дель Пеццо откладывался. Дель Пеццо наследовал после смерти отца титул герцога Кайянелло и, как глава аристократического рода, католик, мог вступить в брак с разведенной женщиной только с особого разрешения папы римского. А надежд на такое разрешение было мало.

Стокгольмское «общество» тоже немало портило настроение подруг, слишком бесцеремонно обсуждая их жизнь. И они решили вырваться из этой душной атмосферы пересудов хотя бы на время рождественских каникул, отправившись в Париж, где никому не было до них дела, где могли они отвлечься литературными интересами.

Какой грустной, безотрадной была эта дорога! В Копенгагене, куда подружки прибыли, чтобы пересесть в поезд, идущий во Францию, друзья не узнавали Ковалевскую. Она кашляла, очень похудела. Однажды, получив сильно взволновавшее ее письмо, она вскочила с постели и, полуодетая, в тонких ботинках, выбежала на улицу — в дождь, в грязь, ветер. Вернулась в отель, сильно промокнув, и просидела в мокрой одежде до поздней ночи.

— Ты увидишь, — сказала Софья Васильевна в ответ на просьбы Анны-Шарлотты переодеться, — что я даже серьезной болезни не в состоянии схватить! О, не бойся, смерть наверное пощадит меня, потому что именно теперь мне очень хотелось бы умереть. Такое счастье никогда не выпадет мне на долю.

А еще так недавно она утверждала.

— Правда, жизнь не представляет собой слишком ценного клада, но

все же мы удивляемся всякий раз, когда кто-нибудь преждевременно лишает себя его. Читала ли ты «*La joie de vivre*» («Радость жизни») Золя? Помнишь ли восклицание того бедного, пораженного подагрой старца, жизнь которого была не более как длительной агонией, восклицание, вырвавшееся у него при вести о самоубийстве его старой служанки; «Каким глупым нужно быть для того, чтобы покончить с собой!» Мне кажется, что так бывает очень часто: люди, много страдавшие, не ожидающие от жизни ничего, крепче привязываются к ней и считают порывом безумия лишение себя жизни раньше времени. Как подумаешь, какая глупая вещь жизнь!

Подруга пыталась объяснить, как она понимала, причину личных неудач Ковалевской, в достаточной мере изучив характер русской ученой на своих с нею отношениях:

— Ты требуешь от мужчины слишком много. Ты никогда не удовлетворилась бы любовью, какая выпадает на долю большинства женщин. Ты слишком углубляешься в себя, анализируешь отношения; в тебе нет той любви, которая забывает себя для других, ты знаешь только такую, которая требует столько же, сколько дает. Ты даешь очень много и не можешь понять, когда тебе не дают столько же, что человек, может быть, даже не способен на большее. Своим ироническим умом ты низводишь мужчину с пьедестала, на который он сам себя возвел. Кому не хочется казаться выше, чем он есть на самом деле? Больше любят тех, кто поддерживает это заблуждение о выдуманном величии. Разве не замечала ты, Соня, что мужья нежны лишь с такими женами, которые смотрят на мир их глазами, ловят с благоговением, как откровение господне, каждое их слово, женской слабостью понуждают мужчину быть их рыцарями-защитниками?! А сильная женщина, принимая на свои плечи заботы мужчины, лишает его возможности покровительствовать ей, казаться лучше и сильнее. Ты, Соня, неудержимо стремишься всегда показать свою силу, стать равной мужчине во всем.

— Может быть, может быть, — рассеянно соглашалась Софья Васильевна.

Она напоминала Анне-Шарлотте девочку из английского анекдота, которую спросили, чего ей дать; орехового торта или лимонного пирога? Девочка ответила: «И того, и другого, и каждого столько, как если бы дали только одного».

— Может быть, может быть, — повторяла несчастная Алиса-Соня. — Мне еще в юности писал дядя Петр, чтобы я желала умеренно и только того, что выполнимо. Может быть...

По приезду в Париж, где Анна-Шарлотта Леффлер была всего один раз проездом, она забросала Софью Васильевну вопросами: «А это что? А где то-то и то-то?» Ковалевская отвечала: «Не знаю, не помню».

Париж, радостный, дававший ей отраду Париж не производил на нее теперь впечатления. Тоска закрывала мир, как свинцовая туча. В России не было для нее места. Максим не писал, а его друзья сообщали неутешительные для нее вести.

Не отвлекали от печальных мыслей и многочисленные знакомства с литераторами Франции, актерами, учеными, политическими деятелями, шумная жизнь, в которую вовлекали Софью Васильевну и Анну-Шарлотту парижские друзья.

Но однажды подруг пригласил к себе скандинавский писатель Юнас Ли, который давал обед по случаю приезда в Париж композитора Эдварда Грига и его жены. За столом собрались друзья хозяина — писатели Иоганн Рунеберг, Кнут Бикзель, Ида Эрикссон.

В маленьком кружке царило то светлое, праздничное настроение, какое бывает там, где все друг друга любят, где все друг другу искренне рады.

Юнас Ли произносил горячие речи о политической свободе. В честь Софьи Васильевны Ковалевской, «знаменитой, замечательной», было провозглашено тоже немало тостов. И вдруг Юнас Ли заговорил о ней не как о профессоре математики, а как о маленькой Тане Раевской, которую он научился любить по книге воспоминаний Ковалевской «Сестры Раевские». Ему было от всего сердца жаль ребенка, с такой тоской желавшего любви и нежности, ребенка, которого никто не понимал.

— Жизнь наделила этого бедного ребенка, эту маленькую Таню Раевскую, — говорил Юнас Ли, — всеми возможными дарами, осыпала его почестями и отличиями, отметила успехи его на разных поприщах. А между тем маленькая девочка представляется мне стоящей с протянутыми вперед пустыми руками, с умоляющим взглядом больших, широко раскрытых глаз. Чего она хочет, эта маленькая девочка? А ей хочется, чтобы к ней протянулась дружеская рука и дала обыкновенный апельсин.

— Благодарю вас, господин Ли! — воскликнула Софья Васильевна, едва сдерживая слезы. — Много речей приходилось мне выслушать в своей жизни, но ни одна не была так хорошо сказана!

Она не в силах была произнести ни одного слова больше. Слезы душили ее, она опустила на стул и выпила стакан воды.

Возвращаясь домой, Ковалевская пришла в такое хорошее настроение, в каком Анна-Шарлотта давно ее не видела.

— Слышишь, Анна-Лотта? Вот нашелся же человек, который понял меня, ничего не зная о моих личных обстоятельствах и отношениях; понял, видев два-три раза, только потому, что прочитал мою книгу. Книга помогла ему заглянуть в мою душу, в мой внутренний мир глубже, чем могли это сделать мои лучшие друзья, знавшие меня много лет. В книге писатель открывает все свои самые сокровенные чувства и мысли лучше, чем в жизни. Значит, литературная деятельность тоже может дать радость, значит, стоит жить!

В этот вечер она получила письмо от Максима Ковалевского, в котором разъяснялось какое-то недоразумение, мучавшее Софью Васильевну, и немедленно уехала к нему из Парижа.

Через несколько дней Ковалевская написала Анне-Шарлотте: «И я и он — мы никогда не поймем друг друга. Я возвращаюсь в Стокгольм к своим занятиям. Только в одной работе можно найти радость и утешение».

При встрече с Анной-Шарлоттой Софья Васильевна на вопрос подруги об отношениях к Ковалевскому сказала:

— Я решила никогда больше не выходить замуж, я не желаю поступать так, как поступает большинство женщин, которые при первой возможности выйти замуж забрасывают все прежние занятия и забывают о том, что раньше считали своим призванием. Я ни за что не оставлю своего места в Стокгольме, пока не получу другого — лучшего — или не приобрету такого положения в литературном мире, которое давало бы мне возможность жить писательским трудом. Но летом я отправлюсь с Ковалевским в путешествие, так как это самый приятный друг и товарищ, которого я знаю...

В апреле 1890 года Ковалевская уехала в Россию в надежде, что ее изберут в члены академии на место умершего математика Буняковского и она приобретет ту материальную независимость, которая позволила бы заниматься наукой в своей стране.

В Петербурге Софья Васильевна посетила Имшенецкого и Чебышева, дважды была у президента академии великого князя Константина Константиновича, один раз завтракала с ним и его женой. Он был очень любезен с прославленной ученой и все твердил, как было бы хорошо, если бы Ковалевская вернулась на родину. Но когда она пожелала, как член-корреспондент, присутствовать на заседании академии, ей ответили, что пребывание женщин на таких заседаниях «не в обычаях Академии»!

Большой обиды, большего оскорбления не могли ей нанести в России. Что же изменилось после того, как ей присвоили академическое звание? Ничего...

Впрочем, петербургское общество очень любезно принимало знаменитую ученую, первую женщину-профессора, первую женщину члена-корреспондента русской академии, лауреата Парижской академии и автора «Воспоминаний детства», напечатанных в солидном журнале «Вестник Европы». Это произведение критика признавала выдающимся литературным явлением. «По силе беллетристического таланта, — предсказывал рецензент «Северного вестника», — наша знаменитая соотечественница без сомнения должна занять одно из самых видных мест среди русских писательниц». Фамилия Ковалевской была включена в список авторов, обещавших на 1891 год свое сотрудничество журналу «Русская мысль». В числе их были Чехов, Тимирязев, Стасов и другие.

В честь знатной гостьи давали обеды, ужины; она переходила от одного празднества к другому, сделала много блестящих знакомств. Редактор исторического журнала «Русская старина» М. И. Семеvский, знававший Софью Васильевну двенадцатилетней девочкой, теперь почтительно застенографировал ее автобиографический рассказ.

Как первую женщину члена-корреспондента Академии наук ее приветствовали на заседании городской думы, происходившем в присутствии тысячи человек. И она публично выразила свою радость, что в России чувствуется успех распространения народного образования, которому способствовали общества грамотности.

Преподаватели и слушательницы Высших женских курсов пригласили Ковалевскую на экзамены и подарили ей фотографию здания курсов с подписями двадцати четырех женщин.

А уезжала Ковалевская из Петербурга в большой тоске: не нашлось для нее места на родной земле.

По дороге в Стокгольм она, как обычно во время отпуска, навестила Вейерштрасса. Была она в необыкновенно возбужденном состоянии, которое люди, не знающие ее, принимали за неистощимую жизнерадостность, а те, кто знал, поняли, что в ее жизни произошло еще какое-то тяжкое разочарование.

Дождавшись летних каникул, Ковалевская уехала в Берлин, погостила у Вейерштрасса, а затем отправилась в Амстердам, где ее ждал Максим Максимович.

Путешествие доставило ей большое удовольствие. Мелькали города: Кельн, Бонн, Эмс, Майнц, Висбаден, Гейдельберг, Мангейм, Цюрих, Давос, Тарасп. Но отношения с Ковалевским не налаживались. Друзья, спутники, люди, выделявшиеся даже среди незаурядного общества, которое их окружало, они были похожи на два кремня; сталкиваясь, они высекали

огонь, который сжигал возникавшую иногда нежность. Подчинись он ей, она утратила бы к нему интерес, как случилось в ее жизни; согни ее он, она возненавидела бы его. Дружба же была им нужна как воздух: невольные скитальцы-изгнанники, находясь рядом, они приобретали ощущение родины.

КРУШЕНИЕ НАДЕЖД

В Стокгольм Софья Васильевна вернулась в сентябре. Ее искусственная веселость исчезла. Она была очень грустна и казалась чем-то сильно обеспокоенной. Встреча с Анной-Шарлоттой не обрадовала. Она прятала от подруги свои переживания. Близким друзьям ее было видно, что она всей душой рвется из Стокгольма и считает дни до рождественских вакаций, чтобы уехать за границу. Тяжело давалась борьба с самой собою: она не могла соединиться с Ковалевским на тех условиях, какие он выдвигал, и не могла жить одна в чужой стране. Все могло быть иначе, если бы ей позволили работать на родине. Она походила на вырванное из почвы растение, которое не в силах укорениться и погибает.

Миттаг-Леффлер, переселившийся в новый район, просил Софью Васильевну снять квартиру где-нибудь поблизости от него, чтобы чаще и легче видаться. Но хотя переезд Миттаг-Леффлера еще сильнее заставил ее почувствовать свое одиночество, Ковалевская никак не могла решиться на это.

— Кто знает, сколько еще времени остается мне прожить в Стокгольме! Во всяком случае, это не может долго продолжаться, — говорила она. — Ну, а если мне придется и следующую зиму остаться здесь, я буду в таком ужасном расположении духа, что мое соседство не доставит вам никакого удовольствия.

В эти тяжелые для нее дни она встречалась только с Эллен Кей, почти прекратив другие знакомства.

В начале декабря Софья Васильевна приехала к Миттаг-Леффлеру в Диурсгольм, чтобы проститься перед своим отъездом в Ниццу. У него гостила Анна-Шарлотта с мужем, герцогом Кайянелло. Софья Васильевна условилась повидаться с подругой в Генуе после рождества. Простились они так, как прощаются люди, которые расстаются на один день.

Свиданий не состоялось. Произошла какая-то ошибка в адресе на телеграмме. Анна-Шарлотта проехала станцию, не зная, что ее ждут там Софья Васильевна и Максим Максимович.

Ковалевская провела свой отпуск в Ницце. Она просила Миттаг-Леффлера продлить ей отпуск, но он ответил, что это невозможно, так как одна кафедра совершенно не замещена, и Ковалевской придется читать два предмета.

Под Новый год Софья Васильевна попросила Максима Максимовича

съездить с нею на кладбище Санто-Кампо в Геную. Они долго бродили среди прекрасных мраморных памятников знаменитого «города мертвых». Софья Васильевна была очень грустна и подавлена. Покидая кладбище, она сказала:

— Одни из нас не переживет этого года...

Ковалевский проводил Софью Васильевну до Канн. Она заехала на несколько дней в Париж повидаться с французскими математиками, 20 января посетила в Берлине Вейерштрасса и Георга Фольмара. Софья Васильевна была приветлива, рассказывала друзьям о множестве литературных и научных планов, которые возникли у нее в связи с неудачей в Петербурге. Она опять оживилась, поставив перед собой новую цель: сделать в науке и литературе столько, чтобы русское правительство не могло без урона для своего престижа противиться дальше ее приглашению.

В Фредерисию, откуда отправлялся поезд в Швецию, Софья Васильевна прибыла поздно ночью, в бурю, под проливным дождем. Датских денег у нее не оказалось, чтобы взять носильщика, и ей самой пришлось нести свой багаж.

В Стокгольм Ковалевская приехала в среду, 23 января, совершенно простуженная. Но весь следующий день готовилась к лекции, которую прочитала в пятницу. После занятий в университете она пошла ужинать к Гюльденам.

Очень оживленная, Софья Васильевна рассказывала своим друзьям о парижских и итальянских впечатлениях, делилась научными и литературными планами. По свидетельству Миттаг-Леффлера, ее математические замыслы были так интересны и важны, что если бы она успела осуществить даже небольшую их часть, имя ее приобрело бы бессмертие гения.

Она собиралась написать повесть «На выставке», в которой хотела выразить свое отношение к роли творческого труда в жизни человека, и сделала для нее наброски. В начатой повести «Амур на ярмарке» ей хотелось показать судьбу женщин, избравших разные дороги в жизни, а в «Путовской барыне», навеянной воспоминаниями М. Ковалевского о матери, — воскресить дореформенный быт «дворянских гнезд» и образ просвещенной матери-воспитательницы.

Неожиданно для всех Софья Васильевна оборвала беседу и, торопливо попрощавшись, покинула квартиру Гюльденов. Никто не заметил, что ей плохо, а она не любила привлекать внимание окружающих к своему самочувствию.

В сильном ознобе вышла она одна на улицу. Извозчика поблизости не

оказалось, пришлось сесть в омнибус. Плохо ориентируясь, Ковалевская поехала в противоположный конец города и попала домой поздно, сильно промерзнув.

К утру она почувствовала себя настолько нехорошо, что против обыкновения — не затруднять близких такого рода поручениями — вынуждена была отправить служанку к Миттаг-Леффлеру с просьбой прислать врача. Миттаг-Леффлер немедленно позаботился об этом и дал знать о болезни Ковалевской Эллен Кей и Терезе Гюльден.

Врач сначала предположил у больной почечные колики и назначил соответствующее лечение. Но Софья Васильевна задыхалась, ее мучили частый сухой кашель и лихорадка. Оказалось, что у нее гнойный плеврит.

Эллен Кей и Тереза Гюльден решили дежурить возле подруги день и ночь, сменяясь. Софья Васильевна трогала их своей кротостью, терпением и горячей признательностью за каждую услугу, которую ей оказывали.

Во вторник вечером Фуфа должна была пойти на детский бал. Софья Васильевна попросила приятельниц, чтобы они непременно послали туда девочку, и сама осмотрела ее новый цыганский костюм. Но потом продиктовала письмо к своему немецкому другу Ханземану: пусть он позаботится о том, чтобы слухи о ее болезни не дошли до тяжело хворавшего Вейерштрасса и не взволновали его.

Врач в этот день сказал, что опасность миновала и подруги больной могут пойти отдохнуть дома, оставив Ковалевскую на попечении сестры милосердия из общины Елизаветы. Софья Васильевна была спокойна, она только сказала:

— Во мне произошла какая-то перемена...

А ночью портье дома, где жила Софья Васильевна, прибежал к Гюльденам и сообщил:

— Скорее, скорее идите: профессор Ковалевская умирает!

Когда Тереза Гюльден пришла, Софья Васильевна была в агонии и, не приходя в сознание, скончалась 29 января 1891 года от паралича сердца, в возрасте 41 года — в самом расцвете творческой жизни.

Известие о смерти великой русской ученой потрясло всех, кто знал ее имя, славную и горькую ее судьбу. «Ковалевская умерла! Какое горе! Не оценили ее у нас!» — занесла в свои «Записки» Надежда Васильевна Стасова.

И как много оказалось в мире друзей у той, кто мучительно страдал от одиночества в вынужденном изгнании!

Ее подвиг помогал людям жить, верить, бороться за справедливое отношение к женщине. Ее научные успехи дали многим ученым толчок к

дальнейшему развитию затронутых талантливой русской вопросов математики и механики. Н. Е. Жуковский сделал геометрическое истолкование случая Ковалевской в задаче о вращении твердого тела, Н. Б. Делоне построил модель гироскопа Ковалевской, многие русские ученые, в числе их А. М. Ляпунов, произвели ряд интересных исследований, связанных с работой Софьи Васильевны. Иностранные математики также развивали ее исследования, признавая, что Софья Ковалевская заняла одно из самых видных мест между современными математиками.

Бесчисленные венки от университетов, академий, от друзей, учеников, от петербургских Высших женских курсов, от Женского союза Фредерики Бремер, от датских учащихся-женщин, от читательского женского союза в Копенгагене, Северного музея заполняли траурно убранную гостиную в квартире Ковалевской. Среди этих драгоценных венков выделялся скромный лавровый венок с белыми камелиями и краткой надписью на белой ленте «Соне от Вейерштрасса» и ветка сирени «Тане Раевской — почитательница из провинции».

Петербургская академия наук выразила свою скорбь по поводу невознаградимой потери члена-корреспондента. Прислали телеграммы студенты Харьковского университета, учащиеся воскресной школы Тифлиса и множество других лиц и организаций.

Глядя на благородное лицо Ковалевской, которому смерть придала особенное спокойствие, Эллен Кей думала о своей подруге: только один раз за годы знакомства с ней привелось Кей видеть у живой Сони такое же выражение умиротворения. Это было на концерте филармонии, где Софья Васильевна в обществе Максима Ковалевского слушала Девятую симфонию Бетховена...

Мысли присутствовавших на погребении нашли выражение в стихах брата профессора Миттаг-Леффлера поэта Фрица Леффлера «На смерть С. В. Ковалевской»:

Душа из пламени и дум!
Пристал ли твой корабль воздушный
К стране, куда парил твой ум,
Призыву истины послушный?

...

Прощай! Тебя мы свято чтим.
Твой прах в могиле оставляя:

Пусть шведская земля над ним
Лежит легко, не подавляя

Прощай! Со славою твоей
Ты, навсегда расставшись с нами.
Жить будешь в памяти людей
С другими славными умами,

Покуда чудный звездный свет
С небес на землю будет литься
И в сонме блещущих планет
Кольцо Сатурна не затмится.

К месту последнего прибежища, к Новому кладбищу, гроб «нашего профессора Сони», как называли шведы русскую ученую, провожали все жители Стокгольма. Торжественная и печальная процессия достигла кладбища только к трем часам дня.

На холме Линдхаген, у края могилы, потрясенный Г. Миттаг-Леффлер прощался со своим товарищем от имени Стокгольмского университета, от имени работников на математическом поприще во всех странах, близких и далеких друзей и учеников. Он благодарил Ковалевскую «за глубину и ясность, с которой она направляла умственную жизнь юношества... за сокровища дружбы, которыми она оделяла всех близких ее сердцу».

Максим Ковалевский, которому Миттаг-Леффлер сообщил о болезни Софьи Васильевны, не застал в живых своего друга. Ему, такому же бесприютному сыну России, как и славная ученая, выпала печальная честь произнести последнее слово привета от тех соотечественников Ковалевской, с которыми была она всегда связана чувствами, мыслями и делами.

— Софья Васильевна! — сказал он. — Благодаря вашим знаниям, вашему таланту и вашему характеру вы всегда были и будете славой нашей родины. Недаром оплакивает вас вся ученая и литературная Россия. Со всех концов обширной империи, из Гельсингфорса и Тифлиса, из Харькова и Саратова, присылают венки на вашу могилу.

Вам не суждено было работать в родной стране, и Швеция приняла вас. Честь этой стране, другу науки! Особенно честь молодому Стокгольмскому университету! Но, работая по необходимости вдали от родины, вы сохранили свою национальность, вы остались верной и

преданной союзницей юной России, России мирной, справедливой и свободной, той России, которой принадлежит будущее. От ее имени прощаюсь с вами в последний раз!

Могильный холм покрылся цветами и венками. Через пять лет на нем был установлен памятник из черного финляндского гранита, сделанный на деньги, которые собрал по подписке Комитет общества для доставления средств Высшим женским курсам.

Россия новая, прогрессивная откликнулась на смерть Ковалевской траурными собраниями, заседаниями, выступлениями в печати. 19 февраля 1891 года Московское математическое общество созвало заседание, посвященное памяти С. В. Ковалевской, состоявшей членом общества с 1881 года. В докладах А. Г. Столетова, П. А. Некрасова и Н. Е. Жуковского была дана высокая оценка научной деятельности женщины-математика. Ученые отмечали большой талант Ковалевской, которая «глубоко проникала в существующие методы науки, искусно пользовалась ими и развивала их, делая совершенно новые, блестящие открытия, и легко справлялась с громаднейшими затруднениями». Н. Е. Жуковский сообщил о своей встрече с французским математиком Анри Пуанкаре, который рассказал, что Ковалевская работала над расширением открытого ею случая и надеялась разрешить задачу о движении при центре тяжести, лежащем на плоскости экватора эллипсоида инерции. «К сожалению, — заключил свое выступление Жуковский, — ранняя смерть положила предел всем этим надеждам и лишила нас соотечественницы, которая немало содействовала прославлению русского имени».

И только «официальная» Россия устами министра внутренних дел Дурново определила свое отношение к знаменитой передовой русской ученой: «Слишком много занимались женщиной, которая в конечном счете была нигилисткой».

Лучшей похвалы от своих противников Ковалевская не могла получить. Она горячо принимала к сердцу интересы народных масс и той демократической интеллигенции, которая боролась с реакцией. Судьба «четвертого сословия» — рабочего класса — была ей особенно дорога. Софья Васильевна стояла за политические свободы, социальное законодательство и широкое просвещение народа. Она всем своим богато одаренным существом была с теми, кто боролся против тирании царского режима, кто прокладывал пути к торжеству России — «мирной, справедливой и свободной, той России, которой принадлежит будущее».

Советские люди с любовью и уважением склоняют голову перед трагически прекрасным образом великой дочери великого народа. «Кто жил

для своего времени, живет для всех времен».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. В. КОВАЛЕВСКОЙ

1850, 3(15) января — родилась в Москве.

1853–1858 — жила с родителями в Калуге.

1858 — переезд в Палибино, нынешней Псковской области.

1866 — начала заниматься высшей математикой у Н. А. Страннолюбского.

1867 — поездка с матерью Е. Ф. Крюковской и сестрой Анной в Германию и Швейцарию.

1868, весна — знакомство с В. О. Ковалевским.

15(27) сентября — свадьба с В. О. Ковалевским.

1869, апрель — отъезд в Гейдельберг. Поездка в Лондон, знакомство с Джордж Элиот, Т. Гексли.

1870, октябрь — переезд в Берлин и начало занятий с профессором Вейерштрассом.

1871, с 5(17) апреля по 12(25) мая (во время Парижской коммуны) и с конца мая до конца сентября — С. В. и В. О. Ковалевские находились в Париже.

1873, апрель — май — поездка в Цюрих к сестре Л. В. Жаклар. Знакомство с известным математиком, учеником Вейерштрасса Г. А. Шварцем.

1874, июль — присуждение С. В. Ковалевской Геттингенским университетом степени доктора философии математических наук и магистра изящных искусств.

1874 — напечатана диссертация «К теории уравнений в частных производных» в Берлинском математическом журнале.

сентябрь — переезд в Петербург.

1876–1877 — работа в газете А. С. Суворина «Новое время».

1878, 5(17) октября — рождение дочери Софьи Владимировны Ковалевской.

1879, 28 декабря (9 января 1880) — доклад С. В. Ковалевской на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге «О приведении некоторого класса абелевых интегралов 3-го ранга к эллиптическим интегралам».

1880 — переезд в Москву.

ноябрь — декабрь — двухмесячное пребывание в Берлине для консультации с Вейерштрассом.

1881, 15(27) апреля — избрание С. В. Ковалевской в члены Московского математического общества.

1881–1883 — пребывание С. В. Ковалевской за границей (Берлин, Париж) в связи с исследованием «О преломлении света в кристаллических средах».

1883, 15(27) апреля — смерть В. О. Ковалевского.

20 августа (1 сентября) — доклад С. В. Ковалевской на VII съезде естествоиспытателей и врачей «О преломлении света в кристаллах» (Одесса).

ноябрь — отъезд С. В. Ковалевской в Стокгольм в качестве приват-доцента Нового университета. В шведском математическом журнале «Acta mathematica» опубликовано исследование С. В. Ковалевской «О преломлении света в кристаллических средах».

1884, 30 января (11 февраля) — первая лекция в Стокгольмском университете. С. В. Ковалевская приглашена в состав редакции журнала «Acta mathematica».

лето — С. В. Ковалевская назначена ординарным профессором Стокгольмского университета. В журнале «Acta mathematica» напечатано исследование С. В. Ковалевской «О приведении некоторого класса абелевых интегралов 3-го ранга к эллиптическим интегралам». Напечатано исследование С. В. Ковалевской о распространении света в кристаллической среде в журналах Парижской и Стокгольмской академий наук.

1885 — в немецком астрономическом журнале опубликован труд С. В. Ковалевской «Добавления и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна».

1886, июнь — в номере шестом журнала «Русская мысль» напечатаны «Воспоминания о Джордж Элиот» С. В. Ковалевской. Для опубликования в журнале «Acta mathematica» С. В. Ковалевская перевела с русского на французский язык математическое письмо к ней П. Л. Чебышева «О суммах, составленных из коэффициентов рядов с положительными членами».

1887 — С. В. Ковалевская вместе со шведской писательницей А.-Ш. Леффлер написала две параллельные пьесы «Борьба за счастье», которые были опубликованы в декабре того же года. С. В. Ковалевская перевела с русского на французский язык для журнала «Acta mathematica» работу П. Л. Чебышева «О представлении предельных величин интегралов

посредством интегральных вычетов».

1888, *февраль* — встреча в Стокгольме с М. М. Ковалевским.

12(24) *декабря* — Парижская академия наук вручила С. В. Ковалевской премию Бордена за работу о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.

1889 — в одной из стокгольмских газет опубликован очерк о М. Е. Салтыкове-Щедрине. В шведском журнале «Acta mathematica» напечатана работа С. В. Ковалевской «Задача о вращении твердого тела около неподвижной точки».

7(19) *ноября* — С. В. Ковалевская избрана членом-корреспондентом Российской академии наук на физико-математическом отделении; избрание утверждено общим собранием Академии наук 2(14) *декабря*. Шведская академия наук присудила С. В. Ковалевской премию за второй мемуар по изучению вращения твердого тела — «Об одном свойстве системы...»

1890 — в журнале «Северный вестник» напечатан очерк С. В. Ковалевской «Три дня в крестьянском университете Швеции». Опубликован мемуар С. В. Ковалевской «Об одном частном случае задачи о вращении тяжелого тела вокруг неподвижной точки, когда интегрирование производится с помощью ультраэллиптических функций времени» в т. 31 Отчетов Парижской академии наук.

1891 — в шведском журнале «Acta mathematica» опубликован труд С. В. Ковалевской «Об одной теореме г. Брунса». В журнале «Вестник Европы» напечатаны «Воспоминания детства» С. В. Ковалевской.

29 *января* (10 *февраля*) — в Стокгольме скончалась С. В. Ковалевская; похоронена в Стокгольме на холме Линдхаген — Новое кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Научные работы и литературные произведения С. В. Ковалевской

С. В. Ковалевская, Научные работы. Редакция и комментарии члена-корреспондента АН СССР П. Я. Полубариновой-Кочиной. Изд. АН СССР, М., 1948. Сюда вошли работы С. В. Ковалевской:

К теории уравнений в частных производных.

О приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам.

О распространении света в кристаллической среде.

О преломлении света в кристаллических средах.

Добавления и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна.

Задача о вращении твердого тела около неподвижной точки.

Об одном свойстве системы дифференциальных уравнений, определяющей вращение твердого тела около неподвижной точки.

Мемуар об одном частном случае задачи о вращении тяжелого тела вокруг неподвижной точки, когда интегрирование производится с помощью ультраэллиптических функции времени.

Об одной теореме г. Брукса.

Ковалевская С. В. и Леффлер А.-К., Борьба за счастье, драма. Перевод М Лучицкой, Киев. 1892.

Литературные сочинения. Спб., 1893, 320 стр.

Нигилистка, роман Харьков, 1928, изд-во «Пролетарий», 157 стр.

Воспоминания детства и автобиографические очерки. Под редакцией М. В. Нечкиной и С. Я. Штрайха. Изд. АН СССР, М.-Л., 1945, 225 стр.

Основная литература о С. В. Ковалевской

Брандес Георг, Собрание сочинений, т. 2. Перевод М Лучицкой. Спб., 1896 (о С. Ковалевской стр. 333–346 и 356–368).

Жуковский Н. Е., Механика а Московском университете за последнее 50-летие. Полное собр. соч., т. IX, стр. 203–211 (о С. Ковалевской стр. 207–

208).

Жуковский Н. Е., О трудах С. В. Ковалевской по прикладной математике. С. В. Ковалевская, Математический сборник, М., 1891, стр. 19–31.

Кей Эллен, Анна-Шарлотта Леффлер. В книге А.-К. Леффлер «Софья Ковалевская». Спб., 1893, 315 стр. (о Софье Ковалевской стр. 29–35, 41, 46, 66).

Книжник-Ветров Ив., А. В. Корвин-Круковская (Жаклар). М., 1931, 115 стр.

Ковалевский Е. П., Черты из жизни М. М. Ковалевского. Сборник «М. М. Ковалевский». Петр., 1917.

Лавров П. Л., Русская развитая женщина. В память С. В. Ковалевской. Женева, 1891, 16 стр.

Леффлер А.-К. Софья Ковалевская (что я пережила с ней и что она рассказывала мне о себе). Перевод со шведского М. Лучицкой. Спб., 1893, 315 стр.

Литвинова Е. Ф., С. В. Ковалевская, ее жизнь и научная деятельность. Пб., 1893 (изд. Ф. Павленкова, «Жизнь замечательных людей»), 92 стр.

Малевич И. И., Воспоминания (Софья Васильевна Ковалевская, д-р философии и профессор высшей математики, в «Воспоминаниях» первого, по времени, ее учителя И. И. Малевича, 1858–1868 гг.). «Русская старина». 1890, № 12, стр. 615–654.

Мендельсон-Залеская М., Воспоминания о С. Ковалевской. Перевод Л. Круковской «Современный мир», 1912, № 2, стр. 134–176 (с письмами С. К.).

Некрасов П. А., О трудах С. В. Ковалевской по чистой математике. Математический сборник, 1891, стр. 35–55.

Пантелеев Л. Ф., Из воспоминаний прошлого. М., 1934, 795 стр. (о С. Ковалевской на отдельных стр.).

Полубаринова-Кочина П. Я., К биографии С. В. Ковалевской (по материалам ее переписки). Историко-математические исследования, выпуск VII. Гостехиздат, АА., 1954, стр. 666–712.

Полубаринова-Кочина П. Я., Софья Васильевна Ковалевская. («Люди русской науки».) Гостехиздат, М., 1955.

Столетов А. Г., С. В. Ковалевская, биографический очерк. Математический сборник, М., 1891, стр. 7–16. Собр. соч., т. II, М.-Л., 1941, стр. 259–266.

Тимирязев К. А., Собрание сочинений, т. IX. М., 1939, (о С. Ковалевской стр. 29, 84, 85).

Штрайх С. Я., Сестры Корвин-Круковские. М., 1933, 342 стр., 2-е изд., М., 1934.

Штрайх С. Я., Ковалевская о М. Е. Салтыкове. Литературное наследство. М., 1934, вып. 13–14, стр. 543–545.

Эфрос К. Е., С. Ковалевская-драматург. «Русские ведомости», 1916, 2 февраля.

Иллюстрации



Анна Васильевна Корвин-Круковская (Жаклар).



Елизавета Федоровна Корвин-Круковская.



Василий Васильевич Корвин Круковский.



Александр Николаевич Страннолюбский.



Иосиф Игнатьевич Малевич.



Софѣя Васильевна.



Надежда Прокофьевна Сулова.



Анна Михайловна Евреинова.



Мария Александровна Бокова (Сеченова).



Владимир Онуфриевич Ковалевский.



Виктор Жаклар.



Профессор Вейершрасс.



Г. Миттаг-Леффлер.



Пафнутий Львович Чебышев.



Палибино.



Стокгольм.



Юлия Всеволодовна Лермонтова.



Мария Викентьевна Янковская (Мендельсон).



Ф. Нансен.



Софья Ковалевская и Анна-Шарлотта Леффлер.



Максим Ковалевский.

notes

Примечания

1

Дитя (нем.).

Литва являлась частью польского государства, после раздела Речи Посполитой отошла к России.

«Вот!» (*Фр.*).

4

Все разрушается, все надоедает, все проходит (*фр.*).

К. А. Тимирязев работал тогда в Гейдельберге, в лабораториях Кирхгофа и Бунзена.

Анна Васильевна Жаклар, муж которой, как известно, был полковником в войсках Парижской коммуны.

Ю. М. Лермонтова.

В. О. Ковалевский тратил на себя бóльшую часть доходов от имения «Шустянка», принадлежавшего обоим братьям.

Хранитель музея.

В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 267.

Госпожа (*шведск.*).

Пьесу поставили только в 1893 году в Москве. Ее взяла для своего бенефиса молодая актриса театра Корша Л. Б. Яворская, несмотря на предостережения, что пьесу с «вопросами» может не принять коршевский зритель. «Предсказания» не исполнились: первая на сцене вещь, затронувшая «рабочий вопрос», имела большой успех у молодежи. Ковалевской не пришлось дожить до этих дней.

Мелар, Меларен — озеро, на берегу которого расположен Стокгольм.

Так называли берег Темзы студенты Оксфордского университета.

Перевод В. С. Рыкалова.

Идун — скандинавская мифологическая богиня, хранительница золотых яблок юности, благодаря которым боги не стареют.